П. И. МЕЛЬНИКОВ
(АНДРЕЙ ПЕЧЕРСКИЙ)

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

П. И. МЕЛЬНИКОВ (АНДРЕЙ ПЕЧЕРСКИЙ)

Собрание сочинений
в восьми томах

ТОМ
4

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА». МОСКВА. 1976

Составление и общая редакция
М. П. Еремина

Иллюстрации художника
И. С. Глазунова

В ЛЕСАХ



КНИГА ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Натерпелась Марья Гавриловна. До смерти истомилось бедное сердце ее в безотрадной неизвестности, в мрачных, тяжелых думах и тревогах, день и ночь мутивших ее душу. Ровно в тесном затворе посхимленная старица, сидит она безвыходно в уютном своем домике. В часовню даже по праздникам перестала ходить, людей не видит и знать не хочет, что за порогом ее домика делается. Заходили было к ней иной раз Фленушка с Марьюшкой время скоротать, но безответною оставалась на веселые разговоры их Марья Гавриловна, безучастно слушала келейное их празднословье.

— Заспесивилась наша краля, зачванилась,— топнув с досады ногой, молвила Фленушка, выходя однажды с Марьюшкой из домика Марьи Гавриловны.— Битый час сидели у ней, хоть бы единое словечко выронила... В торги, слышь, пускается, каменны палаты закладывать собирается, куда с нашей сестрой ей водиться!.. А мне наплевать — ноги моей не будет у грубиянки; и ты не ходи к ней, Марьюшка.

Не раз заглядывала к Марье Гавриловне и матушка Манефа. Но и с ней не вязалась беседа у молодой вдовы. Сколько раз искушенная житейскими опытами игуменья пыталась вызвать ее на искреннее, откровенное признанье в сокровенных думах и затаенных чувствах, всегда холодна, всегда безответна оставалась Марья Гавриловна. Сердечная скорбь ее тайной повита и семью печатями запечатана.

«Мир обуял,— решила Манефа.— Прелесть тщетного жития смущает бедную, мятежные мысли обуревают душу ее».

Но какие мысли, о ком, о чем,— не могла придумать игуменья.

И с Таней, душой и телом преданной своей «сударыне», и с той ни слова Марья Гавриловна... Одна переживает печали, одна переносит горе сердечное.

Где прежняя ласка приветная, куда кануло беззаботное веселье и тихий, невозмутимый покой души, отдохнувшей от былого горя, забывшей старые сердечные раны? Все как ветром свеяло.

Перед отъездом Манефы на сорочины в Осиповку Марья Гавриловна получила от брата письмо. Уведомлял он о покупке «Соболя», писал, что надо как можно скорее принимать его да, набрав клади, отправлять к Верху. Но про того, кого ради куплен тот пароход, ни слуху, ни духу: Алексей словно в воду канул. Обещал побывать в Комарове через две недели,— пятая в исходе, а его нет как нет... Стороной узнала Марья Гавриловна, что отошел он от Патапа Максимыча и уехал в город, но воротился ль оттуда, или дальше куда отправился, разведать не могла.

Сидит под окном да тоскует, недвижно сидит, устремив слезные очи на черную полосу леса, и слышит разговор какого-то проезжего крестьянина с обительским конюхом Дементьем о дороге в Городец, на какие деревни надобно ехать. Дементий в числе деревушек помянул Поромово.

«Чего еще лучше? — подумала Марья Гавриловна.— Авось воротился из города, авось у отца теперь с матерью... Накажу тому мужичку побывать в Поромовой, разузнать о нем». Вздумано—сделано. Наказала Марья Гавриловна проезжему крестьянину, непременно бы повидал он Алексея Лохматого, сказал бы ему, что место на пароходе для него готово, чтоб, не медля ни минуты, ехал в Комаров. Два рубля серебром обещала, если тот крестьянин на возвратном пути ей ответ привезет. Писать хотела, но сил недостало и стыдно как-то было...

Дён через пять посланный воротился за сулеными рублями. Сказал, что Алексея в Поромовой нет, поехалде в город, а где теперь, не знают. Что наказывала, все

сказал старику Лохматому, а тот обещал, как только воротится сын, тотчас его в Комаров прислать.

Пуще прежнего налегла тоска на победное сердце молодой вдовы.

Еще прошло с неделю времени. Собралась мать Манефа в Осиповку на сорочины. Накануне отъезда вечерком зашла она посидеть к Марье Гавриловне.

— Ну что, сударыня, облегчило ли вас хоть маленько? — спрашивала Манефа, садясь на диван возле Марьи Гавриловны.

— Плохо мое здоровье, матушка,— отвечала вдовушка, облокотясь на стол и медленно склоняя на руку бледное лицо свое.

— Надивиться не могу я вашей болезни, сударыня,— молвила Манефа.— Кажись, и лежать не лежите, и боли, как сказываете, нет никакой, а ровно свечка вы таете; жалость даже смотреть, на себя не похожи стали...

— Болезнь не красит человека,— отозвалась Марья Гавриловна.

— Ин за лекарем бы послали, сударыня, а то что же хорошего этак маяться,— сказала игуменья.

— Послать за ним не пошлю,— ответила Марья Гавриловна,— а не будет легче, сама поеду в город лечиться. Мне же и по делам надо туда. Брат пишет — в Казани у Молявиных пароход мне купил. Теперь он уж к нашему городу выбежал,— принимать надо.

Нахмурилась Манефа.

— Не дешево, поди, заплатили? — холодно спросила она.

— Пятьдесят тысяч,— сказала Марья Гавриловна.

— Пятьдесят тысяч! Не малые деньги, не малые... Много добра на такие деньги можно сделать,— проговорила Манефа.

— Пароход ходкий, совсем еще новенький, только четвертую воду бегает. Тех денег стоит,— молвила Марья Гавриловна.

— Суета!..— строго, но сдержанно сказала Манефа и, немного подумав, прибавила: — Стало быть, вы покинете, сударыня, нашу святую обитель? В город жить переедете?

— Ни на что еще я не решилась, матушка, сама еще не знаю, что и как будет... Известно дело, хозяйский глаз тут надобится. Рано ли, поздно ли, а придется к

пристани поближе на житье переехать. Ну, да это еще не скоро. Не сразу устроишься. Домик надо в городе купить, а прежде всего сыскать хорошего приказчика,— говорила Марья Гавриловна.

— Не нашли еще? — спросила Манефа.

— Нет еще,— слегка вздохнув, ответила Марья Гавриловна.

— Скоро ль к такому делу хорошего человека приищешь! — молвила Манефа.— Тут надо человека верного, неизменного, чтоб был все едино, что сама хозяйка. Такого не вдруг найдешь.

— Надолго ли, матушка, отправляетесь? — спросила Марья Гавриловна, видимо желая свести разговор на что-нибудь другое.

— Прежде пяти дён вряд ли воротимся,— ответила Манефа.— Патап Максимыч скоро гостей отпускать не любит... В понедельник, надо думать, будем домой не то во вторник.

— Кланяйтесь Патапу Максимычу,—молвила Марья Гавриловна.— Скажите: всей бы душой рада была у него побывать, да вот здоровье-то мое какое. Аксинье Захаровне поклонитесь, матушка, Параше...

— Будем кланяться,— чинно, с легким поклоном, вполголоса ответила Манефа.— Чем бы, чем бы, кажется, вам не житье здесь, сударыня Марья Гавриловна,— прибавила она, вставая с дивана и быстрым взором окидывая комнату.— И тихо, и уютно, и всякое довольство во всем. Суеты восхотели, житейских треволнений!.. Не пришлось бы в миру вам вспокаяться!.. Не пришлось бы слезно поминать про здешнее тихое пристанище, под кровом святыя обители. Лукав ведь мир-от — прельстит человека, заманит в свои сети, а потом и посмеется ему, поругается...

— Матушка! Сами же вы говорили, что обительская жизнь стала непрочна. По скорости, говорите, скиты совсем порешат.

— Если общий жребий господнею волей свершится, рядом бы с нами в уездном городке построились,— сказала Манефа.— И тогда б у нас было все по-прежнему, никакой бы перемены не сталось. Намедни и сами вы, сударыня, так говорили, а теперь вот уж возле пристани поселиться возжелали, в губернском городе.

— Дело-то, матушка, такое вышло, что поневоле должна я поблизости от пристани жить,— отозвалась Марья Гавриловна.— Сами знаете, что издали за хозяйством нельзя наблюдать, каких хороших людей ни найми.

— Конечно,— сдержанным голосом сказала Манефа.

— Заглазное хозяйство — не хозяйство,— продолжала Марья Гавриловна.— Что лучше хозяйского глаза?.. Говорится же: «Свой глаз — алмаз, а чужой — стекло».

— Что сказать су́против этого?.. Что сказать...— как бы нехотя молвила игуменья и, холодно простившись с Марьей Гавриловной, медленными шагами направилась к своей келье.

* * *

Уехала Манефа в Осиповку, и в обители стало тихо и пусто. Не суетятся матери вкруг игуменьиной «стаи» в ожиданьи Манефиных распорядков по хозяйству, не раздается веселых криков Фленушки; все почти молодые белицы на сорочины уехали, остались пожилые старицы да с утра до ночи копавшиеся в огороде чернорабочие трудницы. Хоть Марье Гавриловне давно уже постыла обитель и на думах ее было не обительское, однако ж и ей стало скучней и грустней против прежнего, когда вокруг нее все затихало.

Склонялся день к вечеру; красным шаром стояло солнце над окраиной неба, обрамленной черной полосой лесов; улеглась пыль, в воздухе засвежело, со всех сторон понеслось благоухание цветов и смолистый запах ели, пихты и можжевельника; стихло щебетанье птичек, и звончей стал доноситься из отдаленья говор людей, возвращавшихся с полевых работ.

Сидя у раскрытого окна, Марья Гавриловна чутким ухом прислушивается к отдаленному шуму подъезжавшей к Каменному Вражку тележки... Не деревенский стук... По сухой дороге резко постукивают окованные толстыми шинами колеса, ровно и плавно шумят железные оси, колокольчика нет. Значит, не начальство, не крестьянин... Захолонуло сердце у Марьи Гавриловны при мысли — не Алексей ли это наконец... Но вот шум ближе и ближе... Подъезжают прямо к Манефиной обители... Видит Марья Гавриловна, как пара саврасок под-

катила тележку к конному двору, как остановилась она у работницкой «стаи»... Слезает с тележки кто-то высокий, из себя такой статный... При надвинувшихся на̀ небо сумерках не может разглядеть Марья Гавриловна в лицо приезжего, но сердце ей подсказывает, что это гость давно жданный, давно желанный... Алым бархатом подернулись бледные щеки молодой вдовы, и ровно скошенная травка поникла она на месте. Встать не может, пальцем двинуть нет силы.

А ровная, твердая поступь ближе и ближе звучит в вечерней тиши... Ничего не видит Марья Гавриловна, в глазах разостлался зеленый туман, словно с угару. Только и слышит мерные шаги, и каждый шаг ровно кипятком обдает ее наболевшее сердце.

Таня к ней подошла.

— Какой-то человек вас спрашивает,— сказала она.

— Что? — едва могла промолвить Марья Гавриловна.

— Тот самый, что в Радуницу приезжал,— ответила Таня, удивленными глазами глядя на свою «сударыню».

Ни словечка Марья Гавриловна.

— Позвать аль сказать в другое бы время побывал? — не слыша отзыва Марьи Гавриловны, молвила Таня.

— Позвать?.. Да, позови... Нет, нет, постой, погоди, Таня,— говорила Марья Гавриловна. А сама не понимала, что̀ говорила.

Широко раскрытыми глазами глядела на нее изумленная Таня. Сообразить не могла, что̀ за новое диво содеялось над ее «сударыней»...

— А не то... поди, Таня... позови сюда...— дрожащим от волненья голосом сказала Марья Гавриловна.— Да ставь самовар поскорей...

И когда Таня, думчиво склонив голову, вышла из горницы, Марья Гавриловна бессознательно повернулась к зеркалу и наскоро поправила волосы и шелковый голубой платок, накинутый на̀ голову.

Медленно, но широко̀ распахнулась дверь, и в горницу вошел Алексей. Чин чином, прежде всего сотворил он уставные поклоны перед иконами, а потом, молодецки встряхнув кудрями, степенно отдал поклон как маков цвет зардевшейся хозяйке. Сдержанно ответила она ему малым поклоном.

— Посылали за мной? — тихо проговорил он, вертя в руках шляпу и опустив глаза в землю.

— Ждала я вас... долго ждала... дождаться не могла... Теперь пароход...

И не могла докончить трепетно перерывчатой речи.

Ступил Алексей шаг, ступил другой, приближаясь к Марье Гавриловне... Вскинул черными, палючими очами на дрожавшую от сердечной истомы красавицу... И она взглянула... Не светлые алмазы самоцветные, а крупные слезинки нежданной радости и неудержимой страсти засверкали под темными ее ресницами... Взоры встретились...

Ни слова, ни восклицанья...

Не гибкая повилика[1] бело-розовые цветики вкруг зеленого дуба обвивает, не хмелинушка вкруг тычиночки вьется — обвивает белоснежными руками красавица желанного гостя... И млеет и дрожит она в сладкой истоме.

Долго сидели вдвоем, до вторых петухов сидели. Времени много, мало разговора. Друг на дружку любуются, друг на дружку наглядеться не могут.

Багрецом заалел восточный закрой неба: тут только опомнились. Пора расставаться.

И когда на прощанье горячими устами прильнул Алексей к сиявшему счастьем лицу Марьи Гавриловны, он тихо промолвил ей:

— Не тайком бы, не крадучись целовать мне тебя, моя милая, дорогая моя! Не зазорно бы при всем народе обнять тебя...

— Как же это сделать? — едва слышно проговорила Марья Гавриловна, поникая головой в объятья Алексея.

— Жениться,— молвил он. Хотел еще что-то сказать, но не может сойти на уста крылатое слово.

Крепче прежнего прижалась к нему Марья Гавриловна, тише прежнего она промолвила:

— Женимся!..

Ой леса, лесочки, хмелевые ночки!.. Видишь ты, синее звездистое небо, как Яр-Хмель-молодец по Матушке Сырой Земле гуляет, на совет да на любовь молодых людей сближает?.. Видишь ты, небо, все ты слышишь, все: и страстный шепот и тайные, млеющие речи... Щедро, ничего не жалея, жизнью и счастьем льешь ты на зем-

---

[1] Cuscuta.

лю, жизнью-любовью ты льешь... Праведное солнце!.. Ты корень, источник жизни, взойди, взгляни, благослови!..

И вырезался из-за черной, как бы ощетинившейся, лесной окраины золотистый луч солнышка и облил ярким светом, как снег, белое платье красавицы и заиграл переливчатыми цветами на синем кафтане и шелковой алой рубахе Алексея.

— Прощай!

— Прощай!

А на пороге еще обнялись. И долго озаряло их высоко поднявшееся из-за леса солнце.

* * *

На другой день Марья Гавриловна решила как можно скорей перебираться с Алексеем на житье в город. Покаместь он будет вести хозяйство на «Соболе», Марья Гавриловна станет готовить теплое гнездышко для житья с возлюбленным, купит домик, устроит его как следует, а там, по осени, когда и дом будет готов и пароходство кончится — веселым пирком да за свадебку... Уехать из Комарова чем скорей, тем лучше... Благо матери Манефы нет в обители, а то советам, разговорам не было б ни конца, ни края. Сбить Марью Гавриловну, отговорить ее от задуманной перемены в жизни игуменья не успела бы, но без неприятностей, без неудовольствий дело не обошлось бы. А Марья Гавриловна не забывала добра, что сделала ей Манефа во дни житейских невзгод, твердо помнила, что старушка внесла мир в истерзанную ее душу, умела заживить сердечные ее раны. Нет, лучше, не в пример лучше будет, если, не дождавшись матушкина возврата, покинет она обитель. После, когда дело будет кончено, повидается она с Манефой, все расскажет ей, все объяснит и, конечно, помирится с доброю и горячо любимою старицей.

Тотчас же поехал Алексей в соседний городок нанимать извозчиков для поездки Марьи Гавриловны и для вывоза из скита ее пожитков. Только что укатил он на своих саврасках, Марья Гавриловна, веселая, игривая, ровно из мертвых вставшая, велела Тане запереть изнутри домик и, пылая радостью, сказала ей:

— Давай, Таня, укладываться; завтра мы едем.

С места не могла двинуться Таня, сло̀ва промолвить не могла: так удивили ее нежданные речи Марьи Гавриловны.

— В городе станем жить, в большом каменном доме,— говорила ей Марья Гавриловна, принимаясь за укладыванье.— Весело будет нам, Таня, народу там много, будем кататься в коляске на хороших лошадях, по реке на пароходе поедем кататься... Видала ль ты пароходы-то?.. Да нет, где тебе видать!.. Вот увидишь, Таня, у меня теперь свой пароход и свой дом будет. Весело будем жить, Та̀нюшка, весело.

— А как же матушка-то? — молвила Таня.

— Что ж матушка!.. Матушке своя жизнь, нам другая... Не век же в кельях жить, этак не увидишь, как и молодость пройдет... Пропустить ее не долго, а в другой раз молода̀ не будешь... Пожить хочется, Таня, пожить!..

И ни с того ни с сего бросилась целовать ее. Смеется, как дитя, веселится, а у самой слезы на глазах. Надивиться не может Таня внезапной перемене своей «сударыни».

— Видела?.. Это жених мой, Таня!.. Только ты покаместь об этом никому не сказывай... никому, никому на свете... Придет Покров — повенчаемся, в городе будем жить. Ты у меня заместо дочери будешь, жениха тебе сыщем славного... Наградим тебя, всем наградим... дом тебе выстрою, обзаведенье все... Барыней заживешь, в шелках-бархатах станешь ходить... во всяком довольстве будешь жить... Смотри же, не сказывай, никому не сказывай!

Ровно красные дни девичьей жизни воротились к Марье Гавриловне. Как, бывало, в Казани в родительском садике вольной пташкой весело порхала она, распевая звонко любимые песенки, так и теперь, ожившая для счастья, расцветшая для новой жизни, резвится и веселится Марья Гавриловна. Десяти лет как не бывало.

Всё поклала в сундуки — и одежу, и посуду, и другие вещи; мебель только да цветы остались. Уложившись, успокоилась Марья Гавриловна, и не то утомилась она непривычною работою, не то на̀ душу темное облачко налетело, вдруг опустилась и взгрустнула.

Заботно и нежно спросила у ней Таня, с чего вдруг она припечалилась.

— Дорогая ты моя Та̀нюшка,— молвила на то Марья Гавриловна.— Жизнь пережить — не поле перейти; счастье с несчастьем, что вёдро с ненастьем, живут переменчиво. Над судьбою своей призадумалась я: зачастую ведь случается, Та̀нюшка, что где чается радостно, там встретится горестно... Спознала я, будучи замужем, какая есть на свете жизнь — горе-горькая... Как знать, что̀ впереди?.. Как судьбу узнать?

— Можно узнать,— живо подхватила Таня.— Рядом со скитом живет такая женщина...

И рассказала она Марье Гавриловне про елфимовскую знахарку, про добрую тетку Егориху, нелюбимую келейницами, а всеми окольными крестьянами почитаемую благодетельницей.

Суеверный страх объял душу Марьи Гавриловны, когда узнала она, что Таня, сведя знакомство с колдуньей, клала ей под подушку зелья и давала умываться водой с волшебных корней, нарытых знахаркой.

— Ах, Таня, Таня, что̀ ты наделала!..— упрекала она любимицу, закрывая лицо руками.

— Да вы не бойтесь, сударыня Марья Гавриловна,— отвечала ей Таня.— Она ведь предобрая и все с молитвой делает. Шагу без молитвы не ступит. Корни роет — «Богородицу» читает, травы сбирает — «Помилуй мя, боже». И все, все по-божественному, вражьего нет тут нисколько. Со злобы плетут на нее келейницы; обойдите деревни, любого спросите, всяк скажет, что за елфимовскую Наталью денно и нощно все бога молят. Много пользы народу она делает. А уж какая разумная, какая добрая, и рассказать того невозможно.

Много рассказывала Таня про елфимовскую знахарку, так хвалила кротость ее и доброхотство, с каким великую пользу чинит она людям безо всякой корысти. Суеверный страх покинул Марью Гавриловну, захотелось ей узнать от Егорихи, какая будет ей судьба в новом замужестве. Но в скит знахарку позвать невозможно; келейницы и близко не подпустят. Надо самой идти. Таня взялась устроить свиданье с Егорихой.

На другой день по отъезде Алексея, перед самыми вечернями, вышла Марья Гавриловна с Таней на Каменный Вражек. Оттуда резвоногая девушка лётом слетала в Елфимово и по скорости воротилась оттуда с Егорихой.

— Здравствуй, Марья Гавриловна! Здравствуй, сердобольная вдовушка! — с низким поклоном весело молвила знахарка, подойдя к сидевшей на луговине Марье Гавриловне.— Много про тебя наслышана, а бог привел напоследях только с тобой видеться.

— Душой рада с тобой видеться, Наталья, извини, что не знаю, как величать по отчеству. Не привел господь прежде ознакомиться, но с хорошим человеком знакомство николи не поздно свести.

— На ласковом слове спасибо, сударыня,—снова кланяясь Марье Гавриловне, молвила тетка Егориха.

Таня была девочка догадливая, отходила в сторонку и пускалась вдоль Вражка цветочки рвать.

Разговорилась Марья Гавриловна со знахаркой... И не может надивиться, отчего это с первого взгляда почувствовала к ней такое доверие, какого ни к кому до того не имела, такую любовь задушевную, такую близость, какой ни к кому, кроме одного, никогда не чувствовала... Ровно мать родная воротилась с того света и воркует теперь над дочерней головкой, познавшей много горя, мало радостей. Всей душой, всем сердцем открылась знахарке Марья Гавриловна и услыхала не сухие поученья, как от матери Манефы, а слова живого участия, освежившие взволнованную душу молодой вдовы. Все, все рассказала ей про себя Марья Гавриловна.

— Какова-то будет судьба моя? Чего ожидать мне в новом замужестве? — склонив голову, спросила она.

— Чего ж ты желаешь? Чтоб я твою судьбу рассказала? Чтоб тебе как на ладо́нке выложила все, что впереди тебя ждет? — кротко улыбаясь, спросила у Марьи Гавриловны знахарка.

— Да, тетушка, да... Не утай, что ведаешь... Скажи, будет ли доля моя счастлива? — отвечала вдова.

— Полно, сударыня. Полно, Марья Гавриловна. Кроме бога, будущего не знает никто,— величаво подняв голову, сказала Егориха.— Всякий вещун, коего б духа пророчество его ни было,— ложь есть перед людьми и перед богом. Скажет ли кто тебе, что чарами или тайными вещими словами может узнать судьбу человека,— не верь... Скажет ли, что по звездам узнает ее, аль по руке, али по сну, аль по иному чему,— не верь... Скажут тебе про святошу какого-либо, про юрода, что знает он будущее,— не верь... Те же басни, что от колдуна, что от

святоши. Будущего знать людям не дано. И в том божия любовь к людям, великая премудрость его. Что бы за жизнь человеку была, если б он знал наперед всю свою жизнь до гробовой доски? Не было б тогда на земле ни надежды, ни радостей, жил бы человек как скотина бессловесная.

— Другим открываешь же ты, что будет с ними,— молвила Марья Гавриловна.

— Никому я никогда не пророчила,— кротко ответила знахарка.— Советы даю, пророчицей не бывала. Правда простому человеку мало добрый совет подать, надо, чтоб он его исполнял как следует... Тут иной раз приходится и наговорить, и нашептать, и пригрозить неведомою силой, если он не исполнит совета. Что станешь делать? Народ темный, пока темными еще путями надо вести его.

— Что же мне скажешь, какой мне совет дашь? — спросила Марья Гавриловна.

— В смирении стяжи душу свою,— отвечала елфимовская знахарка.— Смирись передо всем и перед всеми. В том смиренье счастье человека. Умей понять мой совет да хорошенько его исполнить. Делай добро, у тебя на то достатков довольно: бедного, сирого не забудь, голодного накорми, о больном попечалуйся. И делай все, не возносясь, а смиряясь, не в свое превозношенье, а во славу имени божия. А выпадет доля терпеть — носи золото — не изнашивай, терпи горюшко — не сказывай... Вот и все, больше сказать тебе нечего... Вот разве что еще: какой бы тебе грешный человек в жизни ни встретился, не суди о грехах его, не разузнавай об них, а смирись и в смирении думай, что нет на земле человека грешнее тебя. Грех, что болезнь, иной раз и против воли в человека входит; грехи осуждать все едино, что над болезнями смеяться. Только злому человеку сродно чужие грехи осуждать, сам господь не осуждает их, а прощает... Осуждает грехи только дьявол и все ему послужившие.

Долго беседовала Марья Гавриловна, сидя в Каменном Вражке с елфимовской знахаркой. И так было ясно и отрадно на душе у ней; ввек бы, кажется, не рассталась она с теткой Егорихой.

И когда, прощаясь, Марья Гавриловна денег хотела ей дать, та не взяла.

— По милости господней всем я довольна,— сказала она.— Малое, слава богу, есть, большего не надо. А вот что: поедешь ты завтра через деревню Поляну, спроси там Артемья Силантьева, изба с самого краю на выезде... Третьего дня коровенку свели у него, четверо ребятишек мал мала меньше — пить-есть хотят... Без коровки голодают, а новую купить у Артемья достатков нет... Помоги бедным людям Христа ради, сударыня.

И низко-пренизко поклонилась колдунья Марье Гавриловне.

И легко и светло было на душе Марьи Гавриловны, когда под пытливыми, но невидимыми ей взорами обительских матерей и белиц возвращалась она из Каменного Вражка в уютный свой домик. Миром и радостной надеждой сияла она и много жалела, что поздно узнала елфимовскую знахарку. Под яркими лучами заходившего солнца мрачна и печальна казалась ей обитель Манефина.

На другой день воротился Алексей, и Марья Гавриловна оставила Комаров без тяжких дум, без сожалений. Когда выехала она со своим возлюбленным из скита, ей вздохнулось легко и показалось, будто из какого-то глухого подземелья, из какой-то темной темницы свободною и счастливою выпорхнула она на ясный, радостный мир божий.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Если девичье сердце затрепещет первою любовью в ранней молодости, чистую душу ее она возведет до блаженства... Счастьем, радостью она засияет, светлым, прекрасным вольный свет ей покажется: и солнце будто ярче горит, и небо ясней, лучезарней, и воздух теплей, благовонней, и цветы краше цветут, и вольные птички поют веселее, и все люди кажутся добрее и лучше... Бегать бы да беззаботно резвиться, а если бы крылья — лететь бы, лететь в синее небо, подняться б выше облака ходячего, выше тучи гремучей, к солнышку красному, к месяцу ясному, к частым звездочкам рассыпчатым... Та святая любовь ангелом божьим из рая приносится, и, глядя на нее, радуются блаженные жители неба... И такую любовь испытала Марья Гавриловна, когда просватана была за Евграфа.

Иного рода бывает любовь... Проведет женщина молодые годы в напрасных ожиданьях, сердце у ней очерствеет, и станут ему недоступны чувства блаженства первой любви... Если ж она полюбит в ту пору такого человека, что хоть на два либо на три года моложе ее, тогда любовь для нее не радость сердечная, вместо любви жгучий пламень по телу тогда разливается... И тот пламень не светлое чувство души, но буйная страсть, неудержно влекущая женщину в объятья того, кого она полюбила... И отдается она той страсти безрассудно и беззаветно... Ни сожаленья о минувшем, ни опасений за будущее!.. Ум засыпает, думы туманами кроются, на̀ очи ровно завеса спускается, вся жизнь замирает, остается живым одно обуянное пылом страстности сердце. Сердцем той женщине видится, сердцем ей слышится, постылет ей вольный свет, ни на что б она, кроме милого, не смотрела, ничего бы она, кроме любовных его речей, не слыхала... Со всякою страстью душевная скорбь неразлучна... И такую страсть, такую скорбь познала Марья Гавриловна, полюбив Алексея.

Не дай ей бог познать третью любовь. Бывает, что женщина на переходе от зрелого возраста к старости полюбит молодого. Тогда закипает в ней страсть безумная, нет на свете ничего мучительней, ничего неистовей страсти той... Не сердечная тоска идет с ней об руку, а лютая ненависть, черная злоба ко всему на свете, особливо к красивым и молодым женщинам... Говорят: первая любовь о́т бога, другая от людей, а третья от того ангела, что с рожками да с хвостиком пишут.

И в девицах, и замужем, и в Манефиной обители Марья Гавриловна жила затворницей. Посторонних людей, особенно мужчин, она никогда почти не видала. Только и встречала кой-кого у брата в Казани, у Патапа Максимыча в Осиповке да у матушки Манефы, когда приезжали к ней богатые, именитые «благодетели». Заехав в шумный незнакомый город, она как в лесу очутилась... И напала на нее робость, и стало ей стыдно на чужих людей смотреть... На кого ни взглянет, все ей кажется, что смеются над нею: «Вот, мол, вдовушка так вдовушка, подцепила молодчика, да и живет с ним без стыда, без совести...» Заговорят ли погромче в соседних комнатах гостиницы, раздастся ли там веселый смех, все

ей думается, что про нее пересуды идут, над нею люди смеются... Измучилась...

Сказала Алексею, что в гостинице она жить не станет, завтра же переедет на квартиру и останется в ней, пока не приищется дом для покупки... Алексей спорить не стал.

На другой день нанял он особый домик, на краю города, в глухом, немощеном и поросшем травой переулке... На то было непременное желанье Марьи Гавриловны... Переезжая, потребовала она, чтоб Алексей оставался в гостинице и навещал ее только днем... Поморщился тот, но спорить не стал.

Домик, где поселилась Марья Гавриловна, был построен на венце высокой, стоймя над Волгой стоящей горе. С трех сторон окружает его садик, вишеньем глухо заросший, из окон ви́дны и могучая река и пестрая даль Заволжья... По синим струям взад и вперед птицами летят пароходы, оставляя за собой полосы черного дыма вверху, белые ленты пены кипучей внизу... Не стая белоснежных лебедей плавно несется по водным зыбям, широ́ко раскинув свои полотняные крылья,— стройные расшивы по Волге бегут и еле двигаются черепашьим ходом неуклюжие коноводки, таща за собой целые города огромных ладей... А там, за темно-синими струями реки, за желтыми песками мелей и лугового берега, привольно раскинулась необозримая даль, крытая зелеными пожнями, сверкающими на солнце озерами, заводями, поло́ями [1] и черными рядами больших двужилых бревенчатых изб в многочисленных заволжских деревушках... А под самым закроем небосклона синеет и будто трепещет в сухом тумане полоса лесов, в глуши которых Марья Гавриловна отдохнула от великой душевной скорби и заживила сердечные раны под тихим, безмятежным покровом Манефы.

По целым часам безмолвно, недвижно стоит у окна Марья Гавриловна, вперив грустные очи в заречную даль... Ничего тогда не слышит она, ничего не понимает, что ей говорят, нередко на темных ресницах искрятся

---

[1] *Поло́й* — более или менее обширная яма вблизи лугового берега большой реки. В полое через все лето остается залившаяся во время весеннего разлива вода. *Заводь* — узкий полой, отделенный от реки узенькою гривкой, за которою заливная вода стоит до усышки.

тайные, тихие слезы... О чем же те думы, о чем же те слезы?.. Жалеет ли она покинутую пристань, тоскует ли по матерям Каменного Вражка, или мутится душа ее черными думами при мысли, что ожидает ее в безвестном будущем?.. Нет...

Видна из окон другая река многоводная. Ровно исполинской щетиной, устье ее покрыто мачтами разновидных судов, тесно расставленных от одного берега до другого. Льет та река свои мутно-желтые воды в синее лоно матушки Волги... За той за рекой другое заречье. Обширней оно лесного Заволжья, веселей, оживленней... Ровной, гладкой низиной расстилается оно к солнечному закату. Вдали меж пологих берегов блещет на солнце верхóвая Волга, над нею, мешаясь с дымом береговых фабрик и бегущих к Рыбинску пароходов, клубится дым Балахонского усолья... Искрятся и сверкают озера, сияют белые церкви обширных селений, пламенем пышут стальные заводы, синеют дальние леса, перерезанные надвое вытянутой, как струнка, каменной дорогой; левей, по краю небосклона, высится увенчанный дубовыми рощами хребет красно-бурых с белоснежными алебастровыми прослоями гор, что тянется вдоль прихотливо извивающейся Оки... По сыпучему песку лугового берега, насупротив города, раскинулся длинный, непрерывный ряд слобод, и в них, середи обширных деревянных строений, гордо высятся двух- и трехэтажные каменные дома. На стрелке[1] целый город огромных некрашеных кирпичных зданий, среди которых стройно поднимаются верхи церквей и часовен, минареты мечетей, китайские киоски, восточные караван-сараи. То — Макарий.

Сюда, на этот пестрый своеобразный город, обращены слезливые взоры Марьи Гавриловны. По целым часам не сводит она глаз с ярмарочных строений — чего-то все ищет.

Середь множества однообразных построек хочется ей отыскать китаечный ряд, а в нем бывшую отцовскую лавку... Но с тех пор как Гаврил Маркелыч Залетов езжал торговать к Макарью, ярмарка не один раз сгорала дотла, и на месте китаечного ряда давно уж был построен трехэтажный каменный дом, назначенный для

[1] *Верховою Волгой* называется эта река выше устья Оки. *Усолье* — соляные варницы. *Каменная дорога* — шоссе. *Стрелка* — мыс, образуемый слияньем двух больших рек.

гостиниц и трактиров... Исчезла уютная лавочка, исчезли и тесные над нею горенки, где Марья Гавриловна узнала на малое время сладость земного блаженства... Там, просватанная за Евграфа, немного дней провела она в спокойном, радостном счастье; там целые часы проводила она в сладкой беседе с милым избранником непорочного сердца.

И вот она опять невеста!.. Опять по целым часам беседует с новым избранником сердца!.. Но те беседы уже не прежние, не те, что велись с покойником Евграфом. Толкуют про «Соболя», толкуют про устройство хозяйства, про то, как бы получше да посходнее дом купить, как бы Алексею скорей в купцы записаться... Не цвести по два раза в лето цветочкам, не знавать Марье Гавриловне прежней любови.

Чаще и чаще вспоминает она про Евграфа и молится за него богу усердней. Задумчивей прежнего стала она, беспричинная тоска туманит сердце ее.

Но только послышится звонкий голос Алексея, только завидит она его, горячий, страстный трепет пробежит по всему ее телу, память о промелькнувшем счастье с Евграфом исчезнет внезапно, как сон... Не наглядится на нового друга, не наслушается сладких речей его, все забывает, его только видит, его только слышит... Ноет, изнывает в мучительно-страстной истоме победное сердце Марьи Гавриловны, в жарких объятьях, в страстных поцелуях изливает она кипучую любовь на нового друга.

Но лишь только уйдет Алексей, опять за прежние думы, опять за воспоминанья о былом блаженстве. И светлый образ Евграфа опять во всей красе восстает тогда пред душевными ее очами.

Нет тихой радости, нет сердечной услады — одна тоска, одна печаль плакучая!..

Дивится не надивуется на свою «сударыню» Таня... «Замуж волей-охотой идет, а сама с утра до̀ ночи плачет... Не́ спроста это, тут дело не чисто — враг-лиходей напустил «притку-присуху»... Не властна̀, видно, была сурочить ее тетка Егориха... Враг лиходей сильнее ее...»

«Кто же тот лиходей? — спрашивает себя Таня...— Никто, как он, некому быть, окромя Алексея. Он присушил, он вражьим колдовством приворожил к себе Марью Гавриловну...» И вспоминает Таня все, что прежде слыхала от людей про любовную присуху, приворотные

корешки и другие волшебные чары. Когда он, недобрый, впервые был у нас в Комарове, когда он без зову, без спросу вошел к нам в домик, меня на ту пору не было дома... Не и́наче, что подкинул он тогда под порог наговоренное воронье перо... Не и́наче, что у него тогда на кресте было навязано заколдованное ласточкино гнездо... Су́против тех волхвований не устоять ни девице, ни вдовице, ни мужней жене: памяти лишится, разума решится. во всем подчинится воле того человека, пока сам он не сурочит с нее чарованья... Верно, этот враг-лиходей с нечистою силой в дружбе, в совете живет!.. Может статься, в глухую полно́чь в нето̀пленой бане в молоке от черной коровы варил он лягушку да черную кошку!.. Может быть, выварил из них приворотные грабельки. Тронь теми грабельками девицу, вдовицу или мужню жену, закипит у ней ретивое сердце, загорится алая кровь, распалится белое тело, и станет ей тот человек красней солнца, ясней месяца, милей отца с матерью, милей роду-племени. милей свету вольного. Молиться от него не отмолишься, чураться не отчураешься, век свой будешь ему рабой безответной. Ни жить, ни быть, ни есть. ни пить без того человека нельзя... Как рыбе без воды, как телу без души, так и женщине без того человека... От лихого чарованья на нее, бедную, ветры буйные со всех концов наносят тоску тоскучую, сухоту плакучую, и ту тоску и ту сухоту ни едой заесть, ни питьем запить, ни сном заспать, ни думами развеять, ни молитвой прогнать... Так вот и Марья Гавриловна!.. Ворожила тетка Егориха, и на корни шептала, и на травы наговаривала, с уголька умывала, переполох выливала, а ни малой пользы не вышло из того... Не сильна была ведовством своим сурочить с Марьи Гавриловны притку-присуху любовную!..»

Чем же избавить «сударыню» от тех лихих чарований, чем отрезвить ее душу, чем разум оздравить?.. Не в силах Таня придумать... Глядя на тоскующую Марью Гавриловну, беззаветно преданная ей девушка забывает свою печаль, не помнит своей кручины... «В шелках, в бархатах станешь ходить, будешь мне заместо родной дочери, весело заживем — в колясках станем ездить, на пароходах по Волге кататься...» — говорила ей «сударыня» перед отъездом из Комарова, а вот теперь день-деньской словечка с ней не перекинет... Скука, тоска, пе-

чаль великая!.. Но не сетует, не досадует Таня на Марью Гавриловну, во всем корит, во всем винит одного Алексея... И пуще огня боится его... «Долго ль в самом деле,— думает Таня,— такому кудеснику, такому чаровнику заворожить сердце бедной девушки, лишить меня покоя, наслать на̀ сердце тоску лютую, неизбывную... А как взглянешь на него — залюбуешься!.. Что за красота молодецкая, что за поступь удалая, богатырская!..»

И страшат и прельщают бедную Таню быстрые палючие взоры черных очей Алексея.

* * *

По приезде в город Алексею прежде всего надо было «Соболя» принять. На другой же день отправился он на пристань. Было уже за̀ полдень, ото всех пристаней пароходы давно отвалили, наступило обеденное время рабочих, и они разбрелись по береговым харчевням; набережная совсем почти опустела. Не заметно на ней обычной суеты, не слышно ни песен, ни громких кликов, ни зычного гомона рабочего люда. Величаво поднимая кверху легкую мачту с тонкими райнами и широкую белую трубу с красным перехватом посередке, сиротой стоял опустелый «Соболь»: ни на палубе его, ни на баржах не было ни одного тюка, ни одного человека... Галки расселись и по райнам и по устью дымогарной трубы, а на носу парохода беззаботно уселся белоснежный мартын с красноперым окунем в клюве. Мерно плещется о бока и колеса пустого парохода легкий прибой волжской волны. На сходнях стоит тот самый капитан, что так неприветно обошелся с Алексеем, когда тот недели две перед тем впервые увидел «Соболя». Стоит капитан и, должно быть, от скуки и безделья щелкает кедровы орехи... Глаз не сводя, смотрит он в даль по Волге, глядит, как из-за бледно-желтой, заметавшей чуть не половину реки косы легко и свободно выплывают один за другим низо́вые пароходы, увлекая за собой долгие, легкие, уемистые баржи.

Узнал Алексей капитана, подошел к нему. Важности напустил на себя — я, дескать, все едино, что хозяин.

— Это «Соболь»? — спросил он.

— «Соболь»,— сквозь зубы ответил капитан, не взглянув путем на Алексея, не повернувшись даже к нему.

— Марьи Гавриловны Масляниковой? — снова спросил Алексей.

— Ее,— нехотя молвил капитан и по-прежнему глаз не сводил с подбегавших пароходов.

— К сдаче готов? — продолжал спрашивать Алексей.

— Пятнадцать дён пòпусту проживаем,— сказал капитан, искоса взглянув на Алексея, но и тут не вздумал ему поклониться.

— Как попусту? — спросил Алексей.

— Пароходной хозяйки нет, дуй ее горой... Поверенных не шлет,— время только даром проводим.

— Я приму,— сказал Алексей.

Капитан не смутился. Повернулся к Алексею и, продолжая щелкать орехи, внимательно оглядел его с головы до пяток.

— Доверенность?..— протягивая руку, спросил он.

— Какая?

— Впервой, должно быть, на пристани-то? — усмехнулся капитан.— Пароход не дров поленница — без доверенности как его сдашь? Доверенность от хозяйки нужна, от купчихи, значит, от Масляниковой...

И пристальней прежнего стал приглядываться к выплывавшим из-за песчаной косы пароходам и по-прежнему принялся щелкать кедровые орехи.

Закипела досада в Алексее. «Сгоню его беспременно! — думает он.— Ишь какого барина гнет из себя, сиволапый!.. Слова путем не хочет промолвить!..» Повернулся и пошел вдоль по набережной. Десяти шагов не прошел, как капитан ему крикнул вдогонку:

— Эй, почтенный!.. В молодцах, что ли, служишь у хозяйки-то?

Взорвало Алексея, обидно стало... «В молодцах!..»

— Тебе что? — грубо спросил он капитана, не повернувшись.

— Коль в молодцах у нее, так молви — приемкой бы не медлила,— на всю пристань орал капитан.— Я ей не караульщик!.. Мне на другом пароходе место готово... Лишусь по ее милости места, убытки взыщу... Скажи от меня ей, чернохвостнице: здесь, мол, не скиты, потачки не дадут... Так и скажи ей — тысячью, мол, рублев не отделаешься... Я ей щетинку-то всучу...

Куда как хотелось Алексею вернуться к пароходу и притузить капитана... Но воздержался — главное, полиции боялся.

Взял извозчика и к маклеру... Пробыл у него больше часа. У Патапа Максимыча негде было ему деловым порядкам научиться... Обещав хорошую плату, расспросил маклера, как пишут доверенности, как покупают и продают дома, пароходы, как в купцы приписываются, да уж кстати спросил и о том, нет ли у него на примете хорошего капитана на «Соболь».

Приехавши к Марье Гавриловне, таких страхов наговорил, что та совсем растерялась.

— Был я на «Соболе»,— озабоченно и беспокойно сказал он.— Не больно там ладно.

— Что такое? — встревожилась Марья Гавриловна.

— Завтрашнего числа надо его беспременно принять,— сказал Алексей,— не то много придется платить неустойки, да еще за простой... Судом грозит капитан, убытки взыскивать хочет...

— Сегодня же прими, голубчик, теперь еще не поздно, успеешь,— молвила Марья Гавриловна.

— Без доверенности не сдадут... Не дров поленница,— сказал Алексей, кстати ввернув слова капитана.

— Я тотчас ее напишу,— сказала Марья Гавриловна.

— Скоро блины пекут да сказки сказывают,— молвил Алексей.— Чтоб ее написать как следует, две либо три недели надо. Нарочно к маклеру ездил, советовался... Говорит то же самое... Скоро этого дела сделать никак невозможно, а если три недели еще пропустить, так этих проклятых неустоек да простоев столько накопится, что, пожалуй, и пароход-от не будет стоить того... И нужно же было братцу твоему любезному неустойку вписать!.. И без нее обошлось бы. А уж если без неустойки нельзя, так писал бы по крайности небольшую... Теперь вот поди и валандайся тут по его милости...

— Что ж нам делать, Алешенька?.. Что ж делать, голубчик ты мой? — почти со слезами говорила Марья Гавриловна, припав лицом к плечу возлюбленного.

— Сам не знаю, что делать,— холодно ответил Алексей.— Ума приложить не могу... Маклер, правда, советует... Да этого нельзя... Этого никак невозможно!.. Большие тогда надо убытки принять...

— Что такое? — спросила Марья Гавриловна.

— Да что!.. Пустое дело,— молвил Алексей.— Не стоит поминать.

— Да скажи, голубчик, скажи, милый ты мой,— крепко обнимая Алексея, спрашивала Марья Гавриловна.

— Продать советует,— сквозь зубы сказал он.

— Не хотелось бы мне продавать парохода,— грустно промолвила Марья Гавриловна.— Все говорят, что пустить хороший пароход на Волгу — дело самое выгодное... Прибыльней того дела по теперешним временам, говорят, не придумаешь. В Казани у брата ото всех так слыхала, и Патап Максимыч то же сказывал и Сергей Андреич Колышкин.

— Конечно, выгодно,— сказал Алексей.— Да вот эти окаянные неустойки, что̀ братец твой в условие ввернул!.. Опять же простои... Благодари братца, он так устроил.

Не ответила Марья Гавриловна. После недолгого молчания Алексей продолжал:

— Маклер говорит, покупщики завтра ж найдутся, только уж денег тех не дадут, сколько за «Соболя» плачено было. За половину продать, так слава богу, он говорит.

— Господи!.. Да что ж это такое?..— всхлипнула Марья Гавриловна...— Ведь это разоренье!..

— Сам то же думаю,— молвил Алексей.

И, встав с места, подошел к окну и, закусив нижнюю губу, стал по стеклу барабанить.

— Что ж нам делать?.. Что ж нам делать-то?..— тосковала Марья Гавриловна.— Алеша, хоть мы с тобой пока и не венчаны, а все ж ведь ты голова... Подумай, помоги — твое ведь... Где мне, глупой бабенке, знать да делать такие дела?.. Где мне было им научиться?..

И, зарыдав, обняла Алексея и поникла на груди его головою.

— Еще маклер советовал,— сказал он.— Только не знаю как. По-моему, это совсем уж не подходящее дело.

— Что, что такое? — спрашивала Марья Гавриловна.

— Да нет!.. Пустяки — не статочное дело... Говорить не стоит,— сказал Алексей.

— Да скажи, голубчик мой, скажи ради господа!.. Что не сказать?.. Ради творца небесного!.. Да пожалуйста, Алешенька!..— молила его Марья Гавриловна.

Переминается Алексей, не сказывает, а Марья Гавриловна пуще молит, пуще просит его, нежной рукой разглаживая хмурое чело жениха. Заговорил он, наконец, будто с большой неохотой:

— Продать его скорей надежному человеку... Пусть бы он заплатил неустойки, что по сей день накопилось, да, очистив пароход от долгов, воротил его тебе...

— За чем же дело стало? — быстро спросила Марья Гавриловна.

— А где такого человека найдешь? — спросил Алексей.— Нынче всяк за свой карман. Подпиши-ка ему крепость-то, он тебе поклон да и вон... Разве вот что: посылай в Казань эстафету, зови брата... Пусть его купит... Свои люди — сочтетесь.

Задумалась Марья Гавриловна... И, немного подумав, тихо сказала:

— Не пошлю я за братом, Алешенька. Бог знает, что̀ у него на разуме... Может, и грешу... А сдается мне, что он на мои достатки смотрит завидно... Теперь, поди, еще завиднее будет: прежде хоть думал, что не сам, так дети наследство от меня получат... Нет, не продам ему «Соболя».

— Больше некому,— промолвил Алексей.— Стало быть, пропадать пароходу?

— Зачем же пропадать? — весело сказала Марья Гавриловна.— А ты-то на что, голубчик?.. Кто ж мне ближе тебя?.. Для тебя же ведь его и покупала... Завтра ж на себя переписывай... Ведь я твоя и все, что ни есть у меня, твое... Все твое, голубчик, все...— страстно целуя Алексея, говорила она.

— Ладно ль будет так-то? — промолвил он.— Люди ведь злы, наскажут и невесть чего!..

— Что нам до людей?..— в страстном порыве вскликнула Марья Гавриловна.— Делай скорей... Завтра же... А чтоб людям поменьше пришлось про нас толковать, сделаем вот что: говорено было венчаться осенью, повенчаемся теперь же... Ищи попа. Петровки пройдут — будем муж да жена.

Обнял Алексей Марью Гавриловну и стал горячо ее целовать.

— Либо в Москву, либо в Казань надо ехать,— сказал он.— Другого попа поблизости нет.

— Ни за что не поеду в Москву...— вскрикнула Марья Гавриловна.— Ни за что на свете, ни за что!..

Вспомнить она не могла про Москву, где провела печальные годы замужества.

— Так в Казань,— молвил Алексей.

— И в Казань не поеду,— решительно сказала Марья Гавриловна.— Там брат, там много родных и знакомых. Пойдут разговоры, пойдут пересуды... Нет, нет, не хочу, не поеду в Казань.

— Как же быть? — молвил Алексей.— Про Городец я проведывал, так раньше Вздвиженья там не будет попа — теперь, слышь, в разъездах... Где же венчаться-то?

— В церкви,— спокойно ответила Марья Гавриловна.

— Как в церкви?.. В какой?..— с удивленьем спросил ее Алексей.

— Да вон хоть в этой,— указала Марья Гавриловна в окно на церковный верх, возвышавшийся над домами.

— Да это великороссийская!..— сказал Алексей.

— А тебе немецкую, что ли, надо? — улыбнулась Марья Гавриловна.

— Грех ведь, Марья Гавриловна,— раздумчиво сказал Алексей.

— Не слыхал разве, что по нужде и закону применение бывает? — спросила Марья Гавриловна.

— Да оно конечно... Только, знаешь, как-то все думается... Грех-от, кажется, больно велик,— колебался Алексей...— Пожалуй, еще не простой грех, пожалуй, из непрощеных!.. Погодим лучше до Вздвиженья, как поп в Городец воротится.

— Не стану я ждать,— с живостью сказала Марья Гавриловна.— Тяжела мне такая жизнь — долго ее не вынесешь... Что я теперь стала?.. Сам посуди... Не в тех, ни в сех, от берега отстала, к другому не пристала, совестно даже на людей глаза поднять... Нет, Алеша, нет; ты уж не раздумывай... Не хочешь в великороссийской, в духовской [1] повенчаемся... Там обведут нас пóсолонь, Исайю петь не станут, чашу растопчешь, молитвы поп прочитает те же самые, что и в часовне [2].

---

[1] Единоверческой.

[2] У старообрядцев и единоверцев при совершении брака во-

— Так-то оно так, да все как-то, знаешь, оно...— продолжал колебаться Алексей.

— Что еще? — быстро взглянув на него, спросила Марья Гавриловна.

— Да я все насчет греха-то... Прощеный ли? — говорил Алексей.— Однова я с церковником в бане парился, так и за это отец Афанасий на духу-то началил-началил меня, на поклоны даже поставил... А ведь это — сама посуди,— ведь это не баня!

— Полно-ка, голубчик, по времени исправимся,— перебила его Марья Гавриловна.— Ну поставит поп на поклоны... Эка важность!.. Как-нибудь да отмолимся.

— Делать, видно, нечего, в духовской так в духовской,— после долгого раздумья сказал Алексей.

— Оно ж и покрепче будет,— улыбаясь и обнимая Алексея, молвила Марья Гавриловна.— В духовской-то обвенчаемся, так венец не в пример будет крепче... Тогда уж ты меня как лапоть с ноги не сбросишь...

— Что ты, что ты?.. Эко слово какое сказала! — заговорил Алексей.

— А кто тебя знает!.. Я состареюсь, а ты еще в поре будешь... Как знать, что будет?..— сказала Марья Гавриловна.

— Полно ты, полно!. Эк, что выдумала!.. Придет же такое в голову!.. Да о чем же плакать-то?.. Что и в самом деле?.. Ну как не стыдно?..— уговаривал Алексей Марью Гавриловну, а она, крепко прижавшись к плечу его, так и заливалась слезами.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

С помощью маклера Алексей Трифоныч живой рукой переписал «Соболя» на свое имя, но в купцы записаться то́тчас было нельзя. Надо было для того получить увольнение из удела, а в этом голова Михайло Васильевич не властен, придется дело вести до Петербурга. Внес, впрочем, гильдию и стал крестьянином, торгующим по свидетельству первого рода... Не купец, а почти что то же.

круг налоя ходят по солнцу. *Исайя ликуй* не поют, вино пьют из стеклянного сосуда, который потом жених бросает на пол и растаптывает ногой. До Никона патриарха это было всеобдержным обычаем, он сохранялся даже и на царских свадьбах.

Новый купец и владелец парохода явился на пристань. Новости там расходятся быстро, все одно что на базаре. Когда Алексей проходил по набережной, на него только что пальцами не указывали. Идет и слышит, как ведут про него пересуды...

— Ишь ты! Лыком шит, совсем как есть деревенщина, а тоже пароходчик!

— А ведь надо дело говорить — что ни на есть первый по Волге ходок.

— Кто?

— Да «Соболь»-от.

— «Соболь»-от? Да... А, поди вон кому достался.

— Мужик, как есть мужик... А в купцы тоже лезет...

— При таких достатках сапоги дегтем мазаны!

— В длиннополой-то сибирке да в перву гильдию!

— Откудова это такие деньги взялись у него?

— Известно, не с неба свалились.

— Знамо, не с неба, да ведь пятьдесят тысяч на полу не подымешь.

— Может, дешевле ему обошлось.

— Как так?

— Масляничиха-то, сказывают, старуха, а он, гляди, какой здоровенный... Понял, какова коммерция-то?

— Понял.

— Грому-то на них нет!

— Тьфу ты пропасть!.. Не нашла она чище сиволапого... Да за такой пароход и не мужик бы со всяким усердием.

— Так уж, видно, пришлось... Да ну их ко псам.

Все слышит Алексей. Злоба всю душу в нем повернула, так бы и положил в лоск всех до единого.

Подошел к «Соболю». Капитан стоит у руля и молча вдаль смотрит. На палубе ни души. Сказывает про себя Алексей капитану, что он новый хозяин. Не торопясь, сошел капитан с рубки, не снимая картуза, подошел к Алексею и сухо спросил:

— Бумаги?

— Какие?

— Докуме́нты.

Вынул Алексей нужные бумаги, капитан внимательно пересмотрел их.

— Верно,— сказал он, возвращая бумаги, и то́тчас отворотился.

— Принять желаю,— с досадой сказал Алексей.— Сейчас же, сию минуту, чтоб сдача была.

— Примай,— не оборачиваясь, небрежно ответил капитан.

— Сдавай! — крикнул ему Алексей, сделав три шага вперед.

— А ты больно-то не ори — печенка лопнет... Горлом, брат, здесь не возьмешь, сами орать-то здоровы — нас не перекричишь...— с нахальством сказал ему капитан.

Против «Соболя» на набережной собралась толпа праздного люда. Всякому в охоту послушать перебранку нового хозяина со старым капитаном.

— Своего требую!.. Пароход мой — ты должен его сдать,— горячился Алексей.

Капитан подпер бока руками и, склонясь немножко на сторону, ровным голосом, но с усмешкой сказал Алексею, подмигивая стоявшим на набережной:

— Пароходы покупаешь, а порядков не знаешь... Горе ты, не пароходчик!.. Как же я тебе стану сдавать без свидетелей?.. Опять же, где полиция, где водяной смотритель?.. Эх, ты!.. Не пароходы тебе покупать, навоз бы лучше из деревни на поля вывозил...

Толпа громко захохотала.

— Он на «Соболе»-то навоз возить зачнет!

— Кладь добрая!

— Поставка хорошая!.. Почем с пуда-то?..

— Ах, дуй вас горой!

Видит Алексей, делать нечего,— опять к маклеру за советом. Осыпаемый насмешками, едва пробрался он сквозь набравшуюся толпу. Когда сел на извозчика, толпа ухнула враз и захохотала. Со злобы и досады слезы даже выступили у Алексея. Приехав к маклеру, рассказал ему все, не промолчал ни про нахальство капитана, ни про насмешки толпы. Маклер научил его, как принимать пароход, и посоветовал пригласить для приемки знающего человека, который бы обладил дело как следует. Алексей согласился, маклер указал ему человека.

— А насчет того, что на пристани собачатся, тут уж делать нечего, надо потерпеть,— сказал маклер.— По времени все обойдется, а на первый раз надо потерпеть. Главное дело, не горячитесь, делайте дело, будто не слышите их. Погомонят, погомонят — разойдутся...

А приемку начинайте по́д вечер, часу в пятом либо в шестом,— тогда на пристани мало народу бывает, а иной день и вовсе нет никого... Да еще бы я вам советовал, коль не во гнев будет вам меня выслушать...

— Что такое? — спросил Алексей.

— Да видите ли что, Алексей Трифоныч,— протяжно и внушительно стал говорить ему маклер.— Теперь вы в купцы еще не записаны, однако ж, заплативши гильдию, все-таки на линии купца стоите... Вам бы одежу-то сменить... По-крестьянскому ходить теперь вам не приходится... Наденьте-ка хороший сюртук, да лаковые сапоги, да модную шляпу либо фуражку — совсем другое уваженье к вам будет...

— Что ж? Я с моим удовольствием,— сказал Алексей.

— Вот вам билетец,— сказал маклер, подавая Алексею карточку.— С этим билетцем поезжайте вы к портному, у него готового платья завсегда припасено вдоволь. Да выбирайте не сами, во всем на него положитесь... Главное, чтобы пестрого на вас ничего не было, все чтобы черное, а рубашка белая полотняная, и каждый день чистую вздевайте... Постойте-ка, я портному-то записку напишу.

Алексей поблагодарил за совет.

— Да вот что еще, Алексей Трифоныч. Вам бы и речь-то маленько поизменить, чтоб от вас деревней-то не больно припахивало,— с добродушной улыбкой сказал маклер.— А то вот вы все на о́ говорите — праздному человеку аль какому гулящему это и на руку... Тотчас зачнут судачить да пересмеивать... Вам бы модных словец поучить, чтоб разговаривать политичнее.

Покраснел Алексей. Сознавал, что высоко́ залетел, что новая жизнь не под силу ему приходится, но сознаться в том перед маклером было стыдно.

— Не умею,— чуть слышно, сквозь зубы промолвил он.

— Учиться надо, Алексей Трифоныч,— ответил маклер.— Наука не больно хитрая... В трактиры почаще ходите, в те, куда хорошие купцы сбираются, слушайте, как они меж себя разговаривают, да помаленьку и перенимайте... А еще лучше, в коммерческий клуб ходите... Хотите, я вас гостем туда запишу?..

— Что ж это такое? — спросил Алексей.— Трактир, что ли, какой?..

— Нет, не трактир,— улыбаясь, сказал ему маклер.— Это такое место, куда по вечерам сбираются купцы меж собой побеседовать и повеселиться. Самые первостатейные там бывают и господа тоже. В карты играют... Умеете ли в карты-то?

— Игрывал,— отозвался Алексей.

— В какие игры? — спросил маклер.

— В хлюсты, в носки... В три листика еще,— ответил Алексей.

— Ну, эти игры там не годятся, про них и не поминайте — не то как раз осмеют...— сказал маклер.— Другие надобно знать... Да я обучу вас по времени... А теперь — прежде всего оденьтесь как следует, на руки перчатки наденьте в обтяжку, да чтоб завсегда перчатки были чистые... Под скобку тоже вам ходить не приходится... Прежде портного — зайдите вы к цирюльнику, там обстригут вас, причешут.

* * *

Алексей все сделал по совету маклера, и, когда завитой, раздушенный, распомаженный, одетый по моде вошел он к Марье Гавриловне, Таня так и шарахнулась в сторону, а Марья Гавриловна руками закрыла лицо.

— Этак будет политичнее,— сказал Алексей, повертываясь и охорашиваясь перед зеркалом.

— Чтой-то тебе, Алешенька, вздумалось так вырядиться?..— жалобно проговорила Марья Гавриловна.— Нешто этак-то лучше?

— По той самой причине, что так как я теперича на линии купца, так нельзя же мне по-мужицки ходить...— с неумелой развязностью сердито молвил Алексей.

— Да я так сказала, спроста,— ответила Марья Гавриловна.— Мне только смешно глядеть-то на тебя на этакого,— с улыбкой прибавила она.

— И вовсе тут ничего смешного нет,— нахмурясь, сказал Алексей.— Все хорошие люди так ходят... А я обсевок, что ли, какой?.. Для че и мне полированным человеком не быть?..

В новом платье Алексей успел побывать в трактире и послушать там, как купцы говорят. Перенял кой-каких мудреных словец.

Заметив досаду Алексея, Марья Гавриловна тотчас же стала его уверять, что для нее он во всяком наряде хорош и, если ему нравится так ходить, воле его перечить не станет она.

— Не в одеже дело, милый ты мой, а в душе,— сказала она, ласкаясь к нему.— Люби только меня, не разлюбливай, во всем другом делай, как знаешь.

И нежно его поцеловала.

— Дом есть на примете,— сказал через несколько минут Алексей.— Маклер указал. Посмотрел я — хороший дом.

— А ценой? — спросила Марья Гавриловна.

— Ценой-то дорогонек, зато уж и хорош же,— сказал Алексей.— Каменный, двухэтажный, на хорошей улице, по лицу тринадцать окошек, на дворе флигеля большие, каменные... Можно будет их внаймы отдавать. Службы тоже все каменные, места пропасть, сад...

— Цена-то как? Цену скажи? — спрашивала Марья Гавриловна.

— Сорок тысяч целковых в первом слове,— сказал Алексей.— Тысячи три либо четыре спустят. Опять же и в доме все на хорошую руку: стулья всякие, столы, зеркала, на полах ковры — одно слово, богатель...

— Что? — спросила Марья Гавриловна.

— Богатель, говорю,— с ужимкой ответил Алексей.

— Что ж это за богатель такая? — переспросила Марья Гавриловна.

— Животы, значит, всякие, достатки в самолучшем виде,— сказал Алексей.

— Дорогонько-то оно дорогонько,— помолчав, молвила Марья Гавриловна.— А ежели все в хорошем виде, так денег нечего жалеть. На̀ дом денег не жаль. Говорится же: что продано, то прожито, что куплено, то нажито...

— Это точно,— согласился Алексей.— Дом стоющий. Опричь того, что сами будем жить, флигеля, амбары, кладовые пустим внаймы — доход будет знатный... Только ведь и тут хлопоты... Надо будет тебе по присутственным местам ходить, в гражданской палате...

— Ну, этого уж не будет! — ровно встрепенувшись, молвила Марья Гавриловна.— Ни за что на свете! Пока не обвенчаны, шагу на улицу не ступлю, глаз не покажу никому... Тяжело ведь мне, Алешенька,— припадая на

плечо к милому, тихо, со слезами она примолвила.— Сам посуди, как мы живем с тобой!.. Ведь эта жизнь совсем истомила меня... Может, ни единой ноченьки не провожу без слез... Стыдно на людей-то смотреть.

— Чего же тут стыдного? — сухо спросил Алексей.

— Да как же?.. Разве хорошо мы делаем? — жалобно заговорила Марья Гавриловна.— И перед богом-то грех великий и перед людьми-то стыдны́м-стыднёхонько... Нет, уж ты меня лучше не уговаривай. Пока венцом греха не покроем, не буду я на людей глядеть... Оттого и желаю скорей обвенчаться... Богом прошу тебя, голубчик... Не томи ты меня, не сокрушай в горькой печали моей!..

И, горько зарыдав, закрыла лицо руками и тяжело опустилась на кресло.

— О чем же это ты?.. Милая!..— уговаривал ее Алексей.— Что ж это в самом деле?.. Как не стыдно!.. Полно, голубонька, перестань, моя ясынька!.. Ну, пожалуй... Для тебя я на все согласен... Хоть в самый же Петров день обвенчаемся... Только как же это будет у нас?.. Здесь, стало быть, придется, в этих горенках свадьбу-то играть?

— Как можно в этих горенках? — подняв заплаканные глаза на Алексея, сказала Марья Гавриловна.— При наших-то достатках да в этих клетушках!.. Полно ты, полно!.. А дом-от!.. Купим до того времени... Неделя остается... Бог даст, управимся.

— Да ведь сказал же я тебе, что без того до̀ма нельзя купить, чтоб самой тебе в гражданской палате в книге не расписаться,— сказал Алексей.— А если до венца с людьми видеться не хочешь, как же это сделать-то?

— На свое имя купи,— молвила Марья Гавриловна.

— Разве что так...— раздумчиво молвил Алексей.— Только знаешь ли?.. Пароход на твои деньги, теперь дом... Наскажут и не знай чего... Все ведь знают, что у меня ни кола, ни двора, за душой ни гро̀ша... Опять же и самому мне как-то совестно... Как же это? Деньги твои, а дом будет мой?..

— А сам-от ты разве не мой? — с ясной улыбкой, обняв Алексея, сказала Марья Гавриловна.— Разве мужу с женой можно делиться?.. И в писании сказано: «Оба в плоть едину»... Что твое — мое, что мое — твое. По моему рассужденью так, не знаю, как по твоему.

— Да оно конечно,— закусив губу, молвил Алексей.— Оно конечно... Только, право, боязно мне, чтоб сама ты после чего не подумала... Вот, дескать: еще не женился, а деньги уж высасывает.

— Полно ты, нехороший этакой, полно вздор-от молоть! — вскликнула Марья Гавриловна, хлопнув слегка Алексея по лбу рукой.— Эк что вздумал!.. Придет же такое в голову... Бесстыдник!.. А знаешь ли что, Алеша? — сказала она, любуясь на жениха.— Как этак-то ты вырядился, ты ведь еще краше стал... Пригоженький, хорошенький!..— приговаривала она, гладя Алексея по голове.

Когда Алексей выходил от Марьи Гавриловны, в сенях столкнулся с Таней. Та отступила и раскраснелась, как маков цвет.

И Алексей на минуту остановился, жадно взглянул на пышущее красотой лицо девушки и, опустя голову, пошел со двора.

«Экая девчонка-то! — думал он.— Красотка!.. И молоденькая еще!.. А Марья Гавриловна говорит: «Состареюсь, а ты еще в поре будешь!..» Гм!.. А ведь оно и так!.. Пароход пятьдесят, дом сорок — значит, теперь у нас собственного капиталу девяносто тысяч!.. Важно!..»

А Марья Гавриловна, простясь с Алексеем, подошла к окну, и взор ее невольно устремился за Оку... Опять Евграф вспомнился... Опять печаль туманом подернула лицо ее...

* * *

Дня через два после того к дому Сергея Андреича Колышкина подъехала извозчичья коляска, запряженная парой добрых коней. В ней сидел высокий молодой человек в новеньком с иголочки пальто и в круглой шелковой шляпе. Если б коляска заехала в деревню Поромову да остановилась перед избой Трифона Лохматого, не узнать бы ему родного детища.

Хотя с непривычки и не совсем ловко вышел Алексей из коляски, но бойким шагом подошел к подъезду и дернул изо всей силы бронзовую ручку колокольчика. Тотчас же человек с галуном на картузе широко распахнул перед ним двери.

— У себя ли Сергей Андреич? — важно подняв голову, спросил Алексей.

— Принимают,— отрывисто ответил придверник, зорко оглядывая Алексея и вспоминая, как недели две перед тем он, одетый пóпросту, робко спрашивал у него про Сергея Андреича.

— Что принимает?.. Кладь, что ли, какую? — спросил Алексей.

— Какую кладь?..— с усмешкой сказал тот.— Гостей принимают аль кто по надобности придет.— И, отступив в сторону от двери, примолвил: — На верх пожалуйте.

Алексей скинул пальто. Был он в коротеньком сюртуке, в лаковых сапожках, белье из тонкого голландского полотна было чисто, как лебяжий пух, но все сидело на нем как-то нескладно, все шло к лесному добру-мòлодцу ровно к корове седло, особенно прическа с пробором до затылка, заменившая темно-русые вьющиеся кудри, что когда-то наяву и во сне мерещились многим, очень многим деревенским красным девицам.

Сердито смотрел картуз с галуном на Алексея, когда тот поднимался по широкой лестнице, покрытой ковром, обставленной цветами и зеленью. «Ишь привалило косолапому! — бормотал придверник.— А наш брат бейся, служи, служи, а на поверку в одном кармане клоп на аркане, а в другом блоха на цепи...»

— Для че на ковер-то харкнули?..— крикнул он с досады вслед Алексею.— Плевательницы на то по углам ставлены... Аль не видишь?.. Здесь не изба деревенская аль не кабак какой...

Смутился Алексей, но не подал вида. Смело, мерными шагами вошел он в покои Сергея Андреича.

— Ишь как расфуфырился! — продолжал ворчать картуз с галуном.— Псу не дядя, свинье не брат!.. Вот оно деньги-то что означают...

На ту пору у Колышкина из посторонних никого не было. Как только сказали ему о приходе Алексея, тóтчас велел он позвать его, чтоб с глазу нà глаз пожурить хорошенько: «Так, дескать, добрые люди не делают, столь долго ждать себя не заставляют...» А затем объявить, что «Успех» не мог его дождаться, убежал с кладью до Рыбинска, но это не беда: для любимца Патапа Максимыча у него на другом пароходе место готово, хоть тем же днем поступай.

Но только что взглянул Колышкин на вошедшего Алексея, так и покатился со смеху, схватившись за живот обеими руками.

— Леший ты этакой!.. Кто это тебя таким шутом обрядил?.. Святки, что ли, пришли?.. Да тебе бы, пострелу, уж и хвост вертеном[1] прицепить!.. Уморил, пострел!..— судорожно вскрикивал Колышкин, когда понемножку стали у него перемежаться стремительные порывы веселого, добродушного смеха.

Смешался озадаченный неожиданной встречей Алексей Трифоныч, сло́ва не может найти в ответ Сергею Андреичу. Обидно... А он-то думал, что Колышкин, увидавши его таким щего́лем, ахнет от удивленья и зачнет хвалить его за перемену одежи.

Маленько успокоившись, стал Сергей Андреич спрашивать Алексея, с чего это вздумалось ему так вырядиться... Неловко вертя в руках шляпу и поднимая кверху брови, заговорил Алексей:

— По тому са̀мому, Сергей Андреич, что так как я теперь, будучи при таких, значит, обстоятельствах, что совсем на другую линию вышел, по тому самому должен быть по всему в окурате...

Расхохотался Колышкин пуще прежнего.

— А говорить-то не по-людски у кого научился?.. На линии!.. В окурате!.. У какого шута таких слов нахватал?..— от смеха едва мог промолвить он.

— По образованности, значит,— изо всей силы тараща кверху брови, сказал Алексей.— По тому са̀мому, Сергей Андреич, что так как ноничи я собственным своим пароходом орудую, так и до̀лжно мне говорить политичнее, чтобы как есть быть человеком полированным.

— Да ты что?.. Очумел, что ли, за Волгой-то?..— спрашивал Сергей Андреич уж без шуток.

— Зачем чуметь, Сергей Андреич, помилуйте!.. Это даже совсем неблагородно чуметь!..— отвечал Алексей.— Ежели я допрежь сего и находился в низком звании, в крестьянском, значит, был сыном токаря, так опять же теперича, имея намерение по первой гильдии в купечество, а покаместь внес в здешнюю городскую думу гильдию и получил оттоль свидетельство по первому роду...

---

[1] Фрак.

— Да ты говори толком... С неба, что ль, тебе деньги-то свалились аль в самом деле золотые россыпи на Ветлуге нашел? — с нетерпением спрашивал Колышкин Алексея.

— Деньги не вода — с неба не капают, сами про то лучше меня знаете, Сергей Андреич, а золото на Ветлуге облыжное... Такими делами мы заниматься не желаем,— с ужимками, поводя по потолку глазами, сказал Алексей.

— Откуда ж у тебя деньги?.. И свой пароход и по первой гильдии?

— По тому самому, Сергей Андреич, что имею, значит, намерение законным браком,— отвечал Алексей.

«Так и есть,— крестный дочь за него выдает!..— мелькнуло в голове Колышкина.— Эх, Патап Максимыч, Патап Максимыч, убил же ты бобра, любезный друг! На поверку-то парень дрянь выходит, как кажется».

— Крестный в зятья берет? — спросил Алексея.

— Никак нет-с...— отвечал Лохматый.— Потому что, сами извольте обсудить, Сергей Андреич: хорошая девица Прасковья Патаповна, по всему хорошая, и художеств за ней никаких не предвидится, однако ж, живучи завсегда в деревне и не видавши политичного обхождения, она теперича будет мне не по линии... Опять же, если взять и насчет капиталу — Прасковья Патаповна вся как есть в родительской власти... Ежели б ее, к примеру сказать, взять за себя, беспременно пришлось бы из тестевых рук смотреть... Что ж тут хорошего... А теперича, по крайности, у меня все в своих собственных.

— Где ж такую невесту сосватал? С такими деньгами сот на пять верст кругом они все на перечете,— спрашивал Сергей Андреич.

Крякнул, отер тихонько лицо раздушенным батистовым платком Алексей Трифоныч и, подняв брови, спросил у Колышкина:

— Пароход «Соболь», что малявинский был, изволите знать?

— Ну? — торопил его Колышкин.

— Намедни того самого «Соболя» на мое имя переписали. Невеста, значит, подарила...— тихо, с расстановками проговорил Алексей.

— Врешь!..— вскочив с места, вскричал удивленный Колышкин.

— Зачем врать, Сергей Андреич? Это будет неблагородно-с! — пяля изо всей силы кверху брови, сказал Алексей.— У маклера извольте спросить, у Олисова, вот тут под горой, изволите, чать, знать... А сегодняшнего числа каменный дом невеста на мое имя покупает... Наследников купца Рыкалова не знаете ли?.. Вот тут, маненько повыше вас — по Ильинке-то, к Сергию если поворотить.

— Рыкалова дом сорок тысяч сто́ит,— сказал, ушам не веря, Колышкин.

— Маненько не потрафили,— ответил Алексей с таким спокойствием, будто говорил о рублевой покупке.— Тридцать семь тысяч заплачено, купчая наша.

— Это Масляникова-то!.. Марья-то Гавриловна!..— говорил Сергей Андреич и, заложив руки за спину, широкими шагами стал ходить взад и вперед по комнате, покачивая головою.

— Так точно-с, она самая невеста наша и есть...— отвечал между тем Алексей.

— Удивительно!.. Непостижимо!..— сквозь зубы говорил Колышкин.

— А опричь дома и парохода у нас еще тысяч на сто, а пожалуй, и побольше капиталу наберется,— продолжал Алексей Трифоныч, охорашиваясь перед зеркалом.— И притом же весь тот капитал не в долгах аль в оборотах каких... Как есть до последней копеечки в наличии.

— Ну, друг любезный, поздравляю, поздравляю! — сказал Сергей Андреич, остановясь перед Алексеем.— Соболя добыл и черно-бурую лису поймал!.. Молодцом!.. Да как же это?.. Ведь она в монастыре жила, постригаться, кажись, хотела? — спросил он.

— Зачем же ей постригаться, Сергей Андреич?.. Зачем молодые годы в келье терять?..— сказал Алексей.— Тоже во плоти, пожить хочется... А в кельях что?.. Сами рассудите.

— Однако она ведь постарше тебя годами-то будет?..— молвил Колышкин.

— Маненечко, самое пустое дело — годиков на пять либо на шесть,— сказал Алексей.

— Однако ж!..

— Это все единственно, Сергей Андреич... Был бы совет да любовь, а годы что?.. Последнее дело!..— гово-

рил Алексей. И, маленько помолчав, прибавил: — На свадьбу милости просим, не оставьте своим расположением.

— Благодарю покорно,— сухо ответил Сергей Андреич.— Когда свадьба-то?

— Думали после Покрова, да теперь приняли намерение — в самый Петров день,— сказал Алексей.

— Что заторопились? — спросил Колышкин.

— Да видите ли, Сергей Андреич, спервоначалу-то думали было мы после навигации обвенчаться, уставивши, значит, «Соболя» на зимовку...— отвечал Алексей.— Имели намеренье в Москву, чтобы там на Рогожском венчаться. Одначе на поверку вышло, что такой вояж нам не с руки, потому что Марья Гавриловна очень Москву не жалует, нежелательно, значит, ей туда ехать... Родства там много после первого ихнего супружества, а ей на брачной радости прошлых бед вспоминать не охота... И я с своей стороны имею также намеренье, чтобы здесь в городу́ в церкви повенчаться, в духовской, значит... Потому, изволите знать, церковное венчанье не в пример крепче староверского... Не ровён случай!.. Тогда, знаете, насчет капиталу аль наследства, известное дело!.. У ней брат есть, племянники... Опять же нам желательно венчаться на публике, не крадучись,— так-то оккуратнее выйдет.

— Как же это так?.. Из скитов да к нам?.. В церковь то есть? — спросил Колышкин.

— В благословенную, значит, имеем намерение, в духовскую...— отозвался Алексей.

— Что ж? Дело хорошее,— молвил Сергей Андреич.

— Тут главная причина, Сергей Андреич, не в том-с,— сказал Алексей.— Тут самопервейшая статья насчет благоприобретенного и всего-с... Церковный-от поп как свенчает, так уж на всю жизнь до гробовой доски будет крепко... А часовенный поп, хоть и все по уставу справит, одначе венец его все-таки выйдет с изъянцем.

— Как с изъянцем? — спросил Сергей Андреич.

— Да как же-с? Венчают-то у нас не очень прочно,— сказал Алексей.— Может статься, не случалось ли вам Мокеевых знавать, Петра Лаврентьевича сыновей?..

— Слыхал,— отозвался Колышкин.— Расшивы у них?

— И расшивы есть и пряжей торгуют, люди капитальные,— отвечал Алексей.— А вот часовенны-то венцы и у того брата и у другого как есть распаялись... Непрочно, стало быть, их по старой-то вере ковали,— с усмешкой прибавил Алексей.

— Как так? — спросил Колышкин.

— Большой-от брат Симеон Петрович брал жену в Плесу, из хорошей семьи, хоть и не больно богатой,— продолжал Алексей.— Венчались в селе Иванове у староверского попа и прожили времени с год, ребеночка прижили, и все меж ними, кажись бы, согласно было и любовно... Да на грех поехал Симеон Петрович с пряжей в Москву, дорогой и заболей. Городок есть небольшой, Киржач прозывается, там лежал в хворости-то... Купец знакомый больного-то его в дом к себе взял, ходили за ним, лечили, оздравел Симеон Петрович... И приглянись тут ему того купца дочка, а купец-от богатеющий — фабрика у него, а дочь единственная. Как у них там было, не знаю, только что Симеон Петрович повенчался с ней, а повенчался-то в великороссийской... Приехал домой, одну жену в дом ведет, другая его с ребеночком встречает... Туда, сюда... Обе реветь, а он молодой-то жене и говорит, успокоивает, знаете, ее: «Эта, говорит, бабенка в стряпках у меня живет. Греха, мол, таить не стану, было дело, а теперь ее со двора долой...» Это первую-то... Первый-от тесть, что из Плесу, дело вздумал было зачинать, однако же вышло по суду, чтоб Симеону Петровичу жить со второй, потому что первый-от венец нигде не писан... Первая жена к родителям воротилась — и стала ни девка, ни вдова, ни мужня жена... А Симеон Петрович в Киржач на житье переехал. Тесть-от помер, теперь у него фабрика знатнеющая, капиталы большущие... Наши-те отлучили его как следует: ни в ястии за трапезой, ни в молитве с ним не сообщаться... А плевать ему на ихнее отлученье-то!.. Ему что?.. Церковником стал. А с другим братом-с Мокеевым, с Никитой Петровичем, и того хуже вышло...

— Что ж такое? — спросил Сергей Андреич.

— Тоже по-нашему венчался,— продолжал Алексей.— Брал невесту богатую, шла за него поневоле... У ней, после дознались, допрежь венца в полюбовниках был отцовский приказчик — сирота, голь перекатная, ни за ним, ни перед ним как есть ничего... Когда выдавали

ее, понятное дело, он слова пикнуть не смел... А из петли тогда вынули, пожелал было удавиться... Года полтора молодые-то прожили, сыночка бог дал, тут у жены родитель-от и помри... Капиталы, значит, стали ее. Только что помер родитель, она из мужнина дома в отцовский, да, принявши наследство, с полюбовником-то в великороссийскую... Повенчались. Никита Петрович туда-сюда, и жалобные просьбы подавал и все, а жена одно толкует: «Жила, говорит, я у тебя в полюбовницах и, восчувствовавши свой великий грех, законным браком теперь сочеталась. Докажи, говорит, записями, где я с тобой была венчана...» А какие тут записи?.. Так за вторым мужем ее и закрепили... А Никита Петрович до сей поры без жены: закон помнит, брак честен не рушит... Молит, просит — ребеночка-то хоть бы ему отдали... Так и его не отдают... Вот какие обстоятельства бывают, Сергей Андреич... Можно ль после того у часовенных венчаться, сами посудите...

— Так-то оно так,— сказал Сергей Андреич.— Только, как угодно, а тут что-то неладно...

— Что ж неладного-то? — возразил Алексей.— Закон.

— Закон-от законом, да совесть-то где? — жмурясь, промолвил Колышкин.

— Законом-то крепче, Сергей Андреич,— ответил Алексей.— Что хорошего, коли уйдет жена с деньгами!.. Капиталы тут главная причина... Это примите в расчет!..

— Капиталы! — молвил Колышкин.— Ну, Алексей Трифоныч, из молодых ты, да ранний.

— Каков есть, Сергей Андреич... Весь тут перед вами,— пожав плечами, ответил Алексей.

— Да, да,— промолвил Колышкин.

Прошло минут с пять; один молчит, другой ни слова. Что делать, Алексей не придумает — вон ли идти, на диван ли садиться, новый ли разговор зачинать, или, стоя на месте, выжидать, что будет дальше... А Сергей Андреич все по комнате ходит, хмуря так недавно еще сиявшее весельем лицо.

— Патап Максимыч знает? — спросил он, не глядя на Алексея.

— Никак нет-с, до сей поры еще неизвестны,— отвечал Алексей.

— А родители? Отец с матерью?

— Тоже не сделано еще к ним повещенья,— комкая шляпу в руках, сказал Алексей.

— Не мешало бы и благословенья попросить,— сквозь зубы процедил Колышкин.

— Мы с батюшкой теперича в расчете,— молвил Алексей, встряхнув по старой привычке кудрями, которых уж не было.

— Как в расчете? — став перед Алексеем, спросил удивленный Колышкин.

— До́чиста рассчитались... За то, что вспоил-вскормил меня, я сполна чистоганом заплатил ему,— сказал Алексей, подняв голову.

Ровно мразью подернуло лицо Сергея Андреича, когда услышал он от Алексея такие речи.

— Получивши деньги, родитель-батюшка сам мне сказал: «В расчете, говорит, мы с тобой, на родителей больше ты не работник. Ни единой копейки, говорит, в дом с тебя больше не надо...»

— Не про деньги говорю, про родительское благословенье,— горячо заговорил Сергей Андреич.— Аль забыл, что благословенье отчее домы чад утверждает, аль не помнишь, коль хулен оставивый отца и на сколь проклят от господа раздражаяй матерь свою?.. Нехорошо, Алексей Трифоныч,— нехорошо!.. Бог покарает тебя!.. Мое дело сторона, а стерпеть не могу, говорю тебе по любви, по правде: нехорошо делаешь, больно нехорошо.

Смутился Алексей, но не очень. Бойко ответил он Сергею Андреичу:

— Батюшка-родитель наперед благословенье дали мне... Ищи, говорит, своей судьбы сам, а мое благословенье завсегда тебе готово,— сказал Алексей.

— Да ведь он не за тридевять земель. Станет времени и благословенье получить и свадьбу сыграть,— молвил Сергей Андреич.

— Не управиться! — ответил Алексей.— Потому что уж оченно много хлопот... Сами посудите, Сергей Андреич: и пароход отправить и дом к свадьбе прибрать как следует... Нельзя же-с... Надо опять, чтобы все было в близире, чтобы все, значит, самый первый сорт... А к родителям что же-с?.. К родителям во всякое время можно спосылать.

Передернуло Сергея Андреича. Говорит Алексею:

— Стало быть, место у меня на пароходе вам больше не требуется?

— Помилуйте!..— самодовольно улыбаясь, ответил Алексей.— Когда теперича у нас у самих, можно сказать, первеющий по всей Волге пароход...

— Ну, очень рад, что у вас «первеющий» пароход... Желаю доброго здоровья и всякого успеха... До приятного свиданья!..— сказал Сергей Андреич, остановясь у входной двери с заложенными за спину руками.

— Наше вам наиглубочайшее! — молвил Алексей, напрасно протягивая руку.— А уж насчет свадьбы-то попомните, Сергей Андреич... Пожалуйте-с... Угощение будет такое-с, что только ах: напитки заморские, кушаньи первый сорт... от кондитера-с... Да мы к вам билетец пришлем, золотом слова напечатать желаем... Да-с...

И опять позабыв, что кудри у него были да сплыли, удальски тряхнул головой и пошел от Сергея Андреича.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Поутру на другой день, как Манефа воротилась с Настиных сорочин, сидела она за самоваром с Васильем Борисычем, с Парашей и Фленушкой. Было уж довольно поздно, а в домике Марьи Гавриловны окна не отворялись. Заметив это, подивилась Манефа и спросила, что́ б это значило.

— Да ведь она вечор съехала, матушка,— молвила добродушная Виринея, вошедшая под это слово в келью игуменьи.

— Как съехала?.. Куда?..— быстро спросила удивленная Манефа.

— Не могу этого доложить тебе, матушка, не знаем, куда съехала,— отвечала мать Виринея.— Никому не сказалась, куда поехала и надолго ль.

— Что у вас тут без меня за чудеса творились? — вспыхнула Манефа и, встав с места, засучила рукава и скорыми шагами стала ходить по келье.

— Уж и подлинно чудеса, матушка... Свя́ты твои слова — «чудеса»!.. Да уж такие чудеса, что волосы дыбом... Все, матушка, диву дались и наши и по другим

обителям... Хоть она и важного роду, хоть и богатая, а, кажись бы, непригоже ей было так уезжать... Не была в счету сестер обительских, а все ж в честной обители житие провождала. Нехорошо, нехорошо она это сделала — надо б и стыда хоть маленько иметь,— пересыпала свою речь добродушная мать Виринея.

— Да что ты тарантишь, старая?..— с сердцем молвила, остановясь перед ней, Манефа.— Вертит языком, что веретеном, вяжет, путает, мотает, плутает — понять невозможно. Сказывай толком; по́ ряду все говори.

— Ну, вот видишь ли, матушка,— начала Виринея.— Хворала ведь она, на волю не выходила, мы ее, почитай, недели с три и в глаза не видывали, какая есть Марья Гавриловна. А на другой день после твоего отъезда оздоровела она, матушка, все болести как рукой сняло, веселая такая стала да проворная, ходит, а сама попрыгивает: песни мирские даже пела. Вот грех-от какой!..

— Быть того не может,— удивилась Манефа.

— Уехали-то вы, матушка, поутру, а вечером того же дня гость к ней наехал, весь вечер сидел с ней, солнышко взошло, как пошел от нее. Поутру опять долго сидел у ней и обедал, а после обеда куда-то уехал. И как только уехал, стала Марья Гавриловна в дорогу сряжаться, пожитки укладывать... Сундуков-то что, сундуков-то!.. Боле дюжины. Теперь в домике, опричь столов да стульев, нет ничего, все свезла...

— Да куда ж, куда, я тебя спрашиваю? — с нетерпением спрашивала Манефа.

— Сказывала я тебе, матушка, что не знаю, и теперь та же речь, что не знаю... Через два дня тот гость опять приезжал, лошади с ним, тройка в тарантасе, туда сами сели, Танюшу с собой посадили, а имение сложили на подводы. На пяти подводах повезли, матушка.

— Что ж это за гость такой?.. Кто он, откуда?.. Брат ее, что ли?.. Залетов?..— сыпала вопросами мать Манефа

— Какое брат, матушка!.. Помнишь на радуницу от Патапа Максимыча приказчик наезжал, еще ночевал у тебя в светелке... Алексеем зовут... Он самый и приезжал...

Всех озадачил рассказ Виринеи... Хотела что-то сказать Манефа, но слова не сошли с языка... Фленушка с

Парашей меж собой переглядывались. Один Василий Борисыч оставался, по-видимому, спокоен и равнодушен.

— Ах ты, господи, господи!..— всплеснув руками, вскликнула, наконец, игуменья.

— С ним с самым и съехала... С собой вместе в тарантас посадила его и Танюшу тоже,— свое твердила мать Виринея.— И уж такая она, матушка, на последях-то была развеселая, такая умильная, что вот сколько уж времени прожила у нас, а такою я ее не видывала... Ровно козочка какая, так и попрыгивает, да турит все, турит Танюшу-то укладываться! А уезжая, всех одарила, старицам по зелененькой, а белицам которой рубль, которой два, опять же платьев что раздала своих... Никого не забыла... Только вот чего еще не сказала я тебе, матушка. Вот это так уж истинно чудо чудно́е... Дело-то, как видится, делалось у них неспроста.

— Что такое? — спросила Манефа.

— А на другой день после того, как гость-от от нее уехал, за конями-то, знаешь, глядим мы, пошла она, этак перед самыми вечернями, разгуляться за околицу... Танюшу взяла с собой... Сидим мы этак у келарни на крылечке с матушкой Евсталией да с матушкой Филаретой, смотрим на нее, глядь, а она в Каменный Вражек; мы к околице, переговариваем меж собой, куда, дескать, это она пошла. И что же, матушка?.. К Елфимову. Мы подале пошли, в кусточках сели, смотрим, что́ тут у них будет. Видим — Танюша в Елфимово таково скоро пошла, бегом, почитай, побежала, а Марья Гавриловна во Вражке-то присела... Прошло времени эдак с полчаса, а пожалуй и боле, глядим, идет Танюша, да не одна, матушка... Вот грех-от какой!.. Вот оно, матушка, какое дело-то вышло... С кем связалась-то!.. Господи, твоя воля!

— Да с кем же? Не томи, сказывай скорее,— с горячим нетерпением спрашивала Виринею Манефа.

— С колдуньей, матушка... С Егорихой!..— сказала Виринея и, перекрестясь, примолвила: — Прости, господи, моя согрешения!..

— С колдуньей! — как полотно побледнев, прошептала Манефа.— От часу не легче!.. Что ж это такое!.. Что с ней содеялось?..

— Сели они, матушка, во Вражке, спервоначалу все трое, потом Танюша пошла в сторону... Марья-то Гавриловна вдвоем с Егорихой осталась... И что-то все толко-

вали, да таково горячо, горячо, матушка... Больше часу сидели они да разговаривали... Посидят, посидят да походят во Вражке-то, потом опять сядут... А на расставаньи, матушка, целовалась Марья-то Гавриловна с ней, с колдуньей-то. И Танюша целовалась... Поганились, матушка, поганились — не солгу, сама своими глазами видела... Вот и матушку Евсталию спроси и Филаретушку, не дадут солгать... Вот какие дела-то у нас без тебя были!.. Вот какие дела!.. До чего дошла, подумаешь!.. Чего тут дивить, что с молодым парнем сбежала, чего дивить?.. Видимо дело, что вражья сила тут действовала... Она окаянная, треклятая эта Егориха!.. Никто больше, как она!

— Ну, хорошо,— после долгого молчания молвила Манефа.— Ступай с богом, Виринеюшка... Допивайте чай-от, девицы, да Василья Борисыча, гостя нашего дорогого, хорошенько потчуйте, а я пойду... Ах ты, господи, господи!.. Какие дела-то, какие дела-то!..

* * *

Через день после того, с солнышком вместе, поднялась обитель Манефина. Еще с вечера конюх Дементий с двумя обительскими трудниками подкатил к крыльцу игуменьиной стаи три уемистые повозки с волчками и запонами из таевочной циновки [1]. Собравшиеся в путь богомолки суетливо укладывали в них пожитки и припасенные матушкой Виринеей съестные запасы. Дементий с работниками мазал колеса.

Больше всего Фленушка хлопотала. Радехонька была она поездке. «Вдоволь нагуляемся, вдоволь натешимся,— радостно она думала,— ворчи, сколько хочешь, мать Никанора, бранись, сколько угодно, мать Аркадия, а мы возьмем свое». Прасковья Патаповна, совсем снарядившись, не хлопотала вкруг повозок, а, сидя, дремала в теткиной келье. Не хлопотал и Василий Борисыч. Одевшись по-дорожному, стоял он возле окна, из которого на сборы глядела Манефа.

— Леса горят,— сказала игуменья, глядя на серожелтое, туманное небо, по которому без лучей, без бле-

---

[1] *Таевочная*, иначе крышечная циновка — та, что делается в три аршина длины и полтора ширины. Каждого размера циновка имеет свое название: романовка, баковка, казанка и т. д.

ска выплывало багровое солнце. Гарью еще не пахло, но в свежем утреннем воздухе стояла духота и какая-то тяжесть.

— Далёко,— молвил Дементий, оглядев со всех сторон тусклый небосклон.— Дыму ни отколь не видно... Верст за сто горит, не то и больше.

— То-то смотрите — в огонь не угодите,— пристально озирая окаймленный черной полосой леса край небосклона, сказала конюху Манефа.

— Бог милостив, матушка... Зачем в огонь?..— отозвался Дементий.

— Лесной пожар хóдок. Не оставить ли до другого времени вашего богомолья? — сказала игуменья, обращаясь к Аркадии.

Не ответила Аркадия, промолчала и мать Никанора, слова не сказали и Дементий с работниками... Только пристальней прежнего стали они поглядывать на закрой неба [1], не увидят ли где хоть тоненькую струйку дыма... Нет, нигде не видно... А в воздухе тишь невозмутимая: пух вылетел из перины, когда грохнули ее белицы в повозку, и пушинки не летят в сторону, а тихо, плавно опускаются книзу. И пó ветру нельзя опознать, откуда и куда несется пожар.

«А что, как матушка Манефа, убоясь пожара, да не пустит нас в леса, отложит богомолье до другого времени?» — подумала Фленушка и от той думы прикручинилась. Ластясь к игуменье, вкрадчиво она молвила:

— Не бойся, матушка. Далёко горит, нас не захватит. Часу не пройдет после выезда, как будем мы на Фотиньиной гробнице, от нее до могилки матушки Голиндухи рукой подать, а тут и кельи Улàнгерские. Вечерен не отпоют, будем в Улàнгере.

— За нынешний-от день я не боюсь,— молвила Манефа,— а что будет после, если пó лесу огонь разойдется да в нашу сторону пойдет?

— Справим завтра каноны над пеплом отца Варлаама, над могилками отца Илии и матушки Феклы,— продолжала Фленушка.— От Улàнгера эти места под боком. А послезавтра поглядим, что будет. Опасно станет в лесу — в Улàнгере останемся, не будет опасности, через Поломы на почтову дорогу выедем — а там уж вплоть до Китежа нет сплошных лесов, бояться нечего.

[1] *Закрой неба* — нижний край видимого горизонта.

— Как по твоему рассуждению, мать Аркадия? Пускать ли вас? — обратилась Манефа к уставщице.

— Вся власть твоя, матушка,— ответила она.— Как твое произволение будет.

— Не быть бы беды от огня, вот чего опасаюсь,— сказала Манефа.

— Коли что, так в Улангере подождем огненного утишенья. Разве что ко Владимирской в Китеж-от не поспеем. А то бы, кажись, ничего.

— Так с богом! Поднимайтесь в путь, господь вас храни,— решила игуменья.— Смотри же, Аркадьюшка, все расскажи матушке Юдифи, что я тебе наказывала, не забудь чего. Да чтобы со всеми ихними матерями беспременно на Петров день к нам пожаловала... Слышишь?

— Слушаю, матушка, слушаю: все передам, все до капельки,— сказала уставщица.

— Ну вот, Василий Борисыч, и посмотришь ты на наши места богомольные, помолишься,— обращаясь к нему, сказала Манефа.— Теперь время тихое, по лесам великих сборищ не бывает, окроме что на Владимирскую на Китеже. Там великое собрание будет. Что в духов день у Софонтия, что на Владимирскую на озере Светлояре у Китежа, больше тех собраний нет. Да и там не то уж теперь, что в прежние годы. Прежде, бывало, народ-от тысячами собирается, а теперь и две сотни сойдется, так на редкость. Иссякает ревность по вере, люди суету возлюбили, плотям стали угождать, мамоне служить... Последни времена!..

Не отозвался на речи Манефы Василий Борисыч.

— Хоть твое дело взять,— продолжала она после недолгого молчанья.— Богу служил, церковных ради нужд труды на себя принимал, а теперь и тебя суета обуяла.

— Как же так, матушка? — спросил Василий Борисыч.

— Да разве по торговле аль по фабрике в приказчиках жить — богу значит служить? — с грустной улыбкой молвила игуменья.

— Еще не решено, буду аль не буду я служить у Патапа Максимыча,— ответил Василий Борисыч.— А и то сказать, матушка, разве, будучи при мирских делах, церкви божией люди не служат? Много тому видим при-

меров — Рахмановых взять, Громовых. Разве не послужили господу?

— Так-то оно так, Василий Борисыч,— молвила Манефа.— Но ведь сам ты не хуже моего знаешь, что насчет этого в писании сказано: «Честен сосуд сребрян, честней того сосуд позлащенный». А премудрый приточник [1] что говорит? «Мужа тиха любит господь, суету же дел его скончает...» Подумай-ка об этом...

— Подумаю, матушка, подумаю, и не один еще раз с вами посоветуюсь,— сказал на то Василий Борисыч.— До сроку времени еще много.

Привели шестерик коней жирных, раскормленных до́нельзя, лоснится и блестит на них гладкая шерсть, ровно маслом вымазал их Дементий. Скитницы лошадям овса не жалеют, при малой работе на хорошем корму толстеют кони и жиреют не хуже своих хозяек. По паре в кажду повозку заложили, матери и белицы уселись на грузные пуховики и подушки. В передней повозке тщедушный Василий Борисыч с толстой уставщицей Аркадией сел. Хотела она тут же усадить и мать Никанору, но двух матерей с московским послом повозка вместить не могла; села мать Никанора с Прасковьей Патаповной в другую. В третью повозку Марьюшка с Фленушкой сели.

С благословеньем Манефы и с пожеланьями доброго пути ото всех обительских стариц двинулись из обители повозки и переехали одна за другою Каменный Вражек, направляясь к окружавшему Комаровский скит лесу.

Забившись с головой в постелю и слыша стук съезжавших с обительского двора повозок, безотрадно заливалась слезами и глухо рыдала московская канонница Устинья. Как ни просила, как ни молила она, Манефа не сжалилась на слезы ее, не пустила на богомолье... Ключом кипело пылкое сердце пригожей канонницы, когда на соро́чинах не на ее глазах Василий Борисыч с Парашей за одним столом сидел... Разума теперь решалась при одном помышленьи, что целу неделю ее погубитель с нею станет по лесам разъезжать... Эх, власть бы да воля!.. Дала бы себя знать Устинья Московка!.. Плохо пришлось бы московскому гостю, да не сдобровать бы и Прасковье Патаповне.

---

[1] Писатель притчей, царь Соломон.

Только что въехали в лес, Фленушке вспало на ум до гробницы Фотиньи пешком пройтись. Много не думавши, вылезла она с Марьюшкой из повозки и, подойдя к другой, стала с собою звать Парашу. Ленива была на ходьбу Прасковья Патаповна, но все ж ей казалось не в пример веселей идти с подругами возле дороги, чем лежать на пуховиках с храпевшей во всю ивановскую матерью Никанорой. Подозвали девицы и Василия Борисыча; и он покинул толстую уставщицу, начавшую было нескончаемые расспросы о том, как в Белой Кринице за митрополичьей службой справляют полиелеи.

И матери Аркадии и матери Никаноре не охота была с мягкими перинами расставаться; то ли дело лежать да дремать, чем шагать по засоренному валежником лесу, либо по тоненьким, полусгнившим кла̀дкам перебираться через мочажины и топкие болотца. Строго-на̀строго девицам старицы наказали не отходить далеко от дороги, быть на виду и на слуху, и принялись дремать в ехавших шагом повозках.

Все деревья в полном соку, все травы цветут, благоухают. Куда ни оглянись, все цветы, цветы и цветы. Вон там, меж чернолесья, выдалась небольшая сухая полянка — ровно камчатными скатертями укрыта она: то кашка, медуница и пахучий донник [1] в цвету стоят; бортевые пчелы, шмели, осы и шершни [2] тучами носятся над ними, громко жужжа на разные голоса. Там желтеет зверобой, синеют темно-голубые бубенчики и середь яркой изумрудной зелени белеет благовонная купёна [3] и алеют зрелые ягоды костяники. Перистые ярко-зеленые ветки папоротника густой бахромой виснут над сонными лесными ручьями, полными чистой, студеной, но от смолистых корней окрашенной в бурый цвет водою...

Стоном стоят лесные голоса, без умолку трещат в высокой сочной траве кузнечики и кобылки, вьются над цветами жучки и разновидные козявки, воркуют серосизые с зеленой шейкой вяхири и красногрудые вѐтют-

---

[1] *Кашка*, или тысячелистник—Achillea millifolium. *Медуница*—Pulmonaria officinalis. *Донник* — Millolotus officinalis.

[2] *Бортевая пчела*, прироившаяся в борти — долбленом дереве, нарочно для пчел в лесу приготовленном. *Шмель*, или земляная пчела — Bombus. Оса — Vespa. *Шершень* — самая большая порода осы.

[3] *Зверобой* — Figularia Sibirica. *Бубенчики* — Iris Sibirica. *Купёна*, из породы ландышей — Convallaria bifolia.

ни, как в трубу трубит черная желна̀, стучат по деревьям дятлы, пищат рябчики, уныло перекликаются либо кошкой взвизгивают желтенькие иволги, трещат сойки, жалобно кукуют кукушки и на разные голоса весело щебечут свиристели, малиновки, лесные жаворонки и другие мелкие пташки...[1] И все эти звуки сливаются в один стройный гул, полный жизни и довольства жизнию.

— Всякое дыхание хвалит господа,— с умиленьем молвил Василий Борисыч, прислушиваясь к лесным голосам.

— Птички распевают и вся недолга̀,— отозвалась Фленушка. Ей леса были не в диковину.

Матери в повозках молчали.

Вот выдалась прогалинка. Будто розовыми шелковыми тканями покрыта она. То сон-трава[2] подняла кверху цветы свои. Окрайны дороги также сон-травой усыпаны. Бессознательно сорвал один цветок Василий Борисыч. Он прилип к его пальцам.

— Брось, брось! Что ты делаешь, Василий Борисыч?.. Брось, говорят тебе... Не след трогать сию траву, грех! — закричала из повозки мать Аркадия.

— Что ж за грех в том, матушка? — спросил уставщицу Василий Борисыч, кидая сорванный цветок.

— А забыл, что в «Печерском патерике» про него пишется? Про сей самый цветок, именуемый «лепок»? Это он самый «лепок» и есть,— говорила мать Аркадия.— Видишь, к пальцам прилип!.. Вымой руки-то скорей, вымой... Хоть из колдо́бинки зачерпни водицы, вымой только скорее.

Сплеснул Василий Борисыч руки из мутной колдобины и, вытирая их ручником, поданным Аркадией, молвил:

— Что ж про эти цветы в патерике писано?.. Не припомнится что-то, матушка...

— Не могу и я теперь доподлинно сказать тебе, в патерике ли то писано, у Нестора ли в летописце. Домой

---

[1] *Вяхирь*, дикий голубь — Columna palumbus. *Вѐтютень*, лесной голубь — Columna oenas. *Желна́*, большой дятел, поедающий пчел,— Picus martius. *Иволга* — Oriolus galbula. *Соя*, или *сойка*, лесная птичка с хохолком и голубым зеркальцем на горлышке, из рода ворон — Corvus glandorius. *Свиристель*, лесная птичка со скворца, с ярко-алыми лепестками на крылышках — Ampelis garrulus.

[2] *Сон-трава*, сонуля, дрема — Viscaria vulgaris.

воротимся, укажу,— учительно сказала Аркадия.— А писано вот что: «Во святей киевской печерской обители преподобных Антония и Феодосия бе старец, именем Матвей. И бе той старец прозорлив. Единою стоящу ему в церкви на месте своем, возвед очи своя, позре по братии, иже стоят поюще по обема странама. И видя обходяща их беса во образе ляха в луде [1] и носяща в приполе цветки, иже глаголется «лепок». И обходя возле братии, взимая из лона лепок вержаще на кого любо: аще прилепляшесь кому цветок в поющих от братии, и той мало постояв и расслаблен бываше умом, исходяше из церкви, шед в келию и спа; аще ли вержаше на другого и не прильняше к нему цветок, стояше крепок в пеньи, дондеже отпояху утренню» [2]. Вот это тот самый бесовский цветок и есть. По народу «сонулей» зовут его, «дремой», потому что на сон наводит, а по-книжному имя ему «цвет лепок». Не довлеет к нему прикасатися, понеже вражия сила в нем.

— У нас на деревне сказывают, что охотник один осенью по́ лесу ходил,— начала Марьюшка головщица.— Ходит он по лесу, видит, медведь землю дерет, Выдрал медведь корешок от которой-то травы и зачал его лизать. Лизал, лизал, да ровно хмельный и стал, насилу отошел от места. Охотник возьми тот корешок, да и ну сам лизать его по-медвежьему. Полизал, охмелел и залез в пустую берлогу. Да в ней до Василия Парийского [3], когда медведь из берлоги выходит, и проспал. Проснулся, ан корешок у него в руках. Стали по тому корешку обыскивать, от какого он зелья, и дошли, что тот корень — сон-трава, вот эта самая.

Не ответил никто на слова Марьи головщицы. Все промолчали, идучи друг за дружкой по узкой тропинке. По́дошла Фленушка к Василью Борисычу и тихонько сказала:

— А захочет молодец судьбу свою узнать, пожелает он увидеть во сне свою суженую — подложить ему под подушку липкий цветочек этой травы. Всю судьбу узнает во снях, увидит и суженую... Не сорвать ли про тебя, Василий Борисыч?.. Так уж и быть, даром что бесовский цвет, ради тебя согрешу, сорву.

---

[1] Верхняя одежда, плащ.

[2] Это сказание находится и в Печерском патерике и в летописи преподобного Нестора.

[3] Апреля 12-го.

— Не для чего мне судьбу узнавать,— не глядя на Фленушку, ответил Василий Борисыч.

— Однако ж...— заговорила было Фленушка.

Но громкий голос Аркадии покрыл ее полушепот.

— И в раи господне росло древо смерти, и ходил змей, в него же вселися диавол. Диво ли, что теперь на нашей трудной земле и древа, и травы, и скоты, и звери, и всякие гады ползущие не от бога, а от врага, не славу божию исповедуют, а вражеским козням на человеческую пагубу служат? Писанием умудренному уму подобает познати каждой вещи извещение — к добру она или к худу. В том и премудрость. И нам, малым и скудоумным, не вместити бы тоя премудрости, аще бы не святых отец писания просвещали нас... Так ли говорю, Василий Борисыч?.. Да полно ты, толчея!.. Чего без пути толчешься, когда люди умней тебя говорят! — прикрикнула она на Фленушку, а Фленушка, подсмеиваясь над ее речами, слегка дергала за кафтан Василья Борисыча.

— Премудрости господни исполнена земля,— отозвался Василий Борисыч.— Всяка жива тварь на службу человеку, и всяк злак на пользу его.

— Да полно ли вам? — брюзгливо молвила ему причудливая Фленушка.— И в обители книжное пуще горькой редьки надоело, а вы с ним и на гулянке. Пущай ее с Никанорой разводит узоры. Попросту давайте говорить. В кои-то веки на волю да на простор вырвались, а вы и тут с патериком!.. Бога-то побоялись бы!

— Это я так, Флена Васильевна,— сказал Василий Борисыч, отходя немного в сторону за кустики.— Нельзя же — старшие... А ведь бы, кажись, отсюда не вышел. Очень уж хорошо.

— Надоело бы,— подхватила Фленушка и, быстро обратясь к Марьюшке, вскрикнула, указывая ей рукой в перелесок: — Глянь-ко!.. костяники-то, костяники-то что!.. Видимо-невидимо!

Любила ту ягоду Марьюшка; не ответя ни слова, кинулась она в сторону и, нагнувшись, принялась собирать алую костянику. Василий Борисыч шел сзади телег, нагруженных матерями. С одного бока бойко идет развеселая Фленушка, с другого павой выплывает Прасковья Патаповна.

— Куда уж вам в лесах пребывать! — игриво продолжала Фленушка.— Разом бы надоело.

— Никакому человеку такая красота надоесть не может,— отозвался Василий Борисыч.— Нельзя в таком месте соскучиться: и дышится вольнее, а на душе такой мир, такое спокойствие.

— Что ж нейдете пустынничать, коли так леса полюбились вам? — лукаво улыбаясь, молвила Фленушка.— Вон там, подальше отсюдова, в Поломе, старцы отшельники век свой в лесу живут, с утра до̀ ночи слушают, как птички распевают. И вам бы к ним, Василий Борисыч.

— Что ж? — ответил он.— Добрая жизнь, богоугодная!.. Благой извол о господе оставить мир и пребывать в пустыне. Все святые похваляют житие пустынное... Только не всяк может подъять такую жизнь.

— Да, не всяк может,— думчиво молвила Фленушка, а потом, как бы встрепенувшись, прибавила: — Не про нас с вами такая жизнь, Василий Борисыч! На̀ это мы с вами не сгодилися.

— Отчего ж так? — улыбаясь, спросил Василий Борисыч.

— А оттого,— с лукавой усмешкой ответила Фленушка,— что божье у нас на языке, а мирское на уме... Правду ль сказала?.. А?..— прибавила она и весело захохотала.

— Не знаю, что на̀ это сказать... Не пробовал в пустыне жить,— молвил Василий Борисыч.

— И не пробуйте,— с притворной скромностью, опустив глаза, ответила Фленушка.— Разве вдвоем... чтобы не очень скучно было...— примолвила она, улыбаясь.

— Вдвоем-то, конечно, повеселее,— сказал Василий Борисыч, тоже улыбнувшись.— По крайности есть с кем слово перемолвить.

— Конечно,— согласилась Фленушка.— Живучи вдвоем, друг на дружку взглянешь да улыбнешься, а живучи в одиночестве, на себя глядя, только всплачешься... Ты, Параша, как о том думаешь?

— Не знаю,— вяло ответила Прасковья Патаповна.

— Уж будто никогда о том и не думала?.. И на мысли никогда о том не вспадало?..— стала приставать к ней Фленушка.

— Не помню,— молвила Параша, порывисто отвернувшись от подруги, а сама, взглянув на Василия Борисыча, ни с того ни с сего заалела, как та костяника, что сбирала Марья головщица.

— Ай, батюшки светы!.. Ягод-то что, ягод-то!..— вскликнула Фленушка и живо бросилась в сторону, оставя Парашу вдвоем с Васильем Борисычем.

Того в жар кинуло. Повозки с сонными матерями уехали вперед, Фленушка с Марьюшкой, сбирая ягоды, скрылись в лесной чаще. Никого кругом, а он с глазу на̀ глаз с приглянувшейся ему пышкой-девицей.

Слова не вяжутся. Куда сколь речист на беседах Василий Борисыч — жемчугом тогда у него слова катятся, льются, как река, а тут, оставшись с глазу на̀ глаз с молодой пригожей девицей, слов не доищется, ровно стена, молчит... Подкосились ноженьки, опустились рученьки, весь как на иглах... Да, и высок каблучок, да подломился на бочок.

Соберется с духом, наберется смелости, скажет словечко про птичку ль, в стороне порхнувшую, про цветы ли, дивно распустившие яркие лепестки свои, про белоствольную ли высокую березу, широко развесившую свои ветви, иль про зеленую стройную елочку, но только и слышит от Параши: «да» да «нет». Рдеют полные свежие ланиты девушки, не может поднять она светлых очей, не может взглянуть на путевого товарища... А у него глаза горят полымем, блещут искрами.

«Ох, искушение! — думает, негодуя на себя, Василий Борисыч.— С Устиньей в два слова обо всем перемолвил, а с этой прильпе язык к гортани моей!»

А сам, идя рядышком с Прасковьей Патаповной, понемножку да потихоньку к ней близится... Та краснеет, сторонится... К такому месту подошли, что некуда сторониться — густо разрослись тут кусты можжевельника. Василий Борисыч будто невзначай коснулся руки Парашиной. Она дрогнула, но руки не отняла... И как же заныло, как сладко защемило сердце девушки, когда он взял ее за руку...

Идут, молчат... Слегка пожимает Василий Борисыч руку Параши... Высокѐ у нее поднимается грудь, и дыханье ее горячо, и не может она взглянуть на Василия Борисыча... Но вот и сама пожала ему руку... Василий Борисыч остановился, и сам после не мог надивиться, откуда смелость взялась у него — о̀бвил рукой стан девушки, глянул ей в очи и припал к алым устам дрожащими от страсти губами...

Эх, леса-лесочки, алые цветочки! Век бы тут гуляти, алы цветы рвати, крепко обниматься, сладко целоваться!..

— Поладили,— шепнула Фленушка головщице, осторожно выглядывая из-за кустов можжевельника на Василья Борисыча с Парашей...

— Что тут хорошего-то? — брюзгливо отозвалась Марьюшка.

— Одной, что ли, тебе с саратовцем целоваться? — досадливо молвила ей Фленушка.— Всяка душа сладенького хочет. Не обсевок в поле и Параша.

— Так-то оно так,— сказала Марьюшка,— а как матушка узнает, тогда что будет?

— Будет так будет, а не будет, так что-нибудь да будет,— отрезала Фленушка, и громко запела удалую песню:

Курёвушка, курева[1]
Закурила, замела.
Закутила-замутила
Все дорожки, все пути:
Нельзя к милому пройти!
Я пойду стороной,
С милым свижуся,
Поздороваюсь:
«Здравствуй, миленький дружок,
Ко мне в гости гости
Да подольше сиди:
Со стороны люди глядят,
Меня, девушку, бранят.
Уж как нынешние люди
Догадливые,
Догадливые, переводливые!
Ни кутят, ни мутят,
С тобой, милый, разлучат».

Не слушая Фленушкиной песни, за опушкой леса по другую сторону дороги, шли рука в руку Василий Борисыч с Парашей... Шли молча, ни тот, ни другая ни слова... Но очи обоих были речисты...

Половину пути прошли. Подошла к парочке Фленушка с Марьюшкой. Тут с дороги поворот, лесная тропа до могилки матушки Фотиньи пойдет узенькая, в повозках тут не проехать. Разбудили от крепкого сна уставщицу да старицу Никанору и, оставя лошадей с работниками на дороге, вшестером пошли ко «святему месту» по клад-

---

[1] Так в северных и восточных губерниях зовут вьюгу.

кам, лежавшим на сырой болотистой земле. Гуськом надо было идти. Впереди выступала мать Никанора, за нею уставщица Аркадия, потом Марьюшка, Фленушка и Параша. За Парашей, всех позади, шел Василий Борисыч. Кладки были узенькие, местами отставали одна от другой на̀ четверть и больше. На̀ руку было это Василью Борисычу. Никто назад не оглядывался, каждая себе по́д ноги смотрела.

Учительная мать Аркадия меж тем громогласно читала наизусть поучение о прелести и суете мира сего.

Далеко раздавалась по́ лесу громкая, протяжная речь ее.

— «Жития нашего время яко вода на борзе течет, дние лет наших яко дым в воздусе развеваются, вмале являются и вскоре погибают. Мнози борются страсти со всяким человеком и колеблют душами. Яко же волны морские — житейские сласти, и похоти, и желания востают на душе... О человече! Что твориши несмысленне, погубляеши время свое спасительное, непрестанно весь век живота твоего, телу своему угождая? Что хощеши?..»

Гнилая кладка подломилась, и проповедница стремглав полетела в болото. Грузно шлепнулась она в грязь, поросшую осокой и белоусом [1]. Насилу вытащили ее Никанора с Марьюшкой.

Не стерпела Фленушка: во всю мочь расхохоталась над карабкавшейся в грязи уставщицей. И досталось же ей за то от Аркадии. Иное зачала поучение, щедро пересыпая бранными словами.

— Чему заржала, окаянная? — визгливо шумела она, отряхая жидкую грязь, со всех сторон облепившую иноческое ее одеянье.— Тряслось бы над тобой да висло, беспутная!.. Чирей бы те в ухо да камень бы в брюхо!.. Чем бы пожалеть старуху, а она зубы скалит, пересмеивает... Чтоб тебя пополам да в че́репья!.. И угораздила меня нелегкая с этакой шелапутницей на богомолье идти!.. Гулянки у тебя на уме только да смехи, о молитве и думать забыла... Околеть бы тебе без свечей, без ладану, без гроба, без савану!.. Иссуши меня, господи, до макова зернышка, коль не расскажу я про все твои проказы матушке!.. Задаст она тебе, задаст, взъерепенит бесстыжую, всклочит косы-то!.. Погоди ты у меня, погоди!..

[1] *Осока* — Carex visicaria. *Белоус* — Nardus stricta.

А Фленушка пуще да пуще хохочет над старицей. Втихомолку и Марьющка с Парашей посмеиваются и Василий Борисыч; улыбается и степенная, чинная мать Никанора. И как было удержаться от смеха, глядя на толстую, раскрасневшуюся с досады уставщицу, всю в грязи, с камилавкой набок, с апостольником чуть не задом наперед. Фленушка не из таковских была, чтоб уступить Аркадии. Чем та больше горячилась, тем громче она хохотала и больше ее к брани подзадоривала.

И бог знает, чем бы это кончилось, если б шедшие гуськом богомольцы не дошли, наконец, до маленькой полянки, середь которой стоял почерневший от дождей и ветхости, ягелем поросший, гòлубец. То была гробница добрым подвигом подвизавшейся матери Фотиньи.

* * *

До Питиримова разоренья на этом месте стояла женская обитель старицы Фотиньи Нижегородки. Вблизи от нее, с версту либо меньше, другая обитель стояла старицы Голиндухи. Много в ту пору на Керженце и в лесах Чернораменских учительных и доброго жития стариц бывало. Строгою жизнью, добрыми подвигами славились игуменьи Шарпанских обителей Марья да Федосья да начальная старица Елховского скита мать Иринарха. Великою начитанностью, острым разумом и учительным словом во все концы старообрядства гремела начальная старица Капитолина Ярославка, диаконова толка, да старица Анисья Козьмодемьянка. С самим Питиримом они препирались и крепкими адамантами древлего благочестия почитались; но не было такой постницы, не было такой подвижницы, как начальная старица Фотинья; и не было такой учительной и начитанной игуменьи, как мать Голиндуха. К Фотинье с разных сторон сходились старообрядцы поучиться добрым порядкам и подвижничеству, у Голиндухи соборы даже сбирались. Однажды на Тихонов день [1] многие старцы и старицы, именитые люди и духовного чина к матери Голиндухе в обитель сходились разбирать поподробну «спорные письма» протопопа Аввакума и обрели в них несогласных речей со святых отец писанием много, за то и согласились отложить те письма. И настало оттого разделенье кержен-

[1] 16-го июня 1708 года.

ских старообрядцев на Софонтиево и Онуфриево согласия. И по времени те, что Софонтьева толка держались, по многих спорах Онуфриевых одолели, и тому одолению много послужили мать Фотинья да мать Голиндуха. Оттого и память их доныне на Керженце честно хранится, оттого на места разоренных скитов, на ихние могилы и ходят богу молиться, помины творить по крепким ревнительницам старообрядства.

На Фотиньиной полянке стихли и брань уставщицы и Фленушкин хохот. Положив семипоклонный начàл, замолитвовала Аркадия канон за умерших. Отпели канон над могилой Фотиньи и помянули ее взятыми из Виринеиной келарни кутьей да холодными блинами.

Отправив службу по Фотинье, богомольцы пошли дальше в лес по тоненьким кладкам. Тут стоячее болото было жиже, промеж зеленой осоки и пышных ярко-желтых купавок[1] сверкали глубокие лужи, как пеной подернутые железною ржавчиной. Между ними попадались «вадьй» и «окна»; угодишь туда — нет спасенья: пиши к родным, творили бы поминки... Опасливей прежнего идут гуськом друг за дружкой богомольцы, боясь, чтоб опять кому не попасть в болото, как судил господь попасть уставщице. Сухая полянка матери Голиндухи была гораздо обширней, чем у Фотиньи; почти сплошь была она крыта ярким зелено-бурым мохом, и на нем росло множество несозрелой еще брусники.

И над Голиндухиной могилкой справили обычную службу и над нею пропели канон и кутьей да блинами помин сотворили. Дальше гуськом по тонким кладкам пошли и вышли на дорогу, где их ожидали терзаемые оводом кони.

— Подите-ка вы наперед,— молвила мать Аркадия конюху Дементью и работникам,— а я тем временем переменю одежу. Ишь грех какой! Как изгрязнилась!

Осталась Аркадия с Никанорой да с Марьюшкой головщицей. Давай перины поднимать да узлы развязывать. Достала уставщица чистое белье и запасное верхнее платье. Переодевшись, села в переднюю повозку, а Никанора с Марьюшкой в задние две поместились, и так поехали одна за другой догонять ушедших вперед. Скоро нагнали и по-прежнему разместились. Место возле дороги было посуше; девицы с Васильем Борисычем по-

[1] Водяной лапушник, Nymphea.

прежнему пошли друг за дружкой по лесной опушке, попрежнему отдалился московский посол с Парашей, попрежнему вел ее за белую руку, по-прежнему прижимал ее к сердцу и срывал с губ Параши горячие поцелуи. Ни он, ни она ни слова... К чему слова, зачем длинные речи?.. И без того знают, что полюбили друг друга. Не любит русский человек про любовь разговоры водить — молчком все больше...

* * *

Багровое солнце, плывя в серо-желтом тумане, давно уж с полдён опустилось, когда путники наши добрались до Улангера. Чищенина[1] была тут обширная и сплошь покрыта выколосившимся и налившимся уже хлебом. Середь чищенины, со всех сторон окаймленной зеленевшими пожнями, по белоснежному кварцевому песку струилась светлая речка Ко́зленец. По одну ее сторону стоял скит Улангерский с десятью обителями, по другую Фу́ндриковский — там было две обители.

Еще до Питиримова разоренья стоял на Козленце небольшой скиток Фундриков, место было затишное, укромное, разоренье не коснулось того скита. Гораздо позже, вскоре после чумного года и пугачевщины, разрослось здесь скитское население — появились новые обители и за речкой супротив Фундрикова. То был Улангер.

До того улангерские келейницы жили верст за сто оттоле в лесах Унженских; там у них был скит большой и богатый. Тем по старообрядству он славился, что немало в нем живало дворянок: чухломских, галицких, пошехонских. В старые годы предки тех «бар», как зовут их в народе, бывали на службах великих государей, верстаны были поместьями и жалованы ими в вотчину. Внуки их, правнуки, засев в лесах, завалившись в болотах, всегда «в нетях бывали», не являясь на государеву службу. Оттого жалованных земель у них не прибывало, а каждого из бар господь благословлял чадородьем не меньше плодущего рода — попов да дьяконов. Именья дробились, и баре вконец обедняли. Случалось, что у семи дворян бывала одна крепостная душа и два либо три загона дрянной землицы. Жили они беднее крестьян, а чванства и родовой спеси было столько, что с каждого

---

[1] Место, где лес вырублен, выкорчеван и сожжен под посев; пашня, расчищенная из-по́д лесу.

хватило бы на дюжину богатых вельмож. Работать им нельзя, потому что «баре», а служить тоже нельзя, потому что очень уж неотесаны, да и грамоте редкий из них учился. От крестьян отличались только запонкой на рубахе да кружившим ихние головы званием «барина». Народ не уважал бар, смеялся над тунеядцами и сложил про них две меткие пословицы: «бара — по грошу пара» да «семь дворянок на одной кобыле верхом едут». Такие-то баре, вдовые барыни и боярышни наполняли старообрядские скиты, находившиеся от них поблизости. Таков был и Старый Улангер.

Долго там проживали они. Скит Улангерский прославился, дорожили им московские и других городов старообрядцы. «Знайте, дескать, что и меж нас есть родовые дворяне благородные», и щедрой рукой сыпали в Улангер подаяния. И жизнь в том скиту была безопасней и привольнее, чем по другим,— и попы и полиция не так смело к нему подступали.

С умиленьем и гордостью рассказывают скитницы про Старый Улангер. Житие, говорят, было там пространное, широкое, небоязное, порядки добрые, строгие, и помногу беглых попов в том скиту пребывало. И колокольный звон, и крестные ходы вкруг скита и по окольным полям, и свободное отправление погребения с громогласным пением и целым строем попов во всем чину своем — все это бывало в захолустном, забившемся в дремучие леса Улангере и придавало ему блеск и славу по всему старообрядству. И неведомо отчего прогневался господь на Улангерские обители: в пору необычную, на самое богоявленье нашла грозовая туча, и молния ударила в главную скитскую часовню. Поднялся вихрь и раскидал полымя по всему скиту; часа через два ничего от него не осталось. Со страха и ужаса по всем сторонам разбежались улангерские матери.

Летом галицкая боярыня Акулина Степановна из рода Свечиных, с племянницей своей Федосьей Федоровной Сухониной, собрала во един круг разбежавшихся матушек, пошла с ними вкупе на иное место и на речке на Ко́зленце, супротив старого скита Фундрикова, ставила обитель Спаса милостивого. По малом времени собрались сюда и другие скитские жители, и ставлено было на Козленце двенадцать обителей, десять женских, две мужские. Дворянского рода белицы и старицы до по-

следнего времени не переводились в Улангере, и хоть этот скит далеко́ не был так богат, как Комаровский, Оленевский или Шарпанский, но славу имел большую, потому что в нем постоянно привитали бедные дворянки чухломские, галицкие и пошехонские. И каких сказок про них не рассказывали: и близки-то они ко двору, и имеют-то среди царских вельмож близких сродников, и есть-то у них жалованные грамоты, и теми-де грамотами на веки вечные обеспечена неприкосновенность скита Улангерского.

И что было с пошехонскими, галицкими и чухломскими «барами», то сталось и с потомками их, улангерскими келейницами. Сколько было у них бедноты и наготы в сравнении с другими скитами, рассказать того невозможно, а спеси боярской в сотню раз было больше того. Как можно посылать по городам за сборами, как можно канонниц в Москву отправлять? Сама Москва должна двинуться на речку Козленец поклониться скиту дворянскому! Знать никого не хотят — ходят ребром, глядят козырем. На что нам богатство, была бы спесь, была бы перед нами пыль, люди бы перед нами сторонились... Оттого и забеднел скит Улангерский.

В последнее время перестали дворянской славой кичиться в Улангерских обителях. Дворянок осталось там мало; да и те были без зубов, с пе́чи не слезали, доживая на ней долгий век свой. Но старая спесь не совсем вымерла в Улангере — не со многими обителями других скитов тамошние матери знакомство и хлеб-соль водили. Обитель Манефина в славе была и в почете, оттого знались с нею и дорожили знакомством улангерские матери, особенно игуменья самой большой обители, мать Юдифа, из ярославского купеческого рода. К ней-то и взъехали усталые до́нельзя комаровские богомольцы.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Девушка, что ловчая птица. Трудно сокола выносить, а перевабишь [1], сам на руку станет летать. Недотрогой-

[1] Сокола и другую ловчую птицу носят на руке, поколь не заснет, и таким образом приручают. Это называется вынашивать. *Перевабить* — перезвать сокола, переманить вабилом с места. *Вабило* — пара птичьих крыльев; ими машут, посвистывая, для призыва выношенной ловчей птицы.

царевной глядела Прасковья Патаповна, выезжая из Комарова, а когда добрались богомольцы до Улангера да разместились по кельям и светлицам Юдифиной обители, красна девица встосковалася: «Где-то радость моя?.. Что-то он, миленькой дружочек, поделывает?..»

И Василью Борисычу не сидится на месте. Радехонька была мать Юдифа знакомому уж ей московскому уставщику. Еще когда певчая стая Манефиной обители ездила в Осиповку хоронить Настю, Василий Борисыч, оставаясь в Комарове без дела, побывал у матери Юдифы и много старался склонить ее к признанию владимирского архиепископа.

Усадила Юдифа Василья Борисыча в почетный угол, угощает его и чаем и сластями, заводит с ним речи про австрийских архиереев. Но московскому послу не до посольства. Не архиерей у него на уме, а белые атласные плечи; не владыку Антония он на памяти держит, про то сладко вспоминает, как, гуляя по лесочку рука об руку с Прасковьей Патаповной, горячо обнимал ее, целовал в уста алые и в пухлые, мягкие щеки. И дивится словоохотливая Юдифа его молчанию; отчего это, думает она, то и дело в речах он путается, невпопад на спросы отвечает? Узнав, что Василий Борисыч, ради богомольного подвига, почти всю дорогу пешком прошел — «устал, родименькой, притомился,— подумала,— от великих богомольных трудов расстроило его, сердечного».

— Отдохнуть бы вам с дорожки-то, гость дорогой,— молвила Юдифа Василью Борисычу.— После трапезы отдохнуть не вздумается ли?

И кликнув белицу Домнушку, игуменья велела ей постлать поскорее гостю постель в соседней светелке, что была над кельей игуменьиной.

А Домнушка девица молоденькая, собою малéнька, личиком беленька, очи сокольи, брови собольи, глаза с поволокой, роток с позевотой, а девичья краса — русая коса лежит по спине до шелкòва поясà. Веселая такая была да нежная, а сама чиста, как голубица. Когда впервые Василий Борисыч в Улангере был, облюбовал он эту девицу и почасту с ней втихомолку заигрывал. Обрадовалась теперь Домнушка гостю негаданному, а он ровно и не знает ее; даже не поздоровался. И зарделось с досады белое личико Домнушки, заискрились слезинкой очи звездистые, не того ждала — не того она надеялась, жи-

вучи в одиночестве, помышляя каждый день о Василье Борисыче.

Только что Юдифа из кельи вон, на место ее Фленушка.

— Ну что́? — спросила она, изо всей мочи хлопнув по плечу погруженного в думу Василья Борисыча.

Тот даже присел от нечаянного удара разудалой девицы.

— Ох, искушение! — вскрикнул он и, едва переводя дух, примолвил: — Совсем испопо́шили вы меня, Флена Васильевна! Можно разве этак пугать человека?.. Мало ль что с перепугу может случиться? Медведь и покрепче меня, да и с тем с испугу-то что бывает?

— Ишь незамайка какой!..— лукаво усмехаясь, молвила Фленушка.— Где таково, Василий Борисыч, изнежничались? В светлой светлице, аль в чистом поле, али в лесочке, срывая цветочки?

— Не знаю, как понимать ваши речи, Флена Васильевна,— сказал Василий Борисыч, будто не понимая ее намеков.

— Речисты уж больно стали вы, Василий Борисыч. С ваших столичных речей, может статься, нам, лесным дурам, плакать придется,— продолжала Фленушка.

— Да что это вы нынче притчами все говорите? Вы бы прямо. Понятнее,— сказал Василий Борисыч.

— Те мои и речи, что птицу кормом, а девушку льстивыми речами обманывают,— с коварной усмешкой молвила Фленушка.

Василий Борисыч чи слова в ответ.

— Сгубили вы ее своими речами,— продолжала Фленушка.

«Ох, искушение!» — подумал Василий Борисыч. Да тут же и вспало ему на ум: «Про какие же речи она говорит? Мы ведь все время единого слова не перемолвили».

— Сидит, разливается-плачет,— молвила Фленушка.— Хоть пошли бы да утешили, покаместь у наших стариц с Юдифой тарабары идут.

— Ох, искушение! — вполголоса сказал Василий Борисыч.

— Нечего таиться-то,— сказала Фленушка, положив ему на плечо руку.— Мы с Парашей душа в душу, она все рассказала...

— Ах, Флена Васильевна! Флена Васильевна!..— только и мог, краснея и глубоко вздыхая, промолвить Василий Борисыч.

— Вот что: теперь, пожалуй, лучше не ходите к ней,— сказала Фленушка,— оченно уж людно здесь, да опять же на нас, на приезжих, много глаз глядит... Вечерком лучше, после заката,— на всполье тогда выходите. Как сюда въезжали, видели крест большой в землю вкопан стоит? От того креста дорожка вдоль речки к перелеску пошла, по ней идите... Да смотрите, чур не обмануть. Беспременно приходите.

Ни слова Василий Борисыч, одно заветное шепчет он слово: «Ох, искушение!»

— Что ж нашей царевне-королевне велите сказать? — настойчиво спросила Фленушка.— Придете аль нет в лесочке вечерком тоску-горе размыкать?.. Придете аль нет?

— Приду,— смущаясь, едва слышно проговорил Василий Борисыч.

— Ну, ладно... Да вы не бойтесь. Ловкой рукой все обрядим... Сама настороже стану,— лукаво усмехнувшись, бойко и резво проговорила Фленушка.

— Ох, искушение! — опуская голову, молвил Василий Борисыч.

— Погляжу я на вас,— с задорной улыбкой сказала ему Фленушка,— настоящий вы скосырь московский!.. Мастер девушек с ума сводить... Что-то Устюша теперь?.. Ну, да ведь я не за тем, чтоб ее поминать... Прощайте, не обманите же... Только что после ужина матери по кельям разбредутся, то́тчас к большому кресту да тропой в перелесок... Смотрите ж.

И, как резвая касатка, вон из кельи порхнула.

А вовсе не Парашины речи-желанья Василью Борисычу она говорила. Высмотрев украдкой, что было в лесочке, вздумалось Фленушке и эту парочку устроить. Очень любила такие дела, и давно ей хотелось не свою, так чужую свадьбу уходом сыграть. По расчетам ее дело теперь выпадало подходящее: влез по́ пояс Василий Борисыч — полезет по горло; влезет по горло — по̀ уши лезь; по̀ уши оку́нется — маковку в воду... Того хочет Флена Васильевна, такова ее девичья воля.

* * *

По случаю приезда московского посла и комаровских матерей в Юдифиной обители было большое собранье. Сошлись старицы изо всех обителей.

До́сыта наговорились они. Успокоясь от сердечной тревоги, много говорил с ними Василий Борисыч. Толковали об архиерействе, улангерские старицы не были склонны к Белокриницкой иерархии, сомневались в ее чистоте, ересей сокровенных боялись, больше всего смущало их, не обли́ванец ли грек Амвросий. Если обли́ванец — все его архиерейство и священство безблагодатно, и, кроме душевной гибели, от него ожидать ничего невозможно. Василий Борисыч бога в свидетели приводил, что сам своими глазами видел, как в Эносе, на родине митрополита, греки детей в три погруженья крестят, что там про обли́ванство слуху нет и весьма им гнушаются, как богомерзкой латинской прелестью. От книг доказывал, что хоть у греков вера от басурманского насилия и стала пестра, но в крещении они нимало не погрешили. Еще больше было речи об опасности, грозившей скитам Керженским и Чернораменским. Юдифа и другая улангерская игуменья, мать Минодора, получили из Петербурга от благодетелей такие ж недобрые вести, как и Манефа. Толковали, вздыхали, охали и тем порешили, что где гроза, там и вёдро. Господь не без милости — пронесет мимо грозную тучу и бедных сирот учи́нит беспечальны: надо во всем на его святую волю положиться. И то порешили, чтоб на Петров день старицы из Улангерских обителей ехали к матушке Манефе соборовать, что надо делать, что предпринять при таких тревожных вестях.

Солнце меж тем багровело больше и больше, серожелтый туман застилал лазурь небесного свода и с каждым часом больше и больше темнел. И на земле затуманились дальние предметы: перелесок и фундриковские строенья ровно в ды́мку закутались. Гарью запахло — значит, пожар разгорался не на шутку, но где, близко ль, далеко ль, не знает никто. Во время лесных пожаров сухой туман и запах гари распространяется иногда на сотни верст от горелого места. Оттого в Улангере и были спокойны — никто не тревожился. «Горит где-то далёко, до нас не дойдет,— говорили келейницы,— а хотя б и до-

шло, так нам не беда — Улангер не лесная деревушка, чищенина большая, до келий огню не добраться».

Еще далеко̀ не дойдя до края небосклона, солнце скрыло лучи и померкло, опускаясь в непроглядную полосу сухого тумана. Нет вечерней зари, прямо без зари ночью небо покрылось. Повеяло холодком, столь отрадным после зноя длинного июньского дня. Над речкой, на по́жнях и болотах стали расстилаться влажные туманы. От гари лесного пожара не белыми они кажутся, а какими-то сероватыми. Бывшие у Юдифы на соборе матери, распрощавшись с комаровскими гостьями, разошлись по обителям. Везде покончили работы, совершили вечернюю трапезу и разошлись по кельям на боковую.

Фленушка уговорила двух знакомых ей девиц Юдифиной обители вместе пойти погулять по вечернему холодку. Те охотно согласились. Сказали Домне, та не пошла, тем отговорилась, что голова у ней разболелась, а в самом деле разболелось у нее сердце. На что ж это в самом деле похоже? В первый раз приезжал — заигрывал; еще побывать обещался, гостинцев привезти, и вдруг ни с того ни с сего — взглядом подарить не хочет... А она ль об нем не думала, она ль не надеялась?.. И очень печалилась нежная Домнушка, но втайне печаль свою сохраняла... Пошли разгуляться Фленушка с Парашей да с Марьюшкой, были с ними две Юдифины девицы: развеселая, разудалая, быстроногая смуглянка Дуня да голосистая чернобровка Варя, головщица правого клироса. Только что вышли на всполье да отошли от келий подале, тотчас за мирские песни, а сами все ближе да ближе к перелеску.

Василий Борисыч из обители вышел, и неспешными шагами идет он к большому кресту. Подошел, остановился, положил перед крестом семипоклонный начал, ровно перед добрым делом... От креста по узкой тропинке к темному лесочку пошел. Фленушка приметила гостя, только что выбрался он на всполье, голос ему подала. Подошел к девицам Василий Борисыч.

В малиновом шелковом сарафане с палевым передником и с белым платочком на голове сидела на траве, окруженная подругами, Параша. Как и всегда, была неразговорчива, но не заметно было в ней ни былой лени, ни прежней сонливости. Пошла ли б она поздней порой

в поле, покинула бы разве мягкий пуховик, если б не случилось с ней в тот день, чего отродясь еще не случалось. Узнала горячие объятья, испытала сладость поцелуев и ровно переродилась; взор стал смышленее, лицо думчивее, движенья быстрее. Если б Фленушка с Марьюшкой и ничего не подсмотрели в лесу, они, как опытные девицы, сразу бы, взглянув на Парашу, догадались, отчего такая перемена с ней сталась. Любовь, что огонь либо что кашель: от людей не скроешь.

Фленушка с девицами, ведя затейные разговоры, ушли в глубь лесочка. Увидала Параша, что осталась одна, а Василий Борисыч стоит перед нею... Голова у ней закружилась, сердце так и упало... Убежать бы скорей, да с места не встается... Остаться и боязно и стыдно... Однако осталась.

Василий Борисыч возле нее на травку сел и молча взял за руку. Параша ни слова.

Крепко он обнял ее и стал целовать... Ни слова Параша... Отстраняется от поцелуев, но не отталкивает разгоревшегося страстью московского гостя.

И все молчат... А хмелевая ночка темней да темней, а в дышащем истомой и негой воздухе тише да тише. Ни звуков, ни голосов — все стихло, заснуло... Стопами неслышными безмолвно, невидимо развеселый Ярило ступает по Матери Сырой Земле, тихонько веет он яровыми колосьями и алыми цветами, распаляет-разжигает кровь молодую, туманит головы, сладкое забытье наводит...

Обнял Василий Борисыч Парашу — молчит... Прильнул распаленными устами к ее устам — молчит...

Реет над ними Ярило, кроет любовь их серебристым своим балахоном... Радостно улыбаясь, осыпает их цветами весны, цветами любви, цветами жизни...

Заготовила было Фленушка сон-траву подложить под подушку Василью Борисычу — пусть бы приснился ему вещий сон, пусть бы узнал он судьбу свою, увидал бы во сне свою суженую... Бросила липкий цветок — не надо... Наяву все узнано, не во сне все угадано.

* * *

На другой день путники отправились на прах сожженного «страдальца» Варлаама. Пристали к ним старицы и белицы улангерские... И все женский пол, из муж-

чин только Василий Борисыч да еще доживавший свой век в обветшалой мужской обители старец Иосиф.

Тот Иосиф был старожил улангерский. Старше его по жительству в ските никого не было, кроме древней матери Ксенофонты, впавшей в детство и уж больше пяти годов не слезавшей с печки, да матери Клеопатры Ерахтурки, чтимой всем Керженцем, всем Чернораменьем за преклонную старость, за непомерную ревность во вере, за что пять раз в остроге сидела и много ради древлего благочестия нужд и скорбей претерпела. И мать Ксенофонта и мать Клеопатра Ерахтурка еще с боярыней Акулиной Степановной из Старого Улангера на речку Козленец переехали. Старец Иосиф был из чухломских бар, дворянского роду Горталовых, за ним в Чухломском уезде три ревизские души состояло, две души умерло, третья вместе с барином в обители проживала и над барином своим начальствовала, потому что инок Галактион, по мирскому Егорка Данилов, крепостной господина Горталова крестьянин, игуменствовал в обедневшей и совсем почти запустевшей мужской Улангерской обители, а старец Иосиф Горталов был при нем рядовым иноком. Хоть пострижен был отец Иосиф, хоть отрекся от мира сего, однако ж барской спеси осталось довольно в нем.

— Егорка, подлец! Чтой-то ты вздумал? Как ты смеешь? — крикнет, бывало, Иосиф на своего игумна, когда тот сделает что-нибудь несогласное с желанием своего барина.

— Я тебе не Егорка,— строго ответит игумен.— Твой Егорка был да сплыл, аз же, многогрешный,— смиренный игумен честно́й обители Покрова пресвятыя богородицы — инок Галактион. И он тебе приказывает: стань, непотребный раб, на поклоны, сотвори сто великих поклонов, да триста метаний, да пятьсот малых.

И смиряется старец Иосиф и кладет поклон за поклоном, метанье за метаньем, творя волю крепостного своего игумна. И, ведая таковое смирение старца Иосифа, его похваляли.

Так про него говорили: «Отец Иосиф сын великоблагороден, земных чести и славы отрекся, убогого монастыря во убогой келийце благодарственно нищету и скудость терпит, паче же всего христоподражательным смирением себя украшает».

А в прежние годы, в годы светлой, кипучей молодости, ходо́к был отец Иосиф. Памятуют о том старушки, теперь черным куколем крытые, апостольником украшенные, иночеством венчанные. До̀ смерти не выйдет из их памяти, как молодыми белицами они во честных обителях житие провождали. То-то был затейник, то-то был любезник молодой чернец — барин Иосиф! Дворянский род много ему помогал. Падки бывали до дворянского рода скитские девицы — всякой облагородиться было лестно. Пролетели года один за другим, старостью поник инок Иосиф. За старину тогда принялся, много книг прочитал, много ученья изведал. Имея быстрый ум и острую память, как книга знал старину, а чего не знал, то вымыслом умел разукрасить. Оттого и желательно было каждому заезжему в Улангер человеку старца того послушать, и сам отец Иосиф любил провести час-другой в беседе с хорошим человеком. Только Москву и тузов ее он не терпел. Не жаловал еще комаровскую уставщицу Аркадию. Какие-то старые счеты с той старицей у него были...

Идет Иосиф всех впереди, рядом с ним Василий Борисыч. Слушает московский посол преподобные речи, не вспоминая про греховную ночь. Фленушка с бледной, истомленной Парашей и свежей, как яблочко наливное, Марьей головщицей следом за ними идут. Люди хоть не дальние, а все-таки заезжие, любопытно и им сказаний Иосифа про улангерскую старину послушать.

— Идем мы благочестно на прах отца Варлаама,— говорил Иосиф.— Добре и нам ныне подвиги его воспомянути. Доблестно пострада воин Христов за правую древлеотеческую веру; себе самого и доблих учеников своих сожжению предавше, да лестию не обольстят рабов Христовых злые антихриста послы... Ангелы божии в небесах возликовали, егда воню благоухания сожигаемых обоняли и песнь преподобных во временном сего мира огне слышали. «Изведи из темницы душу мою, мене ждут праведницы» — вот что пели во пламени Христовы исповедники. Таковы по здешним местам в стары годы люди живали, таковы преславные дела здесь бывали. Ныне не то, не те времена!

— Да,— вздохнул Василий Борисыч.

— Ныне не то,— продолжал Иосиф, покачивая седою головой, покрытою старой, побуревшей от времени

камилавкой.— Ныне слабость по́ людям пошла. Измалодушествовались не токмо мирские, но и те, что ангельский образ приять сподобилися. Повсюду враг божий плевелы свои обильно сеет, повсюду в сети свои, окаянные, христианские души уловляет. Плача и воздыханий достойно наше время! Иссякла вера, померкла добродетель, не стало истинных рабов Христовых! Обаче божия благодать и в нынешние последние времена не оскудевает, паче же преизбыточествует. У вас на Москве промеж пузатых лицемеров, агнчую одежду на волчьи телеса вздевших, про здешние чудеса, поди, чай, и не слыхивали, а мы, простии, своими очами их зрели... Что́ ваша Москва? Широко́ живет, высоко̀ плюет, до божьего ей нет дела... Вавилон треклятый!..

— Напрасно, старче божий, такое о Москве рассуждение держите,— вступился московский посол.— Земля грехами преисполнена, Москва на ней же стоит. Праведников, подобных прежним отцам, не видим, обаче ревности по древлему благочестию не лишены. Прилежания к старой вере в московском обчестве довольно. О том по всем странам премного известно.

— Не говори, друг любезный, про вашу прославленную Москву,— горячо сказал Иосиф.— Знаю ее вдоль и поперек. Испокон веку деревенщине была она не любовна... Как в стары годы, так и ныне, Москва что доска — спать широко, да кругом метет... Уты, утолсте, ушире и забы бога, создателя своего. Не в Москве древлее благочестие,— по далеким захолустьям, середь бедного, простого народа... Это так... так... Ты еще молод, Василий Борисыч, не спорь со старым человеком хорошего роду. Су́против старого царского дворянина спорить тебе, мальцу, не доводится. Помни мое слово, не супротивься.

Смолчал Василий Борисыч. Помолчал немного и старец Иосиф, затем такую речь повел:

— От веку до́ веку не видать и не знать Москве столь великого подвижника, такового по святоотеческой вере поборника, каков во дни наши среди нас просиял. Многотерпеливый муж и многострадальный, добрыя ревности и спасительного жития, ревностно и благопокорно среди братии служаще, молитвенного и целомудренного пребывания образ был всем хотящим спастися...

— Кто ж это такой? — спросил Василий Борисыч.

— Тезоименит преподобному страдальцу, ему же грядем поклониться,— ответил Иосиф.— Варлаам ангельское имя ему, мирское же Василий Перепелкин, родом из Медыни, хорошего рода старых дворян.

— Расскажите о нем, пожалуйста, отче святый,— сказал Василий Борисыч.

Быстро, но важно взглянув на московского посла, Иосиф торопливо поправил кафтырь и камилавку, съехавшие на̀бок, и стал говорить:

— Когда настал французский год, дивный отец, не стерпя зрети озлоблений иноплеменных, удалился. И шед бегая в пустыню, в здешние леса за Волгу пришел. Прежде поблизости Старого Макарья имел пребыванье в лесах Каменских, Дорогучинских, Ветлужских [1], и только в молитвах и посте подвизался, что сподобился общения со невидимыми грешному миру святыми отцами Нестиарской обители [2].

— Что за обитель? Что за невидимые святые? Не слыхивал я, грешный, про них...— с живым любопытством спрашивал Иосифа Василий Борисыч.

— О Москва, Москва! Высокоумные, прегордые московские люди! — с усмешкой презренья воскликнул старец Иосиф.— Великими мнят себе быти, дивного же божия смотрения не разумеют. Окаменели сердца, померкли очи, слуху глухота дадеся!.. И дивиться нечему — Нестиар не фабрика, не завод, не торговая лавка, а божие место, праведным уготованное!.. Какое ж до него дело московским толстопузам?..

— Богом прославленных мест на земле — что звезд на̀ небе,— сказал замолчавшему Иосифу Василий Борисыч.— Все такие места одному человеку изведать не можно, а тебе бы, старче, незнающему сказать, неведу-

---

[1] По переведении в 1817 году Макарьевской ярмарки в Нижний Старым Макарьем зовут уездный город Макарьев, при котором знаменитая ярмарка существовала с начала XVII столетия. Каменский лес вблизи Волги на левой стороне ее, ниже Макарьева, называется так по селу Каменке, находящемуся на Рознежской заводи реки Волги. Сплошной с ним лес, простирающийся к востоку, называется Дорогучинским, по речке Дорогуче. К северу от них Ветлужские леса, по реке Ветлуге. В этих местностях до расхищения казенных лесов, бывшего в пятидесятых годах, жило немало пустынников.

[2] Озеро *Нестиар* на левой стороне Керженца среди глухого леса.

щего научить, а не Москву бранить. Тут московские люди ни в чем не повинны.

Не ответил Иосиф, но, недолго помолчав, быстро обратился к Василью Борисычу.

— Васильсурск знаешь?

— Как не знать? — живо отвечал Василий Борисыч.

— Задолго до Никоновой порухи было на Руси лихолетье...— начал рассказ свой старец Иосиф.— Гришка Расстрига на православное царство Литву да ляхов навел. Города, села пожигали, церкви рушили, святые иконы на щепы кололи, всякой святыне ругались. Поднялась заодно с ними некрещеная сила: мордва, черемиса, татаре. Подошла та окаянная сила к Васильсурску. Ратных людей было там мало. Васильгородцы, не чая спасенья, преплывали обонпол Волгу и в лесах от огня и меча укрывались. Ратные же люди вышли из града на врагов, нимало победы не чая, мученический венец прияти желая. Но простер господь десницу свою, и пред малым числом благоверных воев врознь побежали орды не знающих бога. Взятая в полон черемиса поведала васильгородцам: оттого-де они побежали, что перед ними на белом коне явился страшный видом чернец и пламенным копием их, врагов имени Христова, поражал немилостиво. Когда ж полонянники восхотели святого крещения и были приведены в васильгородскую церковь, воззрев на икону преподобного отца Варлаама Хутынского, познали старца, пламенным копием их поразивша. Слыша таковое божие о граде смотрение, васильгородцы богу хвалу приносили, преподобному Варлааму пели молебны, и все радости были исполнены спасения ради своего града от иноплеменных. По мале же времени многие от них в вере пошатнулись, престали к церкви божией ходити, поучении от священного чина принимати, и едва сорок человек остались во граде помнивших господа и не забывших бога и святой его веры. И ради того сорока не попустил до времени господь тому граду погибнуть... Настал праздник господень. Преполовеньев день. В церковь только те сорок человек пришли, иные ж в бесчинных игрищах и в мирской суете пребывали. И когда по скончании божественной службы благочестивые крестным ходом пошли на Волгу воду святить, двинулась за ними и церковь божия, пред нею же икона преподобного Варлаама Хутынского шествовала, никем не носима. Ко-

гда же пришли ко брегу, Волга-река расступалася, как широкие врата растворялася, принимала в свое лоно людей благочестных, и шедшую за крестным ходом церковь, и по воздусям ходящую святую икону преподобного Варлаама... И всемогущего бога силою те люди и церковь пренесены за Волгу, в леса, на озеро Нестиар. И до сих пор тамо живут они невидимые в обители невидимой, все одно, что на Китеже.

— Дивен бог во святых его,— подняв глаза к небу, с умилением проговорил Василий Борисыч. Поклонясь Иосифу, он промолвил: — Благодарен остаюсь на добром поученье.

— То-то! Благодарен остаюсь! — ворчал отец Иосиф.— У вас на Москве, да и по другим странам, где такие богом хранимые сокровенные места? Да нельзя и быть им у вас!.. Кто у вас на Москве по старой вере остался? Толстосумы, торгаши, продажной совести купцы! Всем завладали окаянные мытари, завладали и церковью божьей. Нечего рожу-то косить — правду сказываю... Мзда, неправедные нажитки ослепили!.. Забыв бога и любовь, им повеленную, всякого норовят обсчитать, рабочего обидеть, своему брату долгов не заплатить. Тот у них за человека не почтен, кто хоть раз на веку по гривне за рубль не платил... Подлецы!.. Вот каковы ваши московские столпы старой веры, вот каковы адаманты благочестия! А все отчего? Оттого, что в старой вере нашей братьи столбовых дворян никого не осталось. Я чуть ли не последний... А без дворян ни земное царство, государское, ни благодатное царство, сиречь церковь святая, стояти не могут... Это верно. Вспомни-ка, кто были древние святые отцы? Все хороших дворянских родов. Москву возьми: святитель Петр из Волынских бояр, Алексей митрополит из роду Плещеевых, святитель Филипп из роду Колычевых, Сергий преподобный из радонежских дворян. А теперь кто? Худородные. Спроси у моего Егорки, игумна нашего, отца Галактиона, значит, спроси его — то же скажет, хоть сам и раб и худороден. Ты, Василий Борисыч, много начитан, значит, силу писания разумеешь, и то, стало быть, ведаешь, что́ означает стих, поемый на богоявление господне.

И запел дрожащим от старости голосом Иосиф «Глас господень на водах вопиет глаголя: приидите, приимите

вси духа премудрости, духа разума, духа страха божия...» Скажи-ка, что это означает? — спросил он у Василия Борисыча.

— Да как сказать...— замялся Василий Борисыч.

Иосиф продолжал:

— То означает, что от господа три жребия человеком дано: Симов жребий — богу служити, Иафетов жребий — власть держати, Хамов жребий — страх имети. Оттого и поется, чтобы даровал господь Симу, сиречь духовному чину, премудрость на поучение людей, Иафету, сиречь дворянству, от него же и царский корень изыде,— послал духа разума людьми править, в разумении всяких вещей превыше всех стояти, а Хаму, сиречь черному народу, мужикам, мещанам и вашему брату, купцу, послал бы господь дух страха божия на повиновение Симову жребию и Иафетову. Раби есте... Мы, Симов и Иафетов жребий, раби божии, а вы, Хамов жребий, первее раби божии, а потом раби наши, то есть Симовы и Иафетовы. Вот как по божьему-то. А ныне не то, ныне песья нога выше головы стала... Разве это божье устроенье?.. Не от бога, от диавола сие... Да ты не хмурься, Василий Борисыч,— дело говорю, по писанию сказываю.

— Ты послушай только его, Василий Борисыч,— молвила мать Аркадия.— Он ведь у нас блажной, не того еще наскажет тебе.

— А ты, Хамова внучка, молчи! Пока не спрашивают, рот разевать не моги,— кинул грозное слово ненавистной Аркадии старец Иосиф.— Не твоего ума дело.

— Лёгко ли что! — ответила Аркадия.— Сам-от хуже всякого Хама. Хоть бы камилавку-то получше на башку свою дурацкую вздел, а то, гляди-ка, какая. Поди, чать, мыши гнездо в ней завели... А еще дворянин, барин...

— Дам я тебе мыши!.. Велика̀ ты птица: мать знала, отца не видывала, вот какого ты роду... А еще уставщица!..— горячился Иосиф.

— Как я свистну тебя по дворянской-то башке, так забудешь у меня роды разбирать,— крикнула Аркадия, замахнувшись дорожным подожком.

— А я как велю рабу моему Егорке на поклоны тебя поставить... Он ведь духовный отец тебе,— проворчал Иосиф.

— Так он и послушал тебя! — вскрикнула Аркадия.— Еще смеешь ты своего игумна Егоркой да рабом своим обзывать!.. Барин!.. Барин!.. Какой барин!.. Из тех, что по два десятка на одной кобыленке ездят.

— А ты ври, да не завирайся. И в бедности должна уважать чин боярства,—с важностью молвил отец Иосиф.

— Давно, батюшка, знаю, что на тебе два чина: дурак да дурачина,— подхватила Аркадия.

Все засмеялись, улыбнулся даже Василий Борисыч.

И дошло бы у честнóго отца со смиренной инокиней до рукопашной, если б в разгаре брани не дошли они до праха сожженного Варлаама.

На небольшой полянке, середи частого елового леса, стоял высокий деревянный крест, с прибитым в середине медным распятием. Здесь, по преданью, стояла келья отца Варлаама, здесь он сожег себя со ученики своими. Придя на место и положив перед крестом обычный семипоклонный начáл, богомольцы стали по чину, и мать Аркадия, заметив, что отец Иосиф намеревается начать канон, поспешила «замолитвовать». Не хотела и тут ему уступить, хоть по скитским обычаям первенство следовало Иосифу, как старцу.

Запели канон за единоумершего. Отец Иосиф сначала молчал, потом пристал к поющим.

После канона прощались. Попрощалась и Аркадия с Иосифом. Брани как не бывало.

Возвращáлись другою дорогой. Шли темным дремучим лесом по узким тропинкам, по сгнившим наполовину кладкам. На могилах пустынника Илии и прозорливой матери Феклы пели каноны. Смирившаяся Аркадия не препятствовала Иосифу «править службу». Галицкий дворянин был очень этим доволен.

От гробницы матери Феклы рукой подать до Улангера. Торопились поспеть к трапезе и потому прибавили шагу. Василий Борисыч обратился к отцу Иосифу:

— Что ж не докончили вы про отца Варлаама?

— Про Варлаама? Что про него рассказывать тебе? Не в пользу ведь будет,— молвил брюзгливо Иосиф.

— Да нет, вы уж, пожалуйста, расскажите,— просил старца Василий Борисыч.

— Что ж рассказать-то? Старость, дряхлость пришла, стало не под силу в пустыне жить. К нам в обитель пришел, пятнадцать зим у нас пребывал. На летнее вре-

мя, с Пасхи до Покрова, иной год и до Казанской, в леса удалялся, а где там подвизался, никто не ведал. Безмолвие на себя возложил, в последние десять лет никто от него слова не слыхивал. И на правиле стоя в молчании, когда молился, губами даже не шевелил.

— В вашей обители старец Варлаам и жизнь свою скончал? — спросил Василий Борисыч у замолчавшего отца Иосифа.

— Взяли его. Без пачпорта проживал — взяли...— продолжал Иосиф.—Три года в темнице сидел. Злодейства не ведый, яко злодей, разбойничества ниже помысливый, яко разбойник томлен бысть во узилище. И ни единого слова мучителям не молвил. Все члены его сокрушили множеством лютых мучений. Но аще и раны нанесоша и томление темничное умножиша, не возмогоша крепкого столпа поколебати, ниже ослабити. Не возмогли и ласканиями к своей воле преклонити; ни единого слова на судилище не молвил. И по долзе времени отослали его в монастырь к Старому Макарью на безысходное житие за крепким караулом. Во узах тамо пребывал преподобный Варлаам два лета. И по сем великое чудо над доблим рабом своим господь показал. Яко Петр из вериг, невидимо изыде из заточения и ангелом божиим проведен бысть в обитель невидимых святых на озере Нестиаре. Тамо и ныне со оными блаженными пребывает и пребудет тамо до скончания века. Аминь...

Когда богомольцы, выйдя из леса, взглянули на небо, оно было как пеплом покрыто. Солнце едва было видимо. Запах гарью стоял.

— Рымские горят,— сказал конюх Дементий, встретив своих матерей.— Завтра того и гляди в Поло́му огонь проберется [1].

— Как же на Китеж-от нам ехать, Дементьюшка, коли в Полому огонь проберется? — спросила Арка-

---

[1] *Рымские леса,* отрасль Унженских и Ветлужских, тянутся вдоль реки Черного Луха, впадающего в Унжу, Они в Макарьевском уезде Костромской губернии. Называются так по деревням Большие и Малые Рымы. Писатели о расколе в конце XVII и в начале XVIII столетия, говоря об этих лесах, наполненных тогда беглыми раскольниками, исказили их название и называли Брынскими. Позднейшие писатели искали эти леса около Брянска... Этим много внесено путаницы в историю раскола. *Поло́ма,* или *Поло́мский лес* — на юг от Рымских, отделяется от них верховьями Керженца, который тут течет еще в виде небольшого лесного ручья.

дия.— Сгорим, пожалуй. Не лучше ль домой воротиться?

— Коли седни после тра̀пезы то́тчас поедем, успеем безо всякой опаски проехать; а если до завтра здесь прогостите, будет верней домой поспешать.

За трапе́зой Аркадия настаивала, чтоб ехать домой, но Фленушка, опираясь на слова Дементья, непременно хотела сейчас же ехать, чтоб миновать Поломский лес, пока до него огонь не дошел. К ней пристали другие, Василий Борисыч тоже. Аркадия уступила. Тотчас после трапезы комаровские богомольцы распростились с гостеприимной Юдифой.

Только что стало опускаться с полдён едва видное сквозь дымную мглу солнце, комаровские богомольцы, оставив Улангер, направили поезд сквозь Поломские леса к невидимому граду Китежу. Больше двадцати верст надо было проехать сплошным дремучим лесом до берегов Керженца. Дальше начинались жилые места, окруженные обширными пашнями и чащобами; там бы уже совершенно было безопасно от лесного пожара. А покаместь дорога шла узкая, извилистая, чуть не на каждом шагу пересекалась она корневищами. С обеих сторон сумрачными великанами высились громадные ели и лиственницы, меж них во все стороны разросся густой, непроходимый чапыжник [1]. Узкая полоса дневного света тянулась над вершинами непроглядной лесной чащи, и хоть далеко еще было до вечера, а в лесу было уж темно, как в осенние сумерки.

Конюх Дементий с Аркадией и Васильем Борисычем ехал впереди поезда, он не жалел лошадей. То и дело стегал их по непривычным к сильным ударам бедрам. Другие возчики от Дементья не отставали. Жирные, выхоленные келейные кони, сроду не знавшие скорой езды, мчались во весь опор. Проскакали по́лдороги. Верст одиннадцать либо двенадцать оставалось до реки Керженца. Вдруг влево от дороги послышался в отдаленьи необычный, несмолкаемый треск... С каждой минутой он возрастал, обдавая странников ужасом... Свист и визг разносились по́ лесу. Зашумело в вершинах елей и лиственниц: то стада белок, спасаясь от огня, перелетали с дерева на дерево. Почуяв недоброе, лошади закусили удила и помчались сломя голову; запрыгали повозки по

[1] Частый кустарник.

толстым корневищам: того и гляди, либо ось пополам, либо все на боку.

— Огонь идет! — вскрикнул Дементий. И отчаянный крик его едва слышен был за страшным шумом огненного урагана.

Все крестились, творили молитвы. Матери, белицы плакали навзрыд. Бледный, как полотно, Василий Борисыч всем телом дрожал.

Вдруг смолистым дымом пахнуло, и по узкой световой полосе, что высилась над дорогой, как громадные огненные птицы, ста̀ями понеслись горящие лапы [1], осыпая дождем искр поезд келейниц. Вой урагана превратился в один оглушающий, нескончаемый раскат грома. Ему вторили, как бы пушечные выстрелы, стоны падавших деревьев, вой спасавшихся от гибели волков, отчаянный рев медведей. Вот перерезало дорогу быстро промчавшееся по чапыжнику стадо запыхавшихся лосей... Вот над деревьями, тяжело размахивая утомленными крыльями, быстрей вихря пронеслись лесные питцы... Багрово-синими, как бы кровавыми волнами заклубился на́д лесом дым... Палящий, огнедышащий ветер понесся низом меж деревьями, расстилая над землей удушающий смрад... Вдруг между вершинами деревьев блеснула огненная змейка, за ней другая, третья, и мигом все верхи елей и лиственниц подернулись пламенным покровом... Брызнула из деревьев смола, и со всех сторон полились из них огненные струйки.

Вдруг передняя пара лошадей круто поворотила направо и во весь опор помчалась по прогалинке, извивавшейся середь чапыжника. За передней парой кинулись остальные.

— Куда ты, куда ты, Дементьюшка? — схватясь за плеча̀ конюха и привстав в повозке, благим матом закричала Аркадия.

— Кони лучше нашего знают куда,— молвил Дементий, опуская вожжи.

И, сняв шапку, стал креститься.

— Слава те, господи! Слава тебе, царю небесному!..— говорил он.

Не прошло трех минут, как лошади из пылающего леса вынесли погибавших в обширное моховое болото.

---

[1] Горящие ветки хвойных деревьев.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вот сказанье наших праотцев о том, как бог Ярило возлюбил Мать Сыру Землю и как она породила всех земнородных.

Лежала Мать Сыра Земля во мраке и стуже. Мертва была — ни света, ни тепла, ни звуков, никакого движенья.

И сказал вечно юный, вечно радостный светлый Яр: «Взглянем сквозь тьму кромешную на Мать Сыру Землю, хороша ль, пригожá ль она, придется ли по мысли нам?»

И пламень взора светлого Яра в одно мановенье пронизал неизмеримые слои мрака, что лежали над спавшей Землею. И где Ярилин взор прорезал тьму, тамо воссияло солнце красное.

И полились через солнце жаркие волны лучезарного Ярилина света. Мать Сыра Земля ото сна пробуждалася и в юной красе, как невеста на брачном ложе, раскинулась... Жадно пила она золотые лучи живоносного света, и от того света палящая жизнь и томящая нега разлились по недрам ее.

Несутся в солнечных лучах сладкие речи бога любви, вечно юного бога Ярилы: «Ох ты гой еси, Мать Сыра Земля! полюби меня, бога светлого, за любовь за твою я украшу тебя синими морями, желтыми песками, зеленой муравой, цветами алыми, лазоревыми; народишь от меня милых детушек число несметное...»

Любы Земле Ярилины речи, возлюбила она бога светлого и от жарких его поцелуев разукрасилась злаками, цветами, темными лесами, синими морями, голубыми реками, серебристыми озерáми. Пила она жаркие

поцелуи Ярилины, и из недр ее вылетали поднебесные птицы, из вертепов выбегали лесные и полевые звери, в реках и морях заплавали рыбы, в воздухе затолклись мелкие мушки да мошки... И все жило, все любило, и все пело хвалебные песни: отцу — Яриле, матери — Сырой Земле.

И вновь из красного солнца любовные речи Ярилы несутся: «Ох ты гой еси, Мать Сыра Земля! разукрасил я тебя красотою, народила ты милых детушек число несметное, полюби меня пуще прежнего, породишь от меня детище любимое».

Лю́бы были те речи Матери Сырой Земле, жадно пила она живоносные лучи и породила человека... И когда вышел он из недр земных, ударил его Ярило по голове золотой вожжой — ярой молнией. И от той молоньи ум в человеке зародился. Здравствовал Ярило любимого земнородного сына небесными грома́ми, потоками молний. И от тех громов, от той молнии вся живая тварь в ужасе встрепенулась: разлетались поднебесные птицы, попрятались в пещеры дубравные звери, один человек поднял к небу разумную голову и на речь отца громовую отвечал вещим словом, речью крылатою... И, услыша то слово и узрев царя своего и владыку, все древа, все цветы и злаки перед ним преклонились, звери, птицы и всяка живая тварь ему подчинилась.

Ликовала Мать Сыра Земля в счастье, в радости, чаяла, что Ярилиной любви ни конца, ни края нет... Но по малом времени красно солнышко стало низиться, светлые дни укоро́тились, дунули ветры холодные, замолкли птицы певчие, завыли звери дубравные, и вздрогнул от стужи царь и владыка всей твари дышащей и не дышащей...

Затуманилась Мать Сыра Земля и с горя-печали оросила поблекшее лицо свое слезами горькими — дождями дробными.

Плачется Мать Сыра Земля: «О ветре ветрило!.. Зачем дышишь на меня постылою стужей?.. Око Ярилино — красное солнышко!.. Зачем греешь и светишь ты не по-прежнему?.. Разлюбил меня Ярило-бог — лишиться мне красоты своей, погибать моим детушкам, и опять мне во мраке и стуже лежать!.. И зачем узнавала я свет, зачем узнавала жизнь и любовь?.. Зачем спознавалась с лучами ясными, с поцелуями бога Ярилы горячими?..»

Безмолвен Ярило.

«Не себя мне жаль,— плачется Мать Сыра Земля, сжимаясь от холода,— скорбит сердце матери по милым по детушкам».

Говорит Ярило: «Ты не плачь, не тоскуй, Мать Сыра Земля, покидаю тебя ненáдолго. Не покинуть тебя нà-время — сгореть тебе дотла под моими поцелуями. Храня тебя и детей наших, убавлю я нá-время тепла и света, опадут на деревьях листья, завянут трáвы и злаки, оденешься ты снеговым покровом, будешь спать-почивать до моего приходу... Придет время, пошлю к тебе вестницу — Весну Краснý, следом за Весною я сам приду».

Плачется Мать Сыра Земля: «Не жалеешь ты, Ярило, меня, бедную, не жалеешь, светлый боже, детей своих!.. Пожалей хоть любимое детище, что на речи твои громовые отвечал тебе вещим словом, речью крылатою... И наг он и слаб — сгинуть ему прежде всех, когда лишишь нас тепла и света...»

Брызнул Ярило на камни молоньей, облил палючим взором деревья дубравные. И сказал Матери Сырой Земле: «Вот я разлил огонь по камням и деревьям. Я сам в том огне. Своим умом-разумом человек дойдет, как из дерева и камня свет и тепло брать. Тот огонь — дар мой любимому сыну. Всей живой твари будет на страх и ужас, ему одному на службу».

И отошел от земли бог Ярило... Понеслися ветры буйные, застилали темными тучами око Ярилино — красное солнышко, нанесли снега белые, ровно в саван окутали в них Мать Сыру Землю. Все застыло, все заснуло, не спал, не дремал один человек — у него был великий дар отца Ярилы, а с ним и свет и тепло.

Так мыслили старорусские люди о смене лета зимою и о начале огня.

Оттого наши праотцы и сожигали умерших: заснувшего смертным сном Ярилина сына отдавали живущему в огне отцу. А после стали отдавать мертвецов их матери — опуская в лоно ее.

Оттого наши предки и чествовали великими праздниками дарование Ярилой огня человеку. Праздники те совершались в долгие летние дни, когда солнце, укорачивая ход, начинает расставаться с землею. В память дара, что даровал бог света, жгут купальские огни. Что Купало, что Ярило, все едино, одного бога звания.

И доныне в Иванову ночь пылают на Руси купальские огни, и доныне по полям и перелескам слышатся веселые песни:

Купала на Ивана!
Где Купала ночевала?
Купала на Ивана!
Купала на Ивана!
Ночевала у Ивана!

* * *

Накануне Аграфены Купальницы, за день до Ивана Купалы [1], с солнечным всходом по домам суета поднимается. Запасливые домовитые хозяйки, старые и молодые, советуются, в каком месте какие целебные травы в купальские ночи брать; где череду от золотухи, где шалфей от горловой скорби, где мать-мачеху, где зверобой, ромашку и девясил... А ведуны да знахарки об иных тра̀вах мыслят: им бы сыскать радужный, златоогненный цвет перелет-травы, что светлым мотыльком порхает по лесу в Иванову ночь; им бы выкопать корень ревеньки, что стонет и ревет на купальской заре, им бы через серебряную гривну сорвать чудный цвет архилина да набрать тирлич-травы, той самой, что ведьмы рвут в Иванову ночь на Лысой горе; им бы добыть спрыг-травы да огненного цвета папоротника [2].

Добро тому, кто добудет чудные зелья: с перелетом всю жизнь будет сча̀стлив, с зашитым в ладанку корешком ревеньки не утонет, с архилином не бойся ни злого человека, ни злого духа, сок тирлича̀ отвратит гнев сильных людей и возведет обладателя своего на верх богатства, почестей и славы; перед спрыг-травой замки́ и запоры падают, а чудный цвет папоротника при-

---

[1] 23 и 24 июня.

[2] *Череда* — Bidena tripartita. *Шалфей* — Salvio officinalis. *Мать-и-мачеха* — Tussilago farfara. *Ромашка* — Chamomilla vulgaris. *Зверобой* — Hypericum perforatum. *Девясил* — Inula helenium. *Перелет-трава* — сказочное растение, как и цвет папоротника; его радужный, огненный цвет мотыльком перепархивает по воздуху в Иванову ночь. Есть и настоящие тра́вы, называемые перелетом: одна — Oenothera. Другая — Lotus corniculatus. *Ревенька* — ревень, Rheum rhaponticum. *Архилин* — сказочное растение. *Тирлич* — Gentiana amarella. *Спрыг-трава*, она же *разрыв-трава* — сказочное растение, с помощью которого даются клады, а замки и запоры сами спадают.

несет счастье, довольство и здоровье, сокрытые клады откроет, власть над духами даст.

Молодежь об иных тра́вах, об иных цветах той порой думает. Собираются деви́цы во един круг и с песнями идут вереницей из деревни собирать иван-да-марью, любовную траву и любисток [1]. Теми цветами накануне Аграфены Купальницы в бане им париться, «чтобы тело молодилось, добрым молодцам любилось». А пол, лавки, полки в бане на то время густым-густехонько надо устлать травою купальницей [2]. После бани сходятся девицы к одной из подруг. С пахучими венками из любистка на головах, с веселыми песнями, с криками, со смехом толкут они где-нибудь на огороде ячмень на обетную кашу, а набравшиеся туда парни заигрывают каждый со своей зазнобой... На другой день варят обетную кашу и едят ее у речки аль у озера, бережно блюдя, чтобы каши не осталось ни маковой росинки. Съедят кашу, за другие исстари уставленные обряды принимаются: парни возят девок на передних тележных колесах, громко распевая купальскую песнь:

Иван да Марья
В реке купались:
Где Иван купался,
Берег колыхался,
Где Марья купалась,
Трава расстилалась.
Купала на Ивана!
Купался Иван
Да в воду упал.
Купала на Ивана.

По̀д вечер купанье: в одном яру плавают девушки с венками из любистка на головах, в другом — молодые парни... Но иной молодец, что посмелее, как почнет отмахивать руками по сажени, глядь и попал в девичий яр, за ним другой, третий... Что смеху, что крику!.. Таково обрядное купанье на день Аграфены Купальницы.

Надвинулись сумерки, наступает Иванова ночь... Рыбаки сказывают, что в ту ночь вода подергивается се-

---

[1] *Иван-да-Марья* — Viola tricolor. *Любисток, или заря* — Ligusticum levisticum. *Любовная трава, или любжа* — Orchis incarnata.

[2] *Купальница* — Trollius loropocus.

ребристым блеском, а бывалые люди говорят, что в лесах тогда деревья с места на место переходят и шумом ветвей меж собою беседы ведут... Сорви в ту ночь огненный цвет папоротника, поймешь язык всякого дерева и всякой травы, понятны станут тебе разговоры зверей и речи домашних животных... Тот «цвет-огонь» — дар Ярилы... То — «царь-огонь»!..

Немного часов остается до пòлночи, когда на одно мановенье тот чудный цветок распускается. Только что наступит полнòчь, из середины широколистного папоротника поднимается цветочная почка, шевéлится она, двигается, ровно живая, и вдруг с страшным треском разрывается, и тут является огненный цвет... Незримая рука тòтчас срывает его... То «цвет-огонь», дарованный богом Ярилой первому человеку... То — «царь-огонь»...

Страшно подходить к чудесному цвету, редко кто решится идти за ним в Иванову ночь. Такой смельчак разве в несколько десятков лет выищется, да и тот не добром кончает... Духи мрака, духи хлада, духи смерти, искони враждебные Солнцу-Яриле, жадно стерегут от людей его дар. Они срывают цвет-огонь, они напускают ужасы, страсти и напасти на смельчака, что пойдет за ним в заветную Иванову ночь... Они увлекают его за собой в страну мрака и смерти, где уж не властен отец Ярило... Страшно поклоняться Яриле в лесу перед таинственным цветом-огнем, зато весело и радостно чествовать светлого Яра купальскими огнями.

Наперед набрав шиповнику, крапивы и других колючих и жгучих растений, кроют ими давно заготовленные кучи хвороста и сухих сучьев. И лишь только за небесным закроем спрячется солнышко, лишь только зачнет гаснуть заря вечерняя, начинают во славу Яра живой огонь «взгнетать»... Для того в сухой березовой плахе прорезывают круглое отверстие и плотно пригоняют к нему сухое же березовое, очищенное от коры, круглое полено... Его трением в отверстии плахи вытирают огонь... И то дело одних стариков... И когда старики взгнетают живой огонь, другие люди безмолвно и недвижно стоят вкруг священнодействия, ожидая в благоговейном страхе чудного явленья «божьего посла» — царя-огня...

Пóтом обливаются старики, «творя божие дело»... Впившись глазами в отверстие плахи, стоит возле них по-праздничному разодетая, венком из цветов увенчан-

ная, перворожденная своей матерью, девочка-подросток с сухой лучиной в высо́ко поднятой руке [1]. Разгорелось детское личико, смотрит она, не смигнет, сама дыханья не переводит, но не дрожит поднята́я к небесам ручонка... Безмолвно, набожно глядит толпа на работу старцев... В вечерней тиши только и слышны шурк сухого дерева, молитвенные вздохи старушек да шептанье христианских молитв... Но вот задымилось в отверстии плахи, вот вспыхнул огонек, и просиявшая восторгом девочка в строгом молчанье бережно подносит к нему лучину... Снисшел божий посол!.. Явился «царь-огонь»! Загорелся в кострах великий дар живоносного бога!.. Радостным крикам, веселому гомону, громким песням ни конца, ни края.

В густой влажной траве светятся Ивановы червяки [2], ровно зеленым полымем они переливаются; в заливной, сочной по́жне сверкает мышиный огонь [3], тускнет заря нȁ небе, ярко разгораются купальские костры, обливая красноватым светом темные перелески и отражаясь в сонных водах алыми столбами... Вся молодежь перед кострами — девушки в венках из любистка и красного мака, иные с травяными поясами; у всех мȍлодцев цветы на шляпах... Крепко схватившись зȁ руки, прыгают они через огонь попарно: не разойдутся руки во время прыжка, быть паре, быть мужем-женой, разойдутся — свадьбы не жди... До утрȁ кипит веселье молодежи вокруг купальских костров, а на заре, когда в лесу от нечистых духов больше не страшно, расходятся, кто по перелескам, кто по овражкам.

И тихо осеняет их радостный Ярило спелыми колосьями и алыми цветами. В свежем утреннем воздухе, там, высо́ко, в голубом небе, середь легких перистых облаков, тихо веет над Матерью Сырой Землей белоснежная, серебристая объярь Ярилиной ризы, и с недоступной высоты обильно льются светлые потоки любви и жизни.

---

[1] Непременное условие при добыванье «живого огня», чтоб его приняла перворожденная, непорочная девица. Перворожденную отыскать не трудно, но чтоб не ошибиться в другом — дают лучину восьми-девятилетней девочке.

[2] Иначе светляк, появляющийся обыкновенно около 24 июня.

[3] Растение Byssus phosphorea. Его цветки иногда светятся ночью. *Мышиным огнем* называется также древесная гнилушка, издающая по ночам фосфорический свет.

* * *

Теперь в лесах за Волгой купальских костров не жгут. Не празднуют светлому богу Яриле. Вконец истребился старорусский обряд.

На скитских праздниках, на келейных сборищах за тра̀пезами, куда сходится народ во множестве, боголюбивые старцы и пречестны́е матери истово и учительно читают из святочтимого Стоглава об Ивановом дне: «Сходятся мужи и жены и девицы на нощное плещевание и бесстудный говор, на бесовские песни и плясания и на богомерзкие дела... и те еллинские прелести отречены и про́кляты...»

И от грозного слова «про̀кляты» содрогаются ядущие и пиющие.

«Такова святых отец заповедь, таково благочестивого царя Иоанна Васильевича повеление!..» — возглашают народу келейные учители... И возглашают они такие словеса не год и не два, а с тех пор, как зачинались в лесах за Волгой скиты Керженские, Чернораменские! И вот теперь, через двести лет после их основания, в тех лесах про Ярилу помину нет, хоть повсюду кругом и хранится память о нем и чествуется она огнями купальскими[1].

А поблизости Кѐрженца, недалёко от Ветлуги-реки, есть такое место, где во времена стародавние бывали великие народные сходбища... сходился туда народ справлять великие празднества Светлому Яру... На обширной, плоской, безлесной равнине возвышается раздвоенный холм, поросший столетними дубами... Двумя мысами вдается он в обширное глубокое озеро. Воды озера никогда не мутятся; что ни бросишь в них—не принимают, на другой же день брошенное волной на берег выкинет. И то озеро по имени старорусского бога Светлым Яром зовется[2].

---

[1] В Нижнем-Новгороде до сего времени сохранилось старинное народное гулянье на «Ярилином поле» 24 июня. В Муроме и Костроме в тот же день хоронят чучелу Ярилы из травы или соломы; в Кинешме и Галиче на игрищах Ярилу представляет старик — «дедушка, золотая головушка, серебряна бородушка»; по рекам Вятке и Ветлуге сохранились местами остатки Ярилиных купальских празднеств.

[2] Нижегородской губернии (на самой границе с Костромской), Макарьевского уезда, близ села Люнды (Владимирское то ж). Дно этого глубокого озера со всех сторон покато и песчано.

Когда на той равнине и по ближним от нее местам зачиналось людское населенье, не знает никто. Но там зачастую находят каменные молоты, каменные топоры и кремневые наконечники стрел,— стало быть, живали тут люди еще тогда, когда не знали ни меди, ни железа[1]. Сказывают, что на холмах у Светлого Яра город стоял, Китежем прозывался. Город ли то Кидиш, что во дни стародавние от «поганой рати» спасен был Ильей Муромцем, славный ли город По́кидыш, куда ездил богатырь Су́ровец Суздалец гостить-пировать у ласкового князя Михайлы Ефимонтьевича, не отсюда ль ветлужский князь Никита Байборода чинил набеги на земли московские, пробираясь лесами до Соли Галицкой,— молчат преданья[2]. Одно только помнит народ, что в старину на холмах у Светлого Яра на день Аграфены Купальницы языческие требища справлялись и что на тех холмах стоял когда-то град Китеж... И поныне, сказывают, стоит тот град, но видим бывает только очам праведников.

Не стало языческих требищ, град Китеж сокрылся, а на холмах Светлого Яра по-прежнему великие сходбища народа бывали... Собирались сюда русские люди старые свои праздники праздновать, чествовать светлого бога Яри́лу. В «Навий день», на радуницу, справляли здесь «окличкн» покойников; здесь водили ночные хороводы Красной Горки; здесь величали Микулу Селяниновича, а на другой день его праздника справляли именины Сырой Земли и водили хороводы Зилотовы; здесь в светлых струях Светлого Яра крестили кукушек, кумились, завивали семицкие венки; здесь справлялись Зеленые Святки и с торжеством зажигались купальские костры в честь отходящего от земли бога жизни и света, великого Яра...

Поревновали скитские старцы и келейные матери... «К чему,— заговорили они,— сии нощные плещевания, чего ради крещеный народ бесится, в бубны и сопели тешит диавола, сквернит господни праздники струнным гудением, бесовскими песнями, долоней плесканием, Иродиадиным плясанием?.. Зачем на те сатанинские сход-

[1] Г. Поливанов лет в пять собрал здесь значительное число орудий каменного периода.

[2] Былины об Илье Муромце и про Суровца Суздальца. *Князь Никита Байборода* — лицо историческое (1350—1372 годов).

бища жены и девы приходят?.. Зачем в их бесстудных плясках главами кивание, хребтами вихляние, ногами скакание и топтание, устами неприязнен клич и скверные песни?.. На тех бесовских сходбищах мужѐм и отроко́м шатание, женам и девам падение!.. Не подобает тако творити!.. Богу противно, святыми отцами про́клято!..»

И огласили Светлый Яр и холмы над ним «святыми местами»... Тут, сказали они, стоит невидимый град божиих святых, град Великий Китеж... Но не можем мы, грешные, зреть красоты его, понеже сквернится место делами бесовскими...

И стали боголюбивые старцы и пречестные матери во дни, старым празднества̀м уреченные, являться на Светлый Яр с книгами, с крестами, с иконами... Стали на берегах озера читать псалтырь и петь каноны, составили Китежский «Летописец» и стали читать его народу, приходившему справлять Ярилины праздники. И на тех келейных сходбищах иные огни затеплились — в ночь на день Аграфены Купальницы стали подвешивать к дубам лампады, лепить восковые свечи, по сучьям иконы развешивать...

Поклонники бога Ярилы с поборниками келейных отцов, матерей, иногда вступали в рукопашную, и тогда у озера бывали бои́ смертные, кровопролитье великое... Но старцы и старицы не унывали, с каждым годом их поборников становилось больше, Ярилиных меньше... И по времени шумные празднества веселого Яра уступили место молчаливым сходбищам на поклонение невидимому граду.

Двести лет прошло от начала скитов; спросить про Ярилу у окольных людей, спросить про царь-огонь, спросить про купальские костры — никто и не слыхивал.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Почти совсем уж стемнело, когда комаровские поклонницы подъезжали к Светлому Яру. Холмы невидимого града видны издалёка. Лишь завидела их мать Аркадия, то̀тчас велела Дементию стать. Вышли из повозок, сотворили уставно́й семипоклонный нача̀л невидимому граду и до земли поклонились чудному озеру, отражавшему розовые переливы догоравшей вечерней зари...

— Пешком надо — место бо свято есть,— сказала уставщица Василью Борисычу.

Пошли в строгом, глубоком молчании... В воздухе тишь невозмутимая. Гуще и гуще надвигается черный покров ночи на небо, ярче и ярче сверкают на холмах зажженные свечи, тусклей отражает в себе недвижное, будто из стекла вылитое, озеро, темно-синий небосклон, розовые полосы зари и поникшие ветвями в воду береговые вербы... Все дышит таинственностью, все кажется ровно очарованным... Крестясь и творя молитву, взошли комаровские путницы на холм... Народу видимо-невидимо. Сошлись поклониться граду Китежу и ближние и дальние, старые и молодые, мужчины и женщины. Женщин гораздо больше мужчин. Келейные матери и белицы были почти изо всех обителей, иноков мало, и то все такие, что зовутся «перехожими» [1]. Людей много, но громких речей не слыхать... И каноны поют, и книги читают, и меж собой говорят все потихоньку, чуть не шепотом... По роще будто пчелиный рой жужжит...

Изобрали комаровские богомолицы местечко у раскидистого дуба, мрачно черневшего в высоте густолиственной вершиной. Вынула Аркадия из дорожного пе́щера икону Владимирской богородицы в густо позлащенной ризе с самоцветными каменьями, повесила ее на сучке, прилепила к дубу несколько восковых свечек и с молитвой затеплила их. И она и мать Никанора, обе в полном иночестве, в длинных соборных мантиях с креповыми наметками на камилавках, стали перед иконой и, положив нача̀л, вполголоса стали петь утреню.

— Комаровские приехали!.. От Манефиных!..— зашептали в многочисленных кучках, рассыпанных по обоим холмам. Пяти минут не прошло, как Манефины окружены были густой толпой богомольцев.

Отойдя в сторону, пошел Василий Борисыч по роще бродить. Любопытно было ему посмотреть, что на Китеже делается, любопытно послушать, какое писание читают грамотеи жадно слушавшему их люду...

Видит: ста два богомольцев кучками рассыпались по роще и по берегу озера. Наполовину деревьев увешано иконами, облеплено горящими свечами... Здесь псал-

---

[1] *Перехожими* старцами зовут старообрядских монахов, живущих не в монастырях, а по домам в селениях. Между ними немало и произвольно надевших на себя иноческое одеяние.

тырь читают, там канон богородице поют [1], подальше утреню справляют... И везде вполго́лоса.

Видит Василий Борисыч, у подошвы холма на самом берегу озера стоит человек с двадцать народу: мужчины и женщины. Мужчины без шапок. Середь кружка высокий худощавый старик с длинной, белой как лунь бородой и совсем голым черепом. Держа тетрадку, унылым, гнусливым голосом читает он нараспев. Двое молодых стоят по сторонам и светят ему зажженными восковыми свечами... Подошел поближе Василий Борисыч, слышит, читает он о благоверном князе Георгии, положившем живот за Христову веру и за Русскую землю в битве с Батыем при Сити-реке. Называет старик благоверного князя Георгия внуком равноапостольного Владимира, читает, как ездил он по Русской земле и по всем городам, ставил соборы Успенские: в Новгороде, в Москве, в Ростове и Муроме.

— Ох, искушение!.. Вот чепухи-то нагородили!..— едва слышным голосом промолвил Василий Борисыч и то́тчас заметил, что слушатели стали кидать на него недобрые взгляды.

— «И бысть попущением божиим, грех ради наших,— протяжно читает старик,— прииде нечестивый и безбожный царь Батый на Русь воева̀ть; грады и веси разоряше, огнем их пожигаше, людие мечу предаваше, младенцев ножом закалаше, и бысть плач великий!..»

Две старушки всплакнули, две другие навзрыд зарыдали.

— «Благоверный же князь Георгий, слышав сия, плакаше горьким плачем и, помоляся господу и пречистой богородице, собра вои своя, поиде противу нечестивого царя Батыя... И бысть сеча велия и кровопролитие многое. Тогда у благоверного князя Георгия бысть воев мало и побеже от нечестивого царя вниз по Волге в Малый Китеж...»

Охают и стонут старушки, слезы так и текут по морщинистым ланитам их. Уныло поникнув головами, молчат мужчины. Старик примолвил:

— Малый Китеж теперь Городцом именуется, вот что на Волге, повыше Балахны, пониже Катунок стоит...

---

[1] Июня 23-го, на день Аграфены Купальницы, празднуют иконе Владимирской богородицы.

А здесь на озере Светлом Яре Большой Китеж — оба строенья благоверного князя Георгия.

Не стерпелось Василью Борисычу. Досадно стало великому начетчику слушать басни, что незнаемые писатели наплели в Китежском «Летописце»... Обратился к стоявшему рядом старику почтенной наружности, судя по одежде, заезжему купцу.

— В старых книгах не то говорится,— довольно громко промолвил он.— Князя Георгия в том бою на реке Сити убили... Как же ему, мертвому, было вниз по Волге бежать?

Сурово вскинул глазами купец на Василья Борисыча... Не сказав ни полслова, молча отвернулся он... Старушки заахали, а один красивый, такой видный из себя парень в красной рубахе и синей суконной чуйке, крепко стиснув плечо Василья Борисыча, вскрикнул:

— Да ты кто таков будешь?.. Откудова?.. Как смеешь смущать божественное чтение?

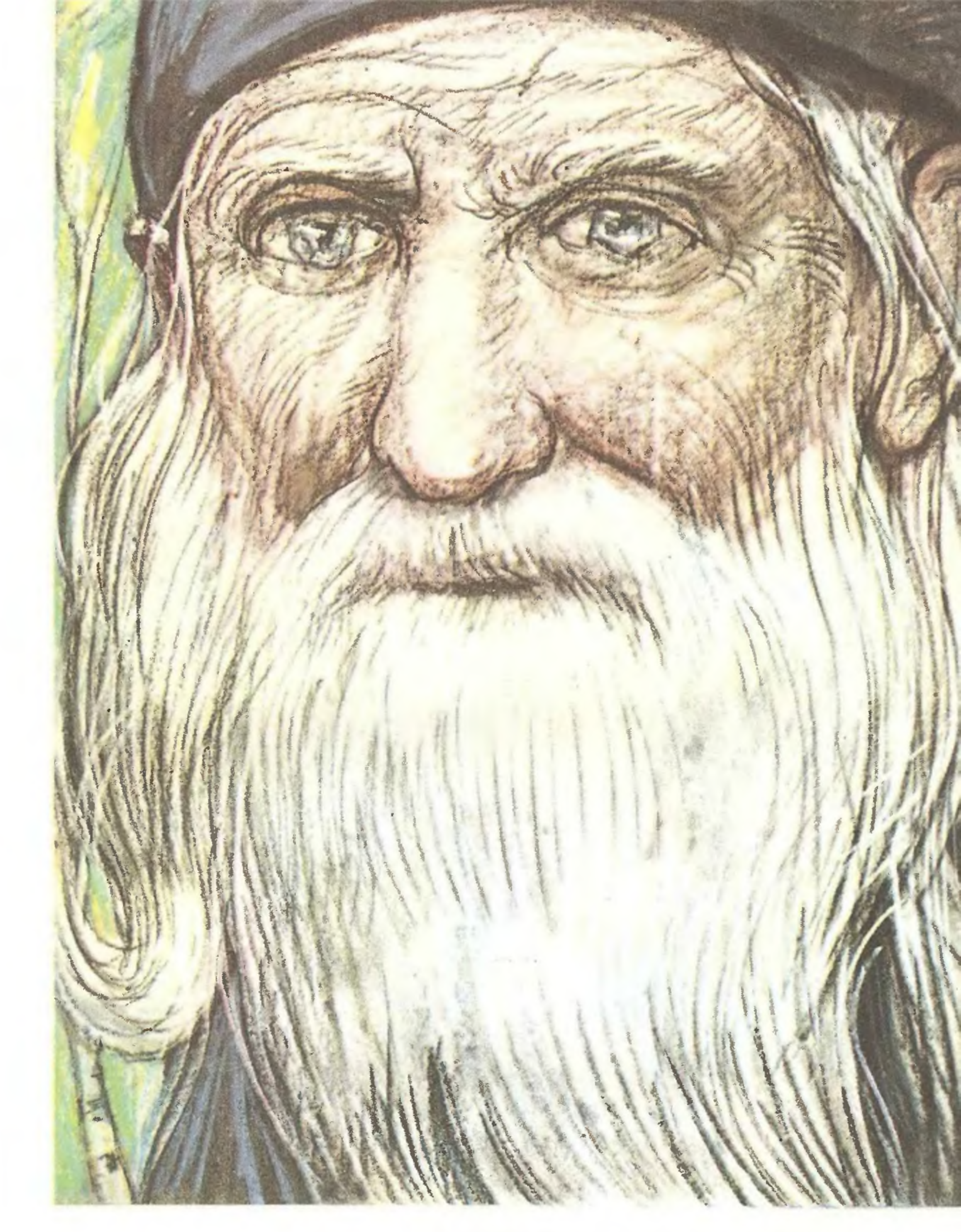
Глянул Василий Борисыч — у парня лицо скривилось, побагровело, глаза огнем пышут. кулак пудовòй.

— Ох, искушение!..— пискнул Василий Борисыч, дрожа со страху и бледнея.

— Прекрати,— повелительно молвил читавший старик, и парень, пустив Василья Борисыча, смиренно склонил голову.

— А тебе бы, господин честнòй, слушать святое писание в молчании и страхе божием.. Святые отцы лучше тебя знали, что писали,— учительно проговорил старик оторопелому Василью Борисычу и продолжал чтение: — «И много брася, благоверный князь Георгий с нечестивым царем Батыем, не пущая его во град... Егда же бысть нощь, изыде тайно из Малого Китежа на озеро Светлый Яр в Большой Китеж. На утрие же восста нечестивый царь и взя Малый Китеж и всех во граде том поруби и нача мучити некоего человека града того Гришку Кутерьму, и той, не могий мук терпети, поведа ему путь ко озеру Светлому Яру, иде же благоверный князь Георгий скрыся. И прииде нечестивый царь Батый ко озеру и взя град Большой Китеж и уби благоверного князя Георгия...»

Пуще прежнего заплакали старухи, закрыла платком лицо и вся трепетно задрожала от сдерживаемых рыданий нарядно одетая молодая красивая женщина,



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Глава XVII



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Глава XIV

стоявшая почти возле Василия Борисыча. Вздыхали и творили молитвы мужчины.

Возвысив голос, громко и протяжней прежнего стал читать старик:

— «И после того разорения запустеша грады те и лесом порасте вся земля Заузольская, и с того времени невидим бысть град Большой Китеж, и пребудет он невидим до последних времен. Сию убо книгу «Летописец» написали мы по сте летех после нечестивого и безбожного царя Батыя, уложили собором и предали святей божией церкви на уверение всем православным христианам, хотящим прочитати или послушати, а не поругатися сему божественному писанию. Аще ли же который человек поругается, или посмеется сему писанию, да весть таковый, что не нам поругается, но богу самому и пресвятей богородице. Слава иже в троице славимому богу, соблюдающему и хранящему место сие ради блаженного пребывания невидимым святым своим вò веки веков. Аминь».

Все стали креститься и потом, благодаря за чтение, низко-пренизко поклонились старику.

Усильно сдерживавшая во время чтения рыданья свои, молодая женщина подошла к стоявшему рядом с Васильем Борисычем купцу и, отирая наплаканные глаза, тихим и нежным голосом молвила:

— Пойдем, тятенька, в иное место. Еще чего-нибудь послушаем.

Взглянул Василий Борисыч и загляделся... Такой красавицы сроду не видывал... Что Устинья, что Прасковья Патаповна!..

Следом за ними пошел. Чтоб завести знакомство с купцом, говорит ему:

— А куда как много тут несправедливого и со старыми книгами несогласного.

— Тебе бы, господин честнòй, лучше уйти, не то — в самом деле — боками поплатишься... Здесь это бывает,— сурово ответил купец.

— Однако ж,— зачал было Василий Борисыч, украдкой взглядывая на красавицу.

— Тебе, господин честнóй, своя дорога, а нам своя,— сухо промолвил купец, и повернул с дочерью в сторону.

Почесал в затылке Василий Борисыч, постоял маленько на месте и пошел вдоль по берегу.

Видит, в углубленье меж холмов, под ветвистым дубом, сидит человек с десяток мужчин и женщин: не поют, не читают, а о чем-то тихонько беседу ведут. Возле них небольшой костер сушника̀ горит. Тускло горит он, курится-дымится, и нет веселья вокруг... то не купальский костер.

Подошел Василий Борисыч, снял шапку, низенько поклонился и молвил:

— Мир честно́й беседе.

— Просим милости на беседу,— приветно ответили ему и раздвинулись, давая место пришедшему собеседнику.

Сел Василий Борисыч.

— Так видишь ли,— продолжал свою речь седенький, маленький, добродушный с виду старичок в изношенном, заплатанном кафтанишке из понитку, облокотясь на лежавшую возле него дорожную котомку,— видишь ли: на этом на самом месте́, где сидим,— городские ворота... Отселева направо вдоль озера сто сажен городу и налево сто сажен городу, а в ширину мера городу полтораста сажен. А кругом всего города рвы копаны и валы насыпаны, а на валах дубовые стены с башнями... Вот мы, грешные, слепыми-то очами ровнехонько ничего не видим, а они тут, все тут, здесь, вот на этом на самом месте... На правом холму собор Воздвиженья честного креста, а рядом Благовещенский, а на левом холму Успенский собор, а меж соборов все дома — у бояр каменны палаты, иных чинов у людей деревянны хоромы из кондового негниющего леса... Вот мы, грехами ослепленные, деревья только видим, а праведный, о́чи имея отверсты, все видит: и град, и церкви, и монастыри, и боярские каменны палаты.

— Премудрости господни! — глубоко вздохнула старушка в темно-синем сарафане с набойчатыми рукавами, покрытая черным платком вроспуск.— А ведь сказывают, видят же иные люди ту святыню божию.

— Как не видать, бабушка, видят,— ответил старик.— Не всякому только дано.

— Как же бы, батюшка, такую благодать получить?.. Как бы узреть невидимый град да сокровенных-то божьих святых повидать?.. Хоть бы глазком взглянуть на них, родимый ты мой, посмотреть бы на божьи-то чудеса.

— А ты, раба Христова, послушай, что прочитаю, тогда и узнаешь, какими способами невидимый град Китеж возможно узрети...— молвил старик и, вынув из-за пазухи ветхую тетрадку, стал читать по ней:

«Аще ли который человек обещается идти в той град Китеж, и неложно от усердия своего поститися начнет, и пойдет во град, и обещается тако: аще гладом умрети, аще ины страхи претерпети, аще и смертию умрети, не изыти из него,— и таковаго человека приведет господь силою своею в невидимый град Китеж, и узрит он той град не гаданием, но смертныма очима, и спасет бог того человека, и стопы его изочтены и записаны ангелами господними в книзе животней».

— Вот оно как, старушка божия!..— примолвил старичок.— Вот каким людям дается божественная благодать невидимый град видети и в нем со блаженными пребывати.

— Ох, господи Исусе Христе, сыне божий!.. Пресвятая владычица богородица!.. Илья пророк!.. Никола милостивый!..— умиленно взывала старушка, не зная, про что бы еще спросить у грамотея.

— А ты вот слушай-ка еще,— молвил он ей, перевернувши в тетрадке два-три листочка: — «Аще кто нераздвоенным умом и несумненною верою обещается и пойдет к невидимому граду тому, не поведав ни отцу с матерью, ни сестрам с братиями, ни всему своему роду-племени,— таковому человеку открыет господь и град Китеж и святых, в нем пребывающих».

— Ну, а если кто не снесет? — после недолгого общего молчанья спросил у старика-грамотея пожилой крестьянин, по-видимому дальний, перед тем внимательно слушавший чтение.

— И про таковых в «Летописце» помянуто,— молвил грамотей и продолжал: — «Аще же кто пойдет, обаче мыслити начнет семо и овамо, или, пойдя, славити начнет о желании своем, и таковому господь закрывает невидимый град: покажет его лесом или пустым местом... И ничто же таковый человек получит себе, токмо труд его всуе пропадет. И будет ему соблазн, и понос, и укор, и от бога казнь приимет зде и в будущем веце... Осуждение приимет и тьму кромешную всяк человек, иже такому святому месту поругается. Понеже на конец века сего господь чудо яви — невидимым сотвори град Китеж

и покры его десницею своею, да в нем пребывающие не узрят скорби и печали от зверя антихриста... Кому же применится человек, поругавшийся чудеси тому, и кому будет он службу приносити?.. Воистину самому диаволу применится и всеяростному зверю антихристу послужит, с ними же в геенне огненной пребудет в нескончаемые веки!..»

— Ох господи, владыко милостивый!.. Вот оно — грехи-то, грехи-то наши тяжкие!.. Ой, тяжкие, не замоленные!.. Не замоленные, не прощеные!..— со слезами стала причитать старушка...

И другие после того чтения вздыхали с сокрушенным сердцем и слезами.

И на долгое время было молчание... Задумался и Василий Борисыч...

— У нас из волости мужичок ходил в Китеж-от,— сказал молодой парень, сидевший возле костра.

— Что же? — разом спросило его несколько голосов.

— Не попал,— молвил парень, расшвыривая плохо горевший костер.

— Как же дело-то было? — спрашивали парня...

И тот, присев у костра, спросил, обводя глазами собеседников:

— Про Красноярский скит слыхали?

— Как не слыхать про Красноярский скит! — одни отвечали ему.

— Еще бы не знать Красноярского скита,— отозвались другие.

— Ноне там всех заковали: и старцев и бельцов, всех в город угнали,— кто-то сказал...

— Он самый и есть,— молвил парень.— Игумном у них отец Михаил.

— И отца Михаила довольно знаем,— заговорили одни.

— И его, сердечного, посадили! — всхлипнула старушка.

— Учительный старец, благочестивый,— заметил старик-грамотей.

— Баня у него знатная! — отозвался один из собеседников.

— Свят человек перед господом,— вздохнула старушка.

— За фальшивы бумажки сидит,—сказал кто-то.

Только что смолкли голоса, парень стал продолжать:

— Был в нашей волости мужичок, Перфилом звать, Григорьич по батюшке... человек тихий и кроткий, жил по боге, не то чтоб от него кому обида какая али бы что — ни-ни... Все, бывало, над книгами сидит, все над книгами... И начитал он в тех книгах про этот самый Китеж... Стал в путь собираться, домашние спрашивают: «Куда, дедушка?..» Молчит, никому не сказывает, вот как сейчас было читано, чтоб, значит, никому не поведать... Приходит в Красноярский скит, к отцу Михаилу... На духу спрашивает его по тайности, как идти ему к невидимому граду. Отец Михаил наставляет: «Перво-на̀перво, говорит, ступай ты на Волгу в Городец. Тот Городец, по писанию, Малый Китеж выходит. Оттоль идти на полунощник, все на полунощник, ни направо, ни налево не моги своротить. Перейдешь реку Узолу, перейдешь Са̀нду-реку, а третью, Са̀нахту перейдешь ты и Кѐрженец — то путь, коим князь Георгий к Большому Китежу шел. А за Керженцем в лесах «тропа Батыева». Иди той тропой, пролагай путь ко спасению... Будут тебе искушения и от вражия силы страхования: бури и дожди, хлад и зной, змеи и лютые звери, но ты на страхи не взирай, иди себе тропой Батыевой, пролагая путь ко спасению, не своначивай ни на десно, ни на шуе...» Благословил Перфила Григорьича отец Михаил; пошел тот.

Остановился парень, будто к чему-то прислушаться... Ничего не слыхать; только по роще, как шум отдаленных потоков, тихие речи людские звучат...

— Пошел Перфил Григорьич в Вознесенье, привезли перед Покровом,— продолжал рассказчик.— Привезли — узнать нельзя, лица на нем нет, оборванный весь, кафтанишка висит клочьями, рубаха с плеч валится, сапоги без подошв, сам весь рваный да перебитый: синяк на синяке, рубец на рубце. Лева рука перешибена, спина драная... Сам еле дышит, насилу в избу втащили. Встречают домашние Перфила Григорьича, и рады ему, и плачут над ним... «Дедушка, говорят, где, родной, побывал?.. Какой злодей тебя, болезного, так изобидел?..» А Перфил Григорьич молчит, ни сыновьям, ни невесткам слова не молвит про свои похожденья... Обмыли его, одели, напоили, накормили, в баню сводили, на ноги поставить не могли... Похворал зиму-то, в понедельник на Святой богу душу отдал... Твердый был старик... По

нонешним годам молодых таких немного... Сорок восемь медведей на веку уложил...

— Где ж его, сердечного, так гораздо употчевали? Не во граде же Китеже? — спрашивают парня.

— Не во граде, а возле него,— отвечал рассказчик.— Долго пытали у Перфила Григорьича, рассказал бы про свои похожденья, молчит, головой крутит, лишь за три недели до смерти все рассказал.

— Что ж рассказывал он? — спрашивают собеседники, теснее сдвигаясь вкруг парня.

— Вот что́ сказывал он: «Пошел, говорит, я в Городец, оттуда в Заузолье, перешел четыре реки, отцом игумном заповеданные, обрел и «тропу Батыеву», пошел по ней». А та тропа давным-давно запущонная, нет по ней ни езду конного, ни пути пешеходного, не зарастает ни лесом, ни кустарником, и много на ней лежит гнилого буреломнику... Трудно было Перфилу Григорьичу перелезать через тот буреломник, высокими горами поперек тропы он навален, однако, трудов не жалея, напастей не страшась, помаленьку вперед подвигался... Оборвался весь, ободрало его сучьями-то, не то что одежу, тело все ободра̀ло, но он, бога ради, все претерпел, надеясь в невидимом граде со блаженными в райском веселье пребыть... По ночам от бесов были ему страхованья, но крестом и молитвой он себя от них ограждал... Шел тропой Батыевой три дня, по ночам лазил спать на деревья, чтоб сонного зверь не заел... И как вылез Перфил Григорьич из буреломника, видит: луговина зеленая, глазом ее не окинешь,— трава свежая, сочная, цветиков середь той травы множество, видимо-невидимо... Кулички всякие по той полянке бегают, счету им нет: бегают, комариков ловят да мошек... Возблагодарил господа Перфил Григорьич, что вывел его на столь прекрасном месте малый отдых после великих трудов принять. Ступил шаг по поляне, ступил другой... вдруг со всех сторон кругом его вода из земли кверху брызнула, а ноги у Перфила Григорьича так и тянет вглубь, так и тянет... Насилу выдрался... И как вынес его бог, тогда только догадался он, что попал в чарусу... Слыхать про чарусы слыхивал, а видать их до той поры ему не доводилось... «Что́ ж за диво такое? — думает он.— Тропа вышла прямо на чарусу, надо где-нибудь обходу быть, пойти поискать...» И пошел назад в лес и стал обходить чарусу... А навстре-

чу ему медведь, он от него... Медведь не погнался, не тронул его... Но, бегая от зверя, Батыеву тропу потерял. Опознаться не́ по чему — леса дремучие, деревья частые, ни солнышка днем, ни звезд по ночам не видать. Где полунощник, где обедник, где верхо́вик,— не разберешь. И, сбившись с пути, шесть недель проплутал он по лесам... Хлеба-то нет, малиной да костяникой кормился, корни рыл для еды. Оборвался весь об валежник-от, избился, изодрался, ногу сломал. И тут бы смерть ему приключилась, да некий старец пустынный увидел его и в землянке своей успокоил... Вылежал у него Перфил Григорьич невступно шесть недель. От отца Михаила к тому старцу трудник пришел, хлебца принес на пропитанье, свечей, ладану на молитву — он вывел из лесов Перфила Григорьича... А как свиделся Перфил Григорьич с отцом Михайлом да рассказал ему про свои похожденья, отец Михаил и говорит: «Дурак ты, дурак, Перфил Григорьич, чаруса-то и был невидимый град, а медведь — отец-вратарь; тебе б у него благословиться, тут бы тебе град Китеж и открылся... Завсегда так бывает,—кому чарусой, кому речным омутом невидимый град покажется, а кому горой, а на гору ни ходу, ни лазу».

— Ишь ты дела-то какие!.. Поди угадай тут не знавши-то!..—молвил один крестьянин, когда парень, кончив рассказ, принялся подбрасывать сушник в потухавший костер.

— Из наших мест, из-за Ветлуги, паренек в пастухи здесь на Люнде нанимался,— после некоторого молчанья начал тот старичок, что́ читал «Летописца».— Заблудился ли он, такое ли уж ему от господа было попущение, только сам он не знает, какими судьбами попал в тот невидимый град. На краю града, сказывал паренек, стоит монастырь, вошел он туда, сидят старцы, трапезуют, дело-то по̀д вечер было. Посадили старцы пастушонка, дали ему укрух хлеба, и тот хлеб таково вкусен да сладок ему показался, что ломтик-другой утаил, спрятал за пазуху, значит. После трапе́зы един-от старец повел того паренька по монастырям и церквам, весь град ему показал... А живут в том граде мужи и жены, и не токмо в иночестве, но и в разных чинах, всяк у своего дела. И, показав град и домы, сказал тот старец пареньку: «Не своею волею, не своим обещаньем пришел ты в безмятежное наше жилище, потому и нельзя тебе с нами

пребыти, изволь идти в мир». И указал дорогу... Вышел в мир паренек, стал рассказывать, где был и что видел... Не верят ему, и он во уверение хотел показать хлеб, за трапезой у старцев утаенный... И явился не хлеб, а гнилушка... Потом тот паренек и обещанья давал и волей хотел идти в невидимый град, но как ни искал дороги, а не нашел.

— Господи! хотя бы часок один в том граде пребыть, посмотреть бы, как живут там блаженные-то... Чать, тоже хозяйствуют?.. Прядут бабы-то там?.. Коровушки-то есть у них?..— сердечно вздыхая, спрашивала у людей старушка в синем сарафане и черном платке.

— Иная там жизнь, не то что наша,— отозвался старичок грамотей.— Там тишина и покой, веселие и радость... Духовная радость, не телесная... Хочешь, грамотку почитаю про то, как живут в невидимом граде? Из Китежа прислана.

— Почитай, кормилец, открой очи, научи меня, темную,— молила старушка.

И другие стали просить грамотея прочитать китежскую грамотку про житье-бытье блаженных святых.

Вынул тетрадку старичок и, не развертывая, стал говорить:

— Недалеко́ от Городца, в одной деревне жил некий христолюбец... Благочестив, богобоязнен, труды его были велики и праведны, жил ото всех людей в любви и почете. И было у того христолюбца единое чадо, единый сын, при младости на погляденье, при старости на береженье, при смертном часу на помин души. Вырастало то чадо в страхе божием; поучалось заповедя́ми господними, со седьмого годочка грамоте научено от родителей — божественному писанию, евангельскому толкованию. Достиг же тот отрок возраста, что пора и закон принять, с честною девицей браком честны́м сочетаться. Искали ему родители невесту и нашли девицу добролично и разумну, единую дочь у отца, а отец был великий тысячник, много достатков имел и был почтен ото всех людей... Не восхотел сын жениться, восхотел богу молиться, со младых лет господу трудиться... Родители тому не внимали, гостей на свадьбу созывали, сына своего с той девицей венчали... И когда наутре надо было молодых поднимать, новобрачного не нашли — неведомо куда сокрылся... Во слезах родители пребывают, а пуще их же-

на молодая... Стали пропавшего за упокой поминать, стала молода жена по мужу псалтырь читать... И прошло в тех слезах и молитвах три годочка, на четвертом году от пропавшего сына из Китежа грамотка приходит... Вот она!

И поднял высоко тетрадку...

Все привстали, молчат, благоговейно на нее смотрят... По малом молчанье стал грамотей читать велегласно:

— «Пишу аз к вам, родители, о сем, что хощете меня поминати и друга моего советного заставляете псалтырь по мне говорить. И вы от сего престаньте, аз бо жив еще есмь, егда же приидет смерть, тогда вам ведомость пришлю; ныне же сего не творите. Аз живу в земном царстве, в невидимом граде Китеже со святыми отцы, в месте злачне и покойне. Поистине, родители мои, здесь царство земное — покой и тишина, веселие и радость; а святии отцы, с ними же аз пребываю, процветоша аки крины сельные и яко финики и яко кипарисы. И от уст их непрестанная молитва ко отцу небесному, яко фимиам благоуханный, яко кадило избранное, яко миро добровонное. И егда нощь приидет, тогда от уст их молитва бывает видима: яко столпы пламенные со искрами огненными к небу поднимается... В то время книги честь или писати можно без свечного сияния... Возлюбили они бога всем сердцем своим и всею душою и всем помышлением, потому и бог возлюбил их, яко мати любимое чадо. И хранит их господь и покрывает невидимою дланию, и живут они невидимы в невидимом граде. Вы же обо мне сокрушения не имейте и в мертвых не вменяйте...»

Вздыхали богомольцы, умилялись и много благодарили старичка, что потрудился он ради бога, прочел на поученье людям грамотку из невидимого града.

— Да, вот оно что значит праведна-то молитва! — заметил тот парень, что про Перфила Григорьича рассказывал.— Огненными столбами в небо-то ходит!.. Вот тут и поди!..

— Да ты па́зори-то видел ли когда? — спросил у него грамотей.

— Как не видать! Не диковина,— отозвался парень.

— Не диковина, а чудное божие дело,— сказал на то грамотей.— Те столбы, что в небе «багрецами наливаются»,— сходятся и расходятся, не другое что, как правед-

ных молитва... Кто таковы те праведники, в коем месте молятся, нам, грешным, знать не дано, но в поучение людям, ради спасения душ наших, всякому дано телесными очами зрети, как праведная молитва к богу восходит...

— Дивен бог во святых своих! — величаво приподнимаясь с земли, проговорил молчавший дотоле инок, еще не старый, из себя дородный, здоровый, как кровь с молоком. Низко нахлобучив камилавку черным кафтырем, обшитым красными шнурками, и медленно перебирая лестовку, творил он шепотом молитву. Затем, поклонясь собеседникам, пошел дальше вдоль берега. Василий Борисыч за ним.

— Отче святый! Из какого будете монастыря? — спросил он, ровняясь с иноком.

— Аз, многогрешный, из преходящих,— ответил ему старец.

— Из преходящих! — молвил Василий Борисыч.— Значит, никóего монастыря?

— Никóего, родименький,— сказал тот.— Где день, где ночь проживаем у христолюбцев... Странствуем — града настоящего не имея, грядущего взыская.

— А как имя ваше ангельское?

— Варсонофий грешный,— ответил преходящий инок, надвигая камилавку на самые брови.

— Места-то какие здесь чудные! — молвил Василий Борисыч, стараясь завести беседу.

— И земля и небеса исполнены господней премудрости... На всяком месте владычествие его,— сказал Варсонофий.

— Так-то оно так, отче; однако ж не все места господь равно прославляет... А здесь столько дивного, столько чудесного!..— говорил Василий Борисыч.

— Место свято, что́ про то говорить. Поискать таких местов, не скоро найдешь; одно слово — Китеж...— сказал Варсонофий.

— Вы впервóй здесь, честный отче? — спросил Василий Борисыч.

— Кажный год... Мы ведь преходящие, где люди, тут и мы,— ответил Варсонофий.— Вот отсель к Петрову дню в Комаров надо, на Казанску в Ша̀рпан, на Илью пророка в Оленево, на Смоленску в Чернуху, а тут уж к Макарью на ярмарку.

— Так весь год и путешествуете? — спросил его Василий Борисыч.

— В странстве жизнь провождаем,— ответил Варсонофий.— Зимним делом больше по деревням, у жиловых христолюбцев, а летом во странстве, потому — не холодно... Ведь и господь на земле-то во странстве тоже пребывал, от того и нам, грешным, странство подобает... Опять же теперь последни времена от козней антихриста подобает хранити себя — в горы бегати и в пустыни, в вертепы и пропасти земные.

— В Комарове-то в какой обители пристанете? — спросил Василий Борисыч.

— У Манефиных. Нигде, как у Манефиных,— быстро ответил Варсонофий.— Столы большие, трапѐза довольная, рыба отменная... По́ этой части лучше Манефиных по всему Керженцу нет... У отца Михаила в Красноярском тоже хорошо, да вот в несчастье попал... Сергий-от преподобный, значит, ухнул.

— Как ухнул? — с удивлением спросил Василий Борисыч.

— Так же и ухнул — пропал, значит,— ответил Варсонофий.— У отца-то Михаила в Сергиев день [1] храм... Завсегда большие кормы бывали. А теперь, значит, мимо.

Подошел Варсонофий с Васильем Борисычем к кучке народа. Целая артель расположилась на ночевую у самого озера, по указанью приведшего ее старика с огромной котомкой за плечами и с кожаной лестовкой в руке. Были тут и мужчины и женщины.

— Тут вот ложитесь, тут, на этом на самом месте,— говорил им старик.

— Ладно ль так-то будет, дедушка?.. Услышим ли, родной?.. Мне бы хоть не самой, а вот племяненке услыхать — грамотная ведь...— хныкала пожилая худощавая женщина, держа за рукав курносую девку с широко расплывшимся лицом и за́спанными глазами.

— Ложись, тетка, ложись во славу божию,— торопил ее старик.— Говорят тебе, лучше этого места нет... Под самыми колоколами... Вон, гляди кверху-то, тут Вздвиженский собор, а тут Благовещенский... Услышишь...

---

[1] Июля 5-го.

— А баюкать-то будут нас? — спрашивала она.

— А ты знай ложись, праздных речей не умножай... Станешь умножать, ни насколько благодати не получишь,— уговаривал ее старик.— Да ухом-то прямо к земле, прямо... Ничего не подкладывай, слышишь?

— Слышу, дедушка, слышу, родной... Слышь, Дарёнка, голым ухом к земле-то приткнись, ничего не клади пóд голову.

— Ложитесь, а вы ложитесь, православные,— нараспев заговорил старик.— Ложитесь, раби Христовы, ото всего своего усердия... Аще кто усердия много имеет, много и узрит, аще же несть усердия, тщетен труд,— ничего тот человек не ýзрит, ничего не услышит...

— Чтó ж надо делать-то, родимый, чтоб сподобиться здешней благодати? — спросил у старика кто-то из артели.

— Первое дело — усердие,— стал говорить старик.— Лежи и бди, сон да не снидет на вежди твоя... И в безмолвии пребывайте, православные: чтó бы кто ни услышал, чтó бы кто ни увидел — слагай в сердце своем, никому же повеждь. Станет усердного святый брег Светлого Яра качать, аки младенца в зыбке, твори мысленно молитву Исусову и ни словом, ни воздыханием не моги о том ближним поведать... И егда приидет час блаженным утреню во граде Китеже пети, услышите звон серебряных колоколов... Густой звон, малиновый — век слушай, не наслушаешься... А лежи недвижно и безмолвно, ничто же земное в себе помышляя... Заря в небе заниматься зачнет — гляди на озеро,— ýзришь золотые кресты, церковные главы... Лежи со усердием, двинуть перстом не моги, дыханье в себе удержи... И тогда в озере, ровно в зерцале, узришь весь невидимый град: церкви, монастыри и градские стены, княжеские палаты и боярские хоромы с высокими теремами и домá разных чинов людей... А по улицам, увидишь, Алконаст райская птица ходит и дивные единороги, а у градских ворот львы и ручные драконы заместо стражи стоят...

— Не пожертвуете ли, православные, на свечи, на ладан благоверному князю Георгию, преподобным отцам сего града Китежа,— раздался густой, несколько осиплый голос над расположившимися пó берегу озера слушать ночной звон китежских колоколов. Оглянулся Василий Борисыч— отец Варсонофий.

— Ступай, отче, ступай к своему месту, не тревожь православных,— торопливо заговорил укладывавший богомолиц старик.

— На свечи, на ладан...— вздумал было продолжать Варсонофий, но старик сильной рукой схватил его за рукав и, потащив в сторону, грозно сказал:

— Свою артель набери, подлец ты этакой, да у ней и проси... Эк, навыкли вы, шатуны, в чужие дела нос-от свой рваный совать!... Гляди-ка-сь!..

— Да ты не больно того,— заворчал Варсонофий.

— Сказано: прочь поди... Чего еще? — крикнул старик.— Что камилавку-то хлобучишь?.. Метку, что ли, хоронишь!

— Я те дам метку! — огрызнулся Варсонофий, но поспешными шагами пошел прочь от старика.

— Что ноне этих шатунов развелось, не приведи господи!..— молвил старик, когда Варсонофий удалился.— И не боятся ведь — смелость-то какая!

— Чего ж бояться отцу Варсонофью? — спросил Василий Борисыч.

— Какой он отец?.. Какой Варсонофий?..— отозвался старик.— По нашей стороне он у всех на примете. Волей иночество вздел, шапки бы не скидать, не видно бы было, что его на площади палач железом в лоб целовал.

— Полно ты! — удивились прилегшие послушать звона китежских колоколов.

— Чего полно? Не вру... Знамо, с каторги беглый,— сказал старик.— За фальшивы бумажки сослан был, в третий раз теперь бегает... Ну, да бог с ним,— лежите, братие, со усердием, ничего же земное в себе помышляя.

* * *

Когда Василий Борисыч воротился к комаровским спутницам, они допевали светильны [1]. Утрене скоро конец...

Оглянулся Василий Борисыч,— купец, что неласково обошелся с ним на берегу, стоит теперь за матерью Аркадией, а дочь его середи белиц между Фленушкой и Парашей. Значит, знакомы.

Взглянул Василий Борисыч на Парашу, посмотрел и на купеческую дочку... во сто крат пригожей, во сто крат пригляднней... Чистая, нежная, не поражала она с первого

[1] Стихи заутрени после канона.

взгляда красотой своей неописанной, но когда Василий Борисыч всмотрелся в ее высокое, белоснежное чело, в ее продолговатое молочного цвета лицо, светло-русые волосы, жемчужные зубы и чудным светом сиявшие синие глаза,— ровно подстреленный голубь затрепетало слабое его сердечко. Грубым, неотесанным чурбаном показалась ему дремавшая рядом с красавицей Прасковья Патаповна.

Не укрылись от взоров Фленушки страстные взгляды Василья Борисыча. Только что отпели утреню, подскочила к нему и шепнула:

— Кот и видит молоко, да у кота рыло коротко...

Встрепенулся Василий Борисыч, вспыхнул.

Меж тем Аркадия с Никанорой, сняв соборные мантии, вступили в беседу с отцом белокурой красавицы; а она с Парашей и Фленушкой стала разговаривать.

— Матушка Манефа как в своем здоровье? — спрашивал купец Аркадию.— Слышали, что очень хворала.

— Совсем было побывшилась, Марко Данилыч, с часу на час смертного конца ожидали... Ну, да услышал-таки господь грешные наши молитвы — поднял матушку, оздравела,— сладким голоском отвечала Аркадия.

— Теперь-то как она?.. Вполне ли здравствует? — спросил Марко Данилыч.

— Како уж вполне,— молвила Аркадия.— И годы-то уж не молодые, и болезни, печали да огорчения.— Вот племяненку схоронила, Патап Максимыча дочку.

— Слышали, матушка, слышали и немало потужили,— сказал Марко Данилыч.— Дунюшка у меня долгое время глаз осушить не могла. Подруги ведь, вместе в вашей обители росли, вместе обучались.

— Здравствуй, Дунюшка, здравствуй, моя красавица,— молвила Аркадия, обращаясь к дочери Марка Данилыча.

И трижды поликовалась с ней.

— Выросла-то как, пригожая какая из себя стала,— любовалась на Авдотью Марковну мать Аркадия.— Господь судьбы не посылает ли? — примолвила она, обращаясь к отцу.

Зарделось белоснежное личико Авдотьи Марковны, потупила она умом и кротостью сиявшие очи.

— Раненько бы еще, матушка, помышлять о том,— сухо отозвался Марко Данилыч.— Не перестарок, пого-

дит... Я ж человек одинокий... Конечно, Дарья Сергеевна за всеми порядками по̀ дому смотрит, однако же Дуня у меня настоящая хозяйка... В люди, на́ сторону, ни за что ее не отдам, да и сама не захочет покинуть меня, старого... Так ли, Дунюшка?

Пуще прежнего закраснелась белокурая красавица, опустила глазки, и на ресницах ее сверкнули слезинки.

Глаз не может отвести от ее красоты Василий Борисыч, а Фленушка, нахмурив брови, так и впилась в него глазами.

Обратилась к нему Аркадия, попрекнула:

— А вы, Василий Борисыч, и помолиться-то с нами не пожелали... Оленевских, должно быть, нашли.

— Нет, матушка,— отвечал Василий Борисыч,— по роще побродил маленько, желательно было на здешнее богомолье посмотреть.

— И на бережку были? — спросила Аркадия.

— Был и на берегу, матушка, летописцев здешних послушал... Искушение!..— с усмешкой махнув рукою, промолвил Василий Борисыч.

— Вместе никак летописца-то слушали,— сказал Марко Данилыч.— Только господину не очень что-то понравилось здешнее чтение,— вполголоса прибавил он, обращаясь к Аркадии.

Заметив, что отец заговорил с Васильем Борисычем, белокурая красавица спокойным, ясным взором осияла его... И ровно в чем провинился перед нею Василий Борисыч. Смешался и очи потупил.

— Что ж это так, Василий Борисыч? Чем же вам здешние летописцы так не понравились? — спросила мать Аркадия.

— Много несправедливого, матушка, с древним писанием несогласного... И в Житиях, и в Прологах, и в Степенной совсем не то сказано,— довольно громко ответил Василий Борисыч.

Руками замахала мать Аркадия.

— Потихоньку, потихоньку, Василий Борисыч!..— тревожно заговорила она вполголоса.

— Вот теперь сами изволите слышать, матушка,— полушепотом молвил Марко Данилыч.— Можно разве здесь в эту ночь такие слова говорить?.. Да еще при всем народе, как давеча?.. Вам бы, матушка, понача́лить их-

нюю милость, а то сами изволите знать, что здесь недолго до беды...— прибавил он.

— Нет уж, Марко Данилыч, Василья Борисыча не мне стать нача́лить,— повысив несколько голос, ответила уставщица.— Другого такого начетчика по всему христианству нет...

Удивился Марко Данилыч, слушая такие речи Аркадии.

— А из каких мест будете? — спросил он Василья Борисыча.

— Московский,— отвечал тот.

— При каких делах находитесь?

— На Рогожском в уставщиках,— скромно ответил Василий Борисыч.

— Постойте!.. Да не сродни ли вы будете Мартынову Петру Спиридонычу? — спросил Марко Данилыч.

— Так точно, в родстве состоим,— молвил Василий Борисыч.

— Так уж не вы ли с Жигаревым за границу ездили? В Белу Криницу? — спросил Марко Данилыч.

— Он самый, он самый и есть,— подхватила мать Аркадия.

— Наше вам наиглубочайшее...— молвил Марко Данилыч, снимая картуз и низко кланяясь Василию Борисычу.— Хоша лично ознакомиться до сей поры не доводилось, однако ж много про вас наслышан... Просим покорно знакомым быть: первой гильдии купец Марко Данилов Смолокуров.

— Очень рад вашему знакомству,— сказал Василий Борисыч, подавая руку Смолокурову.— Сами-то вы из здешних мест будете?.. С Ветлуги?

— На Горах проживаем, Василий Борисыч, на Горах,— сказал Марко Данилыч.— Здесь, на Ветлуге, в гостях с дочкой были, да вот и на Китеже вздумалось помолиться...

— У Воскресенья, что ли, гостили, Марко Данилыч? — спросила Аркадия.

— Так точно, матушка,— ответил Смолокуров.— У Лещова у Нефеда Тихоныча — третьего дня именинник он был. Мы у него каждый год почти на именинах гостим. Сродник тоже приходится.

— Знаю, что в сродстве,— молвила Аркадия.— А отсюда куда свой путь располагаете?

— В Лысково, матушка, в Лысково, да и ко дворам,— сказал Марко Данилыч,— И то загостились, а ярманка на дворе... Дела!..

— Вам бы к Петрову-то дню нашу обитель посетить, Марко Данилыч,— с низкими поклонами стала звать его мать Аркадия.— Праздник ведь у нас, храм... Опять же и собрание будет... И Дунюшка бы повидалась с подругами... Приезжайте-ка, право, Марко Данилыч... Что вам стоит? До ярманки еще без малого месяц — управитесь... Давно же и не гостили у нас... А уж как бы матушку-то обрадовали... Очень бы утешили ее.

— Право, не знаю, как вам сказать, матушка,— колебался Марко Данилыч.— Делов-то оченно много накопилось... Не знаю, управлюсь ли.

— Да уж денек-другой важности не составит,— приставала к Смолокурову Аркадия.— Да ведь через наши-то места и ехать вам будет способнее... На Дорогу́чу поедете, и дальше будет, и дорога самая неспособная.

— Так-то оно так,— молвил Марко Данилыч,— да, право, много делов-то набралось, матушка... Вот теперича хоть по рыбной части взять — восемь баржѐй из Астрахани вышли на другой день Всех святых, а до сих пор об них никакого нет известия, не знаю, все ли там благополучно.

«Восемь баржѐй с рыбой!.. Да от него миллионом пахнет!» — подумал Василий Борисыч и с удвоенным умилением посмотрел на белокурую дочку Марко Данилыча.

— Э! Марко Данилыч! С божьей помощью во всем успеете: и с делами управитесь и с нами попразднуете,— продолжала упрашивать мать Аркадия.— Мы, убогие, молиться будем, даровал бы господь вашим делам поспешение... Не откажите, сударь, пожалуйте... Проси тятеньку-то, Дунюшка, погостила бы ты у нас маленечко, с подругами повидалась бы.

Слегка улыбнувшись, ясно и думчиво вскинула ясными очами на отца Авдотья Марковна, но ни словечка не выронила.

— Что, Дуня?.. Как думаешь?..— весело спросил ее Смолокуров.

В немногих словах много звучало любви. Души не чаял Смолокуров в дочери. Она и теперь отцу ни слова

не вымолвила, скромной улыбкой, веселым покорным взором дала ответ.

— Хочется? — сказал, улыбаясь, Марко Данилыч. Улыбнулись алые губки и синие очи красавицы. Слегка кивнула она русой головкой на речь родительскую.

— Нечего делать! по-твоему быть... Хоть ночку-другую не придется поспать, а чтоб Дунюшку потешить, чего не сделаешь?.. Ну поедем, поедем к матушке Манефе, на старое твое пепелище, где тебя, мою голубушку, уму-разуму учили,— прибавил Смолокуров, ласково гладя дочь по головке.

— Благодарим покорно на согласии,— низко поклонилась ему мать Аркадия.

Рада была уставщица, наперед знала она, что похвалит ее Манефа за то, что зазвала на обительский праздник столь богатого и чивого «благодетеля»... Ста два целковых беспременно выпадет от него на честную обитель, да с которой-нибудь из восьми баржѐй достанется на ее долю добрый запас белуги и осетрины, икры и вязиги, балыков и молок с жирами и всяких иных рыбных снедей. Щедр на подаяния в прежнее время бывал Смолокуров.

— А вы у матушки Манефы будете на празднике? — обратился он к Василью Борисычу.

— Ради Василья Борисыча и собранье-то у нас назначено,— поспешила ответить мать Аркадия.— Его ведь к нам из Москвы по духовным делам прислали. Изо всех обителей съедутся с ним соборовать...

— Что за дела? — спросил Смолокуров.

— Да насчет епископства,— небрежно ответил Василий Борисыч.

— Надо съездить, надо,— отозвался Смолокуров.— Кстати, там у матушки Манефы и насчет Китежского «Летописца» мы с вами потолкуем... А здесь нельзя... Потому ревнители... А вы еще давеча у озера-то... Ай-ай-ай!.. Здесь в эту ночь насчет этого о̀пасно... Оборони, господи, лишнее слово громко сказать... Ревнители!..

— Да что́ ж это за ревнители такие? — спросил Василий Борисыч.

— Да вот хоть бы тот же парень, что давеча вас ухватил,— тихонько ответил ему Марко Данилыч.— Давно его знаю — Васька Пыжов, в ямщиках прежде на станции жил, да с чего-то спился, ну и стал ревнителем.

— Как же это так? — с любопытством спросил Василий Борисыч.

— Очень просто,— улыбаясь, но опять-таки полушепотом, ответил Смолокуров.— Сегодня сами видели, каков ревнитель Васька Пыжов, а послезавтра, только что минёт китежское богомолье, ихнего брата, ревнителей, целая орава сюда привалит... Гульба пойдет у них, солдаток набредет, на гармониях пойдут, на балалайках, вина разливанное море... И тот же Васька Пыжов, ходя пьяный, по роще станет невидимых святых нехорошими словами окликать... Много таких.

— Да отчего ж это так? — дивился Василий Борисыч.

— Так уж повелось,— молвил Смолокуров.

Меж тем людской гомон в роще стих совершенно. Костры догорели, ветерком, потянувшим под утро, слегка зарябило гладь озера... Одна за другой гасли на деревьях догоравшие свечи. На востоке заря занималась.

— Не пойти ль и нам к бережку? — молвила Аркадия, обращаясь к Марку Данилычу.— Китежских церквей не приведет ли господь увидать, звону колокольного не услышим ли?..

— Нам с Дуней к Лещовым пора,— сказал Смолокуров.— Они всем семейством здесь... Ну, да пока маленько-то по пути будет... Пойдемте.

* * *

Пошли к берегу... Тропинки, проложенные по роще в разных направленьях, не широ́ки — пришлось идти попарно. Впереди пошел Марко Данилыч с Аркадией, за ним мать Никанора с Марьюшкой, потом Прасковья Патаповна с Дуней, сзади всех Василий Борисыч с Фленушкой. Быстро оглянувшись, схватила она его за руку и шепнула:

— Отстанем маленько.

— Ох, искушение! — прошептал Василий Борисыч, однако ж убавил шагу. Фленушка сказала ему:

— Ты это что̀ вздумал?

— А что?

— Вертеться еще, непутный!.. Насквозь тебя вижу, сквалдырника! — горячо, но е́два слышно молвила Фленушка.

Вздохнул Василий Борисыч:

— Ох, искушение!

— Нечего тут с дурацким твоим «искушением»... С чего это вздумал ты на чужих девок бесстыжие глаза пялить?.. А?.. Забыл перелесок?.. Не помнишь улангерского гулянья? Слушай же, смиренник, что говорить стану. Удалось беспутному склонить дерево не по плечу... Дурацким твоим счастьем, да девичьей нашей глупостью сталось то дело... Ну, сталось так сталось — прошлого не воротишь... Хныкать нечего, да мы и не хнычем... Помни только, бесстыжие твои глаза, что Параша не Устинье Московке чета... Помни, говорю, помни, бесшабашная твоя голова!.. За Парашину обиду шкурой ответишь, головой поплатишься!.. Помни, что она одна-единственная дочь у Патапа Максимыча...

— Да помилуйте, Флена Васильевна, что ж это вы на меня так накинулись... Я человек не смелый, можно ль такие страхи мне говорить? — зачал было растерявшийся Василий Борисыч, но Фленушка не дала ему продолжать.

— Молчи да слушай, что тебе говорят,— сказала она полушепотом,— да смотри — речи мои нà нос себе заруби. Вздумаешь подъезжать к Смолокуровой — Марку Данилычу скажу, он тебя не хуже Чапурина отпотчует.

— Да помилуйте, Флена Васильевна! — опять зачал было Василий Борисыч. Фленушка опять перебила.

— Пикнуть не смей, когда я говорю,— облив его гневным взором, сказала она.— От Параши вздумаешь вильнуть, все расскажу Патапу Максимычу... Себя не пожалею, а все расскажу... Места на свете не будет тебе... Со дна моря он достанет обидчика и так отплатит, так отплатит, что даже сказать нельзя...

— Господи помилуй!.. Господи помилуй!..— вздыхал оробевший Василий Борисыч. При одном воспоминанье, что может сделать с ним Патап Максимыч, то в жар, то в озноб кидало его.

— До мясоеда неделя,— не слушая воздыханий его, продолжала Фленушка.— После Петрова дня тотчáс надо вас окрутить...

— Как? — дрогнув всем телом и побледнев, спросил Василий Борисыч.

— Не твое дело, как,— ответила Фленушка.— Слушай!.. Будет мать Августа в Шàрпан звать на Казанскую, не езди... Обещайся, а после хворым прикинься...

Матушка Манефа в Шàрпан поедет, и только она со двора, мы тебя в церковь.

— Как в церковь?.. В какую? — едва мог промолвить Василий Борисыч.

— В Свибловскую,— ответила Фленушка.— Свиблово село знаешь?

— В великороссийскую-то? — прошептал рогожский уставщик.

— А в какую ж ты думал? — усмехнулась Фленушка.— В Городецкую небось часовню... аль к австрийскому попу к Коряге?.. Нет, друг любезный, венчаться, так уж венчаться покрепче, чтоб у Параши венец с головы потом не слетел.

— Да помилуйте, Флена Васильевна,— молящим голосом заговорил Василий Борисыч.— Как же это возможно?.. Вдруг в никонианскую!..

— Да ты хоть то себе в толк возьми, безумный, что дело-то ведь спешное... Сыщешь ли, нет ли попа в Городце, старуха надвое сказала... Разъезжает он, отец-от Афанасий... Да и сыщешь, так без согласья Патапа Максимыча Парашу венчать он не станет. Чапурин-от ведь попечителем у них в часовне... Ты это пойми... Да не в том главная причина: ты вот какой слабый на женский-от пол, чуть завидел пригожую девку, тотчас и к ней... Этак, пожалуй, и жену бросишь... В нашем староверском венчанье для бессовестного человека крепости нет, нашего венчанья на суд не поставишь... А как церковный-от поп вкруг налоя тебя обведет, так уж вертись не вертись, а живи с женой до гробовой доски... Правду аль нет говорю, сам рассуди!..

— Да как же это в никонианскую-то? — жалобно и трепетно заговорил Василий Борисыч.— Мне!.. Сраму-то что̀ будет на Москве!.. Помилуйте, Флена Васильевна!.. Ведь я Рогожским живу — хлеба лишиться могу. Слезы даже выступили на глазах у Василья Борисыча.

— Парашина богатства тебе не прожить,— холодно молвила Фленушка.

— А Патап-от Максимыч!..— тоскливо проговорил московский посол.

— От венца прямо в Осиповку да бух ему в ноги,— молвила Фленушка.— Завсегда так бывает, когда самокрутки играют... Маленько повоюет — стерпи... Ударит,

пнет тебя в зубы ногой — смолчи... Повоюет и смилуется... Дочь ведь — своя кровь. Опять же полюбил он тебя...

— Так не лучше ль сказаться ему, да по чести все сделать,— вымолвил Василий Борисыч, но Фленушка так и вскинулась на него:

— Думать не смей!.. В помышленье не смей держать! Уходом надо... Слышишь: уходом — самокруткой!.. Жива быть не хочу, коль уходом тебя не свенчаю.

— Повременить бы хоть, Флена Васильевна.

— Слышать не хочу... Говорить мне этого не смей,— резко ответила Фленушка.— А зачнешь на Дуньку Смолокурову пялить глаза — от того ль родителя, от другого ли плетей ожидай... Слышишь?..

В это время передняя пара, дойдя до расстанного места, остановилась. Остановились и другие. Комаровские богомолицы распрощались со Смолокуровыми, и Марко Данилыч на прощанье еще раз уверил мать Аркадию, что на Петров день он беспременно приедет в Комаров. А как только придут на место баржи, пришлет матушке Манефе рыбного запаса. Ласково простился он и с Васильем Борисычем... С улыбкой и добрым взглядом простилась со всеми Авдотья Марковна, приветливо поклонилась и Василью Борисычу, но тот стоял, как в землю вкопанный, не догадался даже картуза снять да поклониться... Очень уж зорко смотрела на него в то время Фленушка.

Подошли комаровские к берегу, выбрали местечко, где не так много было народу.

— Не прилечь ли? — молвила Аркадия.— Может, и звона послушать господь приведет.

Радехонька Параша... Давно ее клонит ко сну... Разостлали по земле шерстяные платки, улеглись. В самой середке положили Парашу, к бокам ее тесно прижались Фленушка с Марьюшкой, по краям легли старицы... Прислонясь к ветвистому дубу, сумрачен, тих и безмолвен стоял Василий Борисыч, не сводя грустных взоров с подернувшейся рябью поверхности Светлого Яра...

«Вот искушение-то! — думал он сам про себя.— Хоть удрать бы куда!..»

Не привел господь комаровским келейницам слушать малинового звона колоколов китежских, не привел бог в лоне озера увидать им невидимый град... Не привел

бог и Василья Борисыча додуматься, как бы подобру-поздорову выбраться из омута, куда затянуло его привольное житье-бытье с красивыми молодыми девицами лесов Керженских, Чернораменских.

Оттого, по словам матери Аркадии, не удостоились комаровские келейницы приять благодати, что суета обуяла их, праздные, многомятежные мысли умы всколебали.

Почему ни до какого способа не мог додуматься бедный Василий Борисыч, почему у него все утро мысли путались, а думы туманились — понять он не мог... «Видно, уж такое пришло искушение!..» — додумался он, наконец. Жутко ему. Сколько ни живет на свете, не приходилось в таком переделе быть... Что̀ страх австрийского мандатора, что̀ горести-беды, которыми встретила его Москва по возвращенье из чужих краев!.. Скитские девки солоней пришлись и австрийской полиции и предательской трусости рогожских столпов... Страшно вздумать про Патапа Максимыча, да не сладко и Марка Данилыча помянуть. «Эти лесные медведи «политичного» обращения не ведают — у них бы все по зубам да в рыло...— думает Василий Борисыч.— Ох, эта страсть!.. Ох, это искушение!.. До чего может она довести человека!.. Над целомудренным девственником, над первым начетчиком какая-нибудь девчонка смеется, в церковь тянет, плети сулит!.. И выхода нет, ничего не придумаешь,— куда ни кинь, везде клин... А как ни вертись — грозы не миновать: жениться беда, не жениться беда... Хоть сквозь землю — так в пору».

«Однако ж свадьбу-самокрутку сыграть все-таки лучше,— начинает додумываться Василий Борисыч,— все-таки выйдешь целее... Фленушка говорит: «Повоюет маленько»... Маленько!.. Кулачище-то страсть!.. Так оставить — убьет, жениться, да еще в церкви,— сраму-то что!.. Как тогда в Москву глаза показать?.. Иудой обзовут, отступником, предателем!.. Матушка-то Пульхерия!.. Батюшка-то Иван Матвеич!.. Сродники!.. Знакомые!.. Как оплеванный станешь... Ах ты, господи!.. Угораздило ж меня!.. Вот он, враг-от, где, вот оно, искушенье-то!.. А тут еще Устюшка!.. Осрамит, как пить даст, окаянная!.. Эх, то ли дело в Оленеве, то ли было дело у матушки Маргариты... Блины пекла любушка Грушенька, а в келарне нас двое... Наклонится голубонька

перед печкой, сковородник в руках... Стоишь рядом, заглянешь через плечи-то сверху под ворот.. Искушение!.. Ну, известно,— тут бес... и ничего!.. Блинки поели и все позабыли.. И никаких разговоров — ровно ничего не бывало... А у матери Манефы, куда ни сунься, везде на беду наскочишь!.. Ох, грехи, грехи!.. Ох, грехи наши тяжкие!»

И ни словечка ни с кем не вымолвил он на обратном пути в Комаров. Когда расселись по повозкам, мать Аркадия вздумала было завести с ним разговор про Китежского Летописца, но Василий Борисыч сказал, что он обдумывает, как и что ему в Петров день на собранье говорить... Замолчала Аркадия, не взглядывала даже на спутника. «Пусть его, батюшка, думает, пусть его сбирается с мыслями всеобщего ради умирения древлеправославных христиан!..»

И от нечего делать раскидывала Аркадия умом-разумом — сколько бы икры, сколько осетрины надо бы было прислать в обитель Марку Данилычу... И про вязигу думала, и про белужью тёшку, и про все передумала дорогой мать Аркадия.

И меж тем миловидный образ белокурой красавицы неотступно мерещился Василью Борисычу... Ровно въявь глядит на него Дуня Смолокурова и веселым взором ясных очей пронизывает его душу... «Эх ты, красота, красота ненаглядная...— думает Василий Борисыч.— Жизни мало за один поцелуй отдать, а тут изволь с противной Парашкой вожжаться!.. Дерево!.. Дубина!.. И в перелеске была ровно мертвая — только пыхтит!..»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На Каменном Вражке в ските Комарове, рядом с Манефиной обителью, Бояркиных обитель стояла. Была мала и скудна, но, не выходя из повелений Манефы, держалась не хуже других. Иногородные благодетели деньги и запасы Манефе присылали, и при каждой раздаче на долю послушной игуменьи Бояркиных, матери Таисéи, больше других доставалось. Такие же милости видали от Манефы еще три-четыре во всем покорные ей обители.

А в старые годы великà, славна и богата была обитель Бояркиных... Но слава ее давно позабыта, давно по-

горели богатства ее. Лет через пять после французского года случился великий пожар на Каменном Вражке. Зачался у Бояркиных. Дело было ночное; матери и белицы в одних срачи́цах едва успели повыскакать из пылавших строений, только и помог милосердный господь вынести из часовни келейный «синодик» строительницы обители да две ико́ны: храмовую Тихвинской богородицы да образ Спаса с алою орденской лентой на венце его.

Та лента звалась «лопухинской». Много про нее ходило рассказов, и в тех рассказах давняя правда с новыми вымыслами мешалась.

В «синодике» после святейших патриархов и благочестивых царей вписаны были старинные знатные роды: Лопухиных, Головиных, князей Ромодановских, Троекуровых, Голицыных, Куракиных. А первее всех писан род князей Болховских. И под тем родом такие слова приписаны были: «...и сродников их: царей и великих князей Петра и Петра всея Великия и Малыя и Белыя России, царицы Евдокии во иночестве Елены, царевича Алексия и царевны Наталии... Не постави им сый человеколюбче во осуждение забвения древлеотеческих преданий».

За эту приписку тот «сино́дик», по соборному уложенью комаровских матерей, от всеобдержного чтения был отставлен, «поне за отступивших от правыя веры ни пения, ни свечи, ни просфоры, ни даже поминовения, по уставу святых отец, не положено»... Но славы ради и почести святыя обители изволися Комаровскому собору хранить тот «синодик» на память грядущим родам. Вот-де каковы бывали старые жители лесов Керженских: сродники светлым царским родам. И от того «синодика» больше чем от лопухинской ленты разносилось между керженскими и чернораменскими жителями баснословных рассказов и новоизмышленных преданий. Каковы ж были те рассказы и те предания — прейдем молчанием... Всего писанного на Керженце и всего там говоренного ни в книги списать, ни словом рассказать никоему человеку нельзя.

На самом деле тот «синодик» и та лопухинская лента на Керженец вот как попали:

Во дни Петра Первого проживала на Москве круглая сирота, княжна Болховская. Много у той княжны-сироты было знатных сродников, много было у ней бога-

тых свойственников. Взросла княжна в доме княгини Троекуровой, родной сестры суздальской заточенницы царицы Евдокии.. От той княгини Троекуровой и старой вере княжна научилась... Когда ж по розыску о царевиче Алексее Петровиче княгиню Троекурову за дерзостные словеса в монастырь на безысходное житие послали, несмысленную еще отроковицу княжну Болховскую приютил сродник ее, Степан Васильич Лопухин. Тогда он только что женился на первой петербургской красавице, Наталье Федоровне Балк. Не по воле своей, по царскому приказу браком он сочетался.

В наполненных заморскими благоуханьями передних комнатах лопухинских палат пиры бывали частые, гремела нововводная музыка, и молодая хозяйка в немецких танцах блистала красотой и ловкостью среди многочисленных поклонников, русских и иноземцев... А в одной из задних уютных горниц, пропитанной запахом воска, деревянного масла и ладана, с кожаной лестовкой в руке стаивала в то время на молитве молодая княжна Болховская, тщательно скрывая от людей свое двуперстие... Опасно было: за старообрядское перстосложение тогда нещадному розыску все подвергались... И то Феофан с Питиримом подозревали княжну в расколе; удаление ее от указных ассамблей и роскошных домашних пиров они ставили ей в вину и в укор... То-де противление власти монаршей и «знатное согласие к раскольщикам, непрестанно на государя и государство зло мыслящим...». Сведал о том Степан Лопухин, оберег свою сродницу. Самому царю сказал, что недугом она одержима, к тому ж и разумом не цела, сроду была малоумна, с детских лет малосмысленна... Не по силам становилась и княжне петербургская жизнь; после долгих и слезных просьб отпустил ее Лопухин на безмятежное житие в подмосковное свое именье, Гуслицкую волость [1].

Без малого двадцать лет выжила там княжна Болховская. Жила затворницей с десятком других неимущих девиц из дворянских родов. Из домика своего никуда не выходила, а к ней бывали вхожи только раскольничьи старцы да старицы... Меж тем Лопухины блистали в Петербурге. Чтил Степана Васильича Петр Второй, как

---

[1] Гуслицы, или *Гуслицкая волость* (в нынешнем Богородском уезде Московской губернии), и в начале XVIII столетия, как и теперь, заселена была почти сплошь раскольниками.

близкого родственника, чтили его и две Анны, императрица и правительница... Настало царство Елисаветино, и над родом Лопухиных гроза разразилась... Узнав о беде на них, старообрядцев, поскакала княжна в Петербург... Войдя в дом дяди, узнала, что жена, его сын и дочь под стражей сидят... И радовался и слезы лил Степан Васильич при встрече с княжною. Все его покинули, все от него бегали, как от чумного, одна она из дальних мест явилась утешать его... «Вдругорядь опала наш род постигает! — сказал княжне Лопухин.— Скройся, куда знаешь; ведаю, что в Гуслицах ты с раскольщиками зналась, теперь до всего доберутся и тебя запытают... Слышно, за тобой уже послано...» И навеки простился с княжной опальный сродник и дал ей на сохраненье родовой образ нерукотворенного Спаса да александровскую ленту, что надета была на него самим императором-племянником Петром Вторым. Много червонцев, еще больше драгоценных вещей отдал княжне Лопухин... И те вещи погорели в пожаре, что был в Комарове лет через пять после французского года.

Простилась с дядей княжна Болховская, одинокою пошла из опального дома. Старообрядцы скрыли ее. Прожила она у них в Питере недели с четыре и дождалась начала индикта седмь тысящ двести пятьдесят второго новолетия, что супротив царского указу раскольники тихонько справляли по-старинному, на Семен-день. И на тот самый день [1] палачи на площади резали языки у Степана Васильича с сыном и били их кнутом; резали язык и первой петербургской красавице Наталье Федоровне и, взвалив ее на плечи дюжего мужика, полосовали кнутом нежное, всенародно обнаженное тело... [2].

Сжалось и льдом застыло обливавшееся дотоле жгучей кровью сердце княжны Болховской, иссушенной постом, истомленной молитвами... Скрытая в народной толпе, всем телом дрожала она и, взирая на муки сродников, тихо шептала: «Святии мученицы, добре страдавшие, молитеся ко господу!..» Старообрядцы чуть живую увезли княжну из Питера!.. Пробираясь околицами, добралась она до лесов Керженских, Чернораменских, и здесь на Каменном Вражке была встречена своим «ма-

---

[1] 1 сентября 1743 года.

[2] Через восемнадцать лет все пострадавшие по этому делу были объявлены невиновными.

лым стадом» — теми девицами, что жили с ней в Гуслицах. Напеpед вывезли их оттуда раскольники... На лопухинские деньги ставила княжна Болховская обитель. И прозвали ее «обителью Бояркиных», потому что первые насельницы в ней все боярышни были... Построила княжна и часовню, внесла в нее икону Спаса с лопухинской лентой. Тот образ и та лента до самого упразднения скитов в обители Бояркиных сохранялись [1]. Таково было начало обители Бояркиных.

Годовой праздник у Бояркиных на тихвинскую бывал [2]. По скитскому заведенью на тот день в моленной великая служба бывала, а в келарне праздничные кормы ставились. С раннего утра̀ больше половины матерей и белиц из Манефиной обители ушли к соседям праздновать, но, как ни упрашивала мать Таисе́я самое Манефу не забыть прежней любви, в такой великий день посетить их обитель, она не пошла, ссылаясь на усталость и нездоровье... То была отговорка. Ни за что бы в свете не огорчила она покорную, во всем согласную, во всяких случа̀ях безответную соседку-игуменью, если б у самой на душе мало-мальски было спокойнее... Казать на великом собранье людей душевное беспокойство не подобает — басен не пошло бы каких в народе.

Оставшись одна, заложила Манефа руки за̀ спину и в мрачной думе твердыми, мерными шагами стала ходить взад и вперед по келье... Промчавшийся пожар по̀ лесу ее беспокоил. Что-то ее богомольщицы?.. Успели ль избежать огненной смерти?.. Пробрались ли вовремя к озеру Светлояру?.. Если в Улангере остались — давно бы пора воротиться... Стало быть, оттоль поехали чрез Полому... Не о том Манефа заботится, не о том сокрушается, что придется перед Москвой ответ держать, зачем допустила жившего под ее кровом рогожского посла погибнуть в пламени; не гнева Патапа Максимыча страшится, не горький, истомный плач безнадежного отчаяния Аксиньи Захаровны смущает ее — болит она сердцем, сокрушается по Фленушке... Хоть греховным делом, а под своим же сердцем носила — чувство матери все заглушает... Но никто не заметил бы, что за думы волнуют Манефу,— глаза горят, но лицо бесстрастно и величаво спокойно...

---

[1] В 1853 году. Факт.

[2] 26 июля.

Изнемогла... Опершись руками об оконные косяки, приникла к стеклу головой.

И вот по узенькой дорожке, что пролегает к скиту из Елфимова, облитые ярким сияньем поднимавшегося к полудню солнца, осторожно спускаются в Каменный Вражек повозка, другая, третья... Не разглядеть старым очам Манефы, кто сидит в тех повозках, но сердце матери шепчет: «Жива́!..»

И, медленно подойдя к божнице, берет Манефа висевшую с края икон лестовку и чинно творит семипоклонный нача́л.

* * *

Поднявшись из Каменного Вражка, богомольный поезд проезжал мимо Бояркиных. Там на дворе стояла густая толпа разодетых по-праздничному богомольцев. Моленная была невелика, не могла вместить всех пришедших попраздновать. Часы уж кончились, допевали молебный канон богородице... Работные белицы то и дело сновали между моленной и келарней и крыли скатертями расставленные по̀ двору столы для прихожих богомольцев. Тесна у Таисеи была и келарня: незнатных гостей и всех незваных кормили на воле, благо погода была подходящая.

Когда возвращавшиеся из невидимого града Китежа поклонницы поровнялись с обителью Бояркиных, у вереи ворот стояло двое богомольцев. По всему видно, что были те гости дальние. Один статный такой из себя, черный волос, румянец во всю щеку, ходит ребром, глядит козырем, удаль, беззаботность на лице писаны, глаза только вслух не говорят: «валяй, не гляди, что будет впереди», одет, острижен совсем «по-немецкому». Другой смуглый, невысокого роста, плечистый, коренастый, в ситцевой рубахе-косоворотке и в черном суконном кафтанчике старообрядского покроя. Стрижен в скобку. Когда Манефины повозки поровнялись с воротами, оба, сняв шапки, весело стали кланяться, но всех веселей, всех приветливей отдали они поклоны сидевшим в задней повозке Фленушке с Марьюшкой. И та и другая с радости так и вспрыгнули. Не выдержала Фленушка, вскрикнула:

— Давно ль пожаловали?

— Вчерашнего числа,— молвил одетый по-немецкому, лукаво прищурив глаза.— Вы здоровенько ли съездили?

— Слава богу, слава богу! — весело, как весенняя птичка, защебетала Фленушка. Больше она не могла говорить, повозки поехали к Манефиной обители, а мòлодцы остались у ворот Бояркиных.

В невозмутимом покое чинно, обрядно встретила Манефа возвратившихся богомолиц. Одна за другой подходили к ней благословляться: в первых Аркадия, потом Никанора, за ними Фленушка с Марьюшкой, за ними Параша. После того мужской пол благословлялся и опять-таки по чину, по ряду и в очередь: сперва Василий Борисыч, потом конюх Дементий, за ним двое обительских трудников, правивших кòнями... Творя перед игуменьей по два метанья со словами: «Матушка, прости! матушка, благослови!», каждый выслушивал уставной ответ Манефы: «Бог простит! бог благословит!..» Ни слова больше... Стройно, по чину, обрядную встречу справляла.

И когда совершился обряд, подбежавшие работные белицы испросили у матушки благословенья поклажу из повозок принять. Благословив, молча и бесстрастно глядела Манефа, как выгружали они перины и другие пожитки на келейное крыльцо; когда ж Дементий поворотил порожние повозки на конный двор, игуменья, холодным взором окинув приехавших, молвила:

— В келью войдите.— И, увидя Устинью Московку, сказала: — Поставь самовар.

Канонница заревом вспыхнула... Недобрым взором облила она московского посланника, вскинула злобными очами на Прасковью Патаповну и, склонив покорно голову, пошла по приказу игуменьи.

* * *

Полна людей Манефина келья. Кроме приехавших с богомолья, собрались туда обительские старицы и те из белиц, что не ходили на праздник к Бояркиным. Отправляясь на конный двор, конюх Дементий возле келарни встретил добродушную мать Виринею и молвил ей словечко-другое о пожаре в Полòмском лесу. Мигом облетела та весть всю обитель. Оттого матери с девицами и спешили одна за другой в келью Манефы. Всякой лест-

но было послушать рассказы о «чудесном происхожденьи», всякой желательно было узнать, как господь сохранил обительских путниц от огненной смерти. Прежде всех прибежала сама Виринея. Окинув приезжих глазами, всплеснула руками и вскликнула:

— Отроци вавилонстии!.. Росодательну убо пещь содела вам ангел!..

— Знать бы тебе пироги да печку,— нахмурясь слегка, молвила ей Манефа и, мало помолчав, повелела Аркадии по́ ряду рассказывать про бывшие с ними в пути приключенья.

Уставщица начала с пожару, Манефа воспретила ей продолжать.

— По̀ ряду сказывай, с того часу зачинай, как и́з дому отправились,— строго молвила ей.

И зачала мать Аркадия рассказывать, как молились они на гробницах Фотиньи и Голиндухи, как приехали в Улангер, какие там были собранья, и что говорилось на этих собраньях... А меж тем бывшие в келье чай пили: Устинье пришлось еще три самовара поставить... И когда дошла мать Аркадия до того, как скакали они по кочкам и корневищам в пылавшем лесу, Манефа, кинув мимолетный взгляд на Фленушку, опустила на глаза креповую наметку и по-прежнему осталась недвижимой. Только сложенные на коленях руки ее порой вздрагивали. И только тогда подняла она наметку, когда мать Аркадия довела речь до встречи со Смолокуровым и возвестила об его обещанье приехать на праздник и невдолге прислать астраханских рыбных запасов.

— Спаси его Христос,— молвила Манефа.— Мать Виринея, изготовить Марку Данилычу Таифину келью; хорошенько в ней прибери.

Когда ж Аркадия, кончив рассказ, сотворила перед сидевшей игуменьей обычные метанья, та сказала:

— Слава господу богу и пречистой владычице богородице, что было у вас все по-хорошему... Устали, поди, с дороги-то? — прибавила она, приветно улыбнувшись.— Ступайте, матери, с богом, девицы, отдохните, спокойтесь, господь да будет над вами. Подите.

Стали одна за другой благословляться: сперва Аркадия, потом Никанора, за ними Виринея и другие старицы, потом белицы. И, благословясь одна за другой, выходили из кельи. Остались Параша с Фленушкой

и Марьюшкой да Василий Борисыч с Устиньей Московкой.

Думается Марьюшке, с ума нейдет у Фленушки, как бы скорей повидаться с молодцами, что стояли у въездных ворот Бояркиных. Огнем горит, ключом кипит ревнивое сердце Устиньи, украдкой кидает она палючие взоры на притомившегося с дороги Василья Борисыча и на дремавшую в уголке Парашу.

— Ну, что, Василий Борисыч, как показалось тебе в наших лесах? — спросила Манефа.— Понравилось ли тебе на Китеже?

— Очень занятно, матушка. С любопытством поглядел я на ваши места богомольные,— степенно ответил Василий Борисыч.

— Не ладно только, что в огонь-то чуть было не угодили... Эка беда какая! — молвила Манефа.

— Да, матушка, едино божие милосердие сохранило нас от погибели,— отозвался Василий Борисыч.— Грешный человек, совсем в жизни отчаялся. «Восскорбех печалию моею и смутихся... Сердце мое смутися во мне, страх смерти нападе на мя, болезнь и трепет прииде на мя... но к богу воззвах, и господь услыша мя». Все, матушка, этот самый — пятьдесят четвертый псалом я читал... И услышал господь грешный вопль мой!..

— Его святая десница! — вздохнула Манефа, благостно взглянув на иконы.

— В Улангере каково совещались? — мало повремения спросила она.— Как там полагают, на чем думают дело решить?

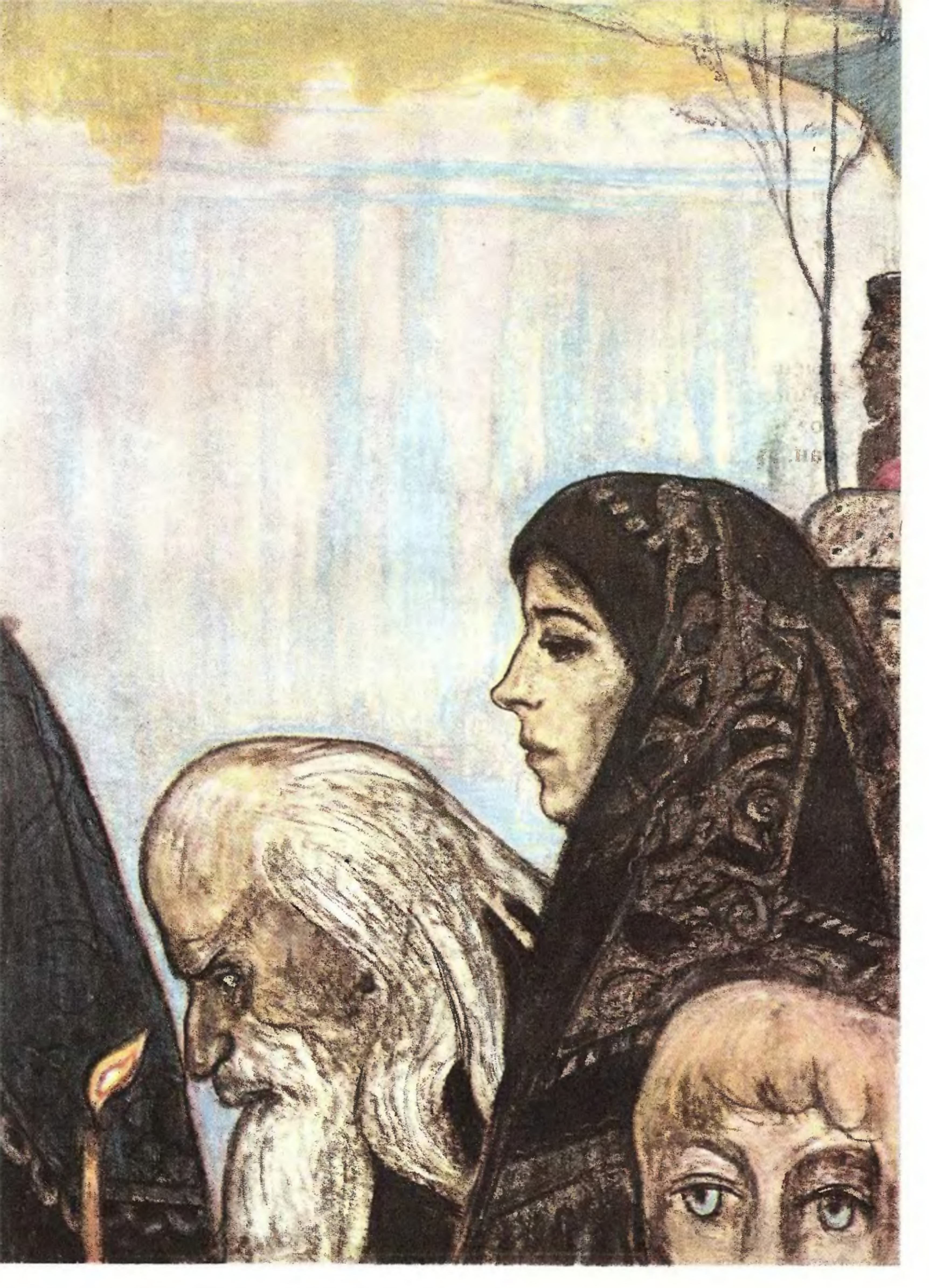
— Очень заметно в них, матушка, желание признать архиепископа и заимствоваться от него священством,— молвил Василий Борисыч.

— Мать Юдифа во всем со мной согласна, а за ней и все Улангерски обители пойдут,— сказала Манефа.— А коли сказать тебе, друг мой, откровенно, сама-то я сильно еще колеблюсь... Ни на что решиться не могу... Ум раздвоенный, а дело великое!.. Колеблюсь!.. Себя-то бы вечно не погубить, да и других бы в напасть не ввести.

— Если, матушка, желаете со всеми в согласии пребыть, неотменно надо вам духовную власть архиепископа признать. Не одни московские его принимают, а повсюду, где только есть наши христиане,— сказал Василий Борисыч.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Глава VII



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Глава II

— Этого, друг мой, не говори. Далеко́ не повсюду,— возразила Манефа.— Который народ посерее, тот об австрийских и слышать не хочет, новшеств страшится... И в самом деле, как подумаешь: ни мало ни много двести лет не было епископского чина, и вдруг ни с того ни с сего архиереи явились... Сумнительно народу-то, Василий Борисыч... Боятся, опасаются... Души бы не погубить, спасенья не лишиться бы!..

— На простой народ нечего глядеть, матушка,— возвысил голос Василий Борисыч.— Простой народ всегда за большаками идет... И в писании сказано: «овчее стадо» — паства, значит. А овцы как? Куда передний баран, туда и все сломя голову...

— То-то и есть, Василий Борисыч, что они не захотят, да и мы не пожелаем головы свои ломать,— нахмурясь, сказала Манефа.

— Это я к слову только сказал,— немного смутившись, ответил Василий Борисыч.— То хочу доложить, что если по здешним скитам признают архиепископа, все христиане следом за вами пойдут... Всегда так бывало. В высоких делах как серому люду иметь рассужденье?.. Куда его поведешь, туда он и пойдет.

— Ну, это еще бог знает, так ли,— молвила Манефа.— Это у вас на Москве так думают... Живучи век в больших городах, где вам знать, что такое простой захолустный народ?.. Трость ветром колеблема! Вот они что!.. Опять же и время такое настало, что христиане не только у вас на Москве, но и в наших лесах о своих выгодах стали больше думать, чем о господе, о спасенье души ровно бы и помышлять забыли... А все от вас идет! Все от вас: из Москвы, из Питера, из больших городов. Нажили богатства, возгордились, забыли бога, создавшего вас, да и бедных людей в соблазн завели... Иссякает вера, любезный мой Василий Борисыч, по своим похотям стали люди ходить, страх божий забыли. Поистине, последние времена!.. Ну, да об этом, бог приведет, еще потолкуем, а теперь не отдохнуть ли тебе? Не то попраздновать не желаешь ли? У Бояркиных праздник сегодня.

— Нет уж, благословите, матушка, мне отдохнуть маленько,— ответил Василий Борисыч.— Встали раненько, с ночлега поехали с солнышком вместе, а дороги-то у вас, спаси, господи, и помилуй..

— Лесные дороги, Василий Борисыч. Какие есть, не взыщи,— молвила Манефа.— А отдохнуть в самом деле тебе не мешает... Подь-ка, любезный, спокойся!

Вышел из кельи Василий Борисыч, следом за ним Параша и Марьюшка с Устиньею Московкой. Фленушка одна осталась с Манефой.

— Ах, Фленушка, Фленушка! Как же я без тебя исстрадалась!..— с жаром и нежною лаской заговорила Манефа, гладя ее по голове.— Чуяло мое сердце, что у вас недоброе что-то идет!.. И когда разгорелся пожар, чего-то, чего я не передумала, глядя на дымные небеса... Радость ты моя!.. Кажется, если б что случилось, дня не пережила бы!.. Измучилась, исстрадалась я до̀ смерти.

— Слава богу, матушка, все живы-здоровы,— беззаботно молвила Фленушка, целуя руку Манефы.

— Ах, Фленушка! — с сердечным умиленьем нежно и ласково продолжала игуменья.— Чего я в то время про тебя не передумала!.. Дорога́ ведь ты сердцу моему, Фленушка!.. Ох, как дорога ты — и помыслить не можешь того!..

И ровно оборвала речь. Смолкла. И мало погодя сдержанно заговорила:

— О судьбе твоей все думаю... Недолго мне, Фленушка, на свете жить. Помру, что будет с тобой?.. Душа мутится, дух замирает, только об этом подумаю. Всякий тебя обидит, никакой у тебя заступы не будет... Горько будет тебе в злобе мира, во всех суетах его...— Так, взволнованным голосом, склонив голову на плечо Фленушки, говорила Манефа.

— Полно-ка, матушка, не круши себя,— сквозь слезы отвечала ей Фленушка.— Все господь устроит по святой воле своей. Сама ж ты учила меня во всем полагаться на святую волю его... Не томись же, матушка, не печаль себя. Господь милостив. Он все устроит...

— Думала ль ты, Фленушка, про что я намедни тебе говорила?.. Помнишь, весной-то, как от болезни только что справилась?.. Надумалась ли хоть сколько-нибудь? — глубоко вздохнув, спросила Манефа.

— Про по̀стриг-от,— немного помолчав, отозвалась Фленушка.

— Да,— подтвердила Манефа.

Молчала Фленушка.

— Утешь ты меня, успокой, моя милая, дорогая ты моя Фленушка! — молящим голосом говорила Манефа.— Спокойно б я тогда померла, все бы добро к тебе перешло, без страха б за тебя, без печали закрыла очи на смертном одре, без земных бы забот предстала пред создателя...

Искрились слезы в глазах старицы.

Задумалась Фленушка, села на лавку, склонила голову.

— Пожалей ты меня, успокой ради господа! — продолжала Манефа.— Дай отраду концу последних дней моих... Фленушка, Фленушка!.. Знала б ты да ведала, каково дорога́ ты мне!

— Разве не вижу я любови твоей ко мне, матушка? Аль забыла я твои благодеяния? — со слезами ответила ей Фленушка.— Матушка, матушка!.. Как перед истинным богом скажу я тебе: одна ты у меня на свете, одну тебя люблю всей душой моей, всем моим помышлением... Без тебя, матушка, мне и жизнь не в жизнь — станешь умирать и меня с собой бери.

— Не раздирай сердца моего!..— молила Манефа.— Пожалей меня, бедную, успокой, согласись... Я бы тотчас благословила тебя на игуменство... При жизни бы своей, сейчас бы полной хозяйкой тебя поставила.

Судорожно рыдала Фленушка, и тихо текли слезы по впалым ланитам Манефы... «Сказать ли ей тайну? — думала она, глядя на Фленушку.— Нет, нет!.. Зачем теперь про свой позор говорить?.. Перед смертью откроюсь.. А про него не скажу, чтоб не знала она, что отец у нее, может, каторжник был... Нет, не скажу!..»

— Матушка! — подняв голову, твердым голосом сказала Фленушка.

— Что?

— Дай мне сроку два месяца... Два месяца только... Дай хорошенько одуматься... Дело не простое... Великое дело!.. Дай сроку, матушка...— и зарыдала, припав головой к Манефиной гру́ди.

— Ну, хорошо, хорошо...— успокоивала ее Манефа.— Дело терпит, не к спеху... Да полно же, Фленушка!.. К чему убиваться?.. Полно... Поди, приляг у меня в боковушке.

— Через два месяца скажу я тебе, в силах ли буду исполнить желанье твое,— вставая с места, сказала Фле-

нушка.— Не мое то желанье — твое... А снесу ль я иночество, сама не знаю... Теперь к себе пойду... запрусь, подумаю. Не пущай никого ко мне, матушка... Скажи, что с дороги устала аль что сделалась я нездорова.

Истово, обрядно перекрестила ее Манефа, говоря твердым голосом:

— Во имя отца и сына и святого духа!.. Подь, радость моя, успокойся.

Ровно былинка под ветром шатаясь, пошла вон из кельи Фленушка. Слезным взором посмотрела на нее Манефа и, заперши изнутри келью, стала на молитву.

Долго молилась она. Потом, взяв бумагу, стала писать.

Кончив писанье, несколько раз прочитала бумагу и, медленно сложив ее, сняла с божницы келейную икону Корсунской богородицы. Сзади той иконы был едва заметный «тайничок». Такие тайнички на затыле икон нередки у старообрядцев; в них хранят они запáсные дары на смертный случай. Тайничок Корсунской иконы был пуст... И положила туда Манефа бумагу, что написала, и, задвинув тайник крышечкой, поставила икону на место.

После того еще больше часу стояла она перед Корсунской богородицей на молитве.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Чин чином справили свой праздник Бояркины. Постороннего народа за столами на широком дворе и почетных гостей в тесной келарне было немало. Всем учрежденье за трáпезой было довольное. Все обошлось хорошо, уставно и в должном порядке. И когда по окончании обеда остались в келарне только свои, утомленная хлопотами мать Таисея, присев на лавочке, радостно перекрестилась и молвила:

— Слава те, господи!.. Привела владычица матушка царица небесная праздник великий свой спраздновать!

И матери и белицы низко поклонились игуменье. Казначея матьИраида за всех за них молвила:

— Твоими, матушка, стараньями, твоим попеченьем!.. Не от уст, от сердец наших прими благодаренье.

— Спаси Христос, матери; спасибо, девицы... Всех на добром слове благодарю покорно,— с малым покло-

ном ответила Таисея, встала и пошла из келарни. Сойдя с крыльца, увидала она молодых людей, что кланялись с Манефиными богомольцами...

— Не прогневайтесь, гости дорогие, на нашем убогом угощенье,— с низким поклоном сказала им Таисея.— Не взыщите бога ради на наших недостатках... Много гостям рады, да немного запасливы.

— Чтой-то вы, матушка?.. Помилуйте! — молвил удалец, что был одет по-немецкому.— Очень довольны остались на вашей ласке и угощенье.

— За любовь благодарим покорно, Петр Степаныч, за доброе ваше слово,— с полным поклоном сказала мать Таисея.— Да вот что, мои дорогие, за хлопотами да за службой путем-то я с вами еще не побеседовала, письма-то едва прочитать удосужилась... Не зайдете ль ко мне в келью чайку испить — потолковали б о делах-то...

— Со всяким нашим удовольствием,—ответил Петр Степаныч.— Пойдем,— прибавил он, обращаясь к товарищу.

— Пожалуй,— равнодушно отозвался тот.

— Мы сейчас, матушка. На минуточку только к себе зайдем,— сказал Петр Степаныч.

— Будем ждать, будем вас ждать, гости мои дорогие,— сказала Таисея и, подозвав Ираиду, велела ей идти за ней в келью.

Келейка Таисеи была маленькая, но уютная. Не было в ней ни такого простора, ни убранства, как у матери Манефы, но так же все было опрятно и чисто. Отдав приказ маленькой, толстенькой келейнице Варварушке самовар кипятить, а на особый стол поставить разных заедок: пряников, фиников, черносливу и орехов, мать Таисея сама пошла в боковушу и вынесла оттуда графинчик с водкой, настоенной плававшими в нем лимонными корками, и бутылку постных сливок, то есть ямайского рома ярославской работы.

— Ну, матушка Ираида,— садясь на лавку, сказала она своей казначее,— послушай-ка меня, надо нам с тобой посоветовать. Вечор некогда было и сегодня тож. Гости-то наши письма ко мне привезли: Тимофей Гордеич Самоквасов читалку просит прислать, старичок-от у них преставился, дедушка-то... Слыхала, чай, что в подвале-то жил, в затворе спасался.

— Так,— думчиво молвила мать казначея.

— А Панкова приказчик, Семен Петрович, из Саратова от своего хозяина, от Ермолая Васильича, такое ж письмо привез,— продолжала Таисея.— Дочка у Панкова побывшилась, надо и к ним на «годовую» девицу послать. Как посоветуешь, Ираидушка?

— А мой совет, матушка, будет такой,— немного подумавши, молвила мать Ираида.— Оленушка в Хвалыне живет у Стромиловых, на другой день Казанской выйдет ей срок — годовщина. Сплыть бы ей до Саратова, там ведь близехонько, тем же бы днем на пароходе поспела.

— И мне про Олену на ум приходило,— молвила мать Таисея,— да матушки Арсении жаль, два годочка не видалась с племяненкой-то.

— И третий потерпит,— сказала казначея.— Оленушка девица еще молодая, в обитель взята с малолетства, совсем как есть нагишом, надо ж ей обительскую хлеб-соль отработать. На покое-то жить, кажись бы, раненько.

— Так-то оно так, Ираидушка, да матушка-то Арсения плакаться будет, больно уж любит она Оленушку-то,— говорила мать Таисея.

— И поплачет, не велика беда,— молвила Ираида.— То дело не ее, обительское. Должна покориться. Когда насчет этого соборне станешь советовать?

— Да хоть завтра бы, что ли,— ответила мать Таисея.

— Завтра так завтра,— молвила казначея.— Матери все в один голос на Олену укажут... Уж как ни быть, а в Саратов ей ехать. Мать Арсения что хошь говори, не послушают.

— Вестимо не послушают, тоже ведь доход,— согласилась мать Таисея.— Да мне-то уж больно жаль старицу... Шутка ли в самом деле, два года не видались, да еще и третий не свидятся... До всякого доведись, Ираидушка...

— Что ж делать-то, матушка? Наша обитель не людная, опричь Оленушки, и послать-то некого. Разве Варварушку? — кивнув головой на дверь, куда только что вышла келейница, молвила Ираида.

— Как можно Варвару? —тревожно заговорила игуменья.— Нет, уж вы, пожалуйста, про нее и не поминай-

те... Мне-то как же без Варварушки быть?.. И за мной ходить, и на клиросе в головщицах, и письма какие случатся. все она да она... Без Варвары я как без рук... Коли так, так уж лучше Катерину пошлем: плакальщиц по ней не будет.

— Пухнет вся, матушка, ноги стали что бревна,— возразила Ираида.— По моему замечанью, до весны вряд ли она и протянет... А что хорошего больную послать да немощную?.. От благодетелей остуда, да и ей невмоготу... За псалтырем-то день-ночь стоять и здоровый с непривычки как раз свалится... Как возможно нездоровых читалок в таки люди посылать?..

— И то правда,— согласилась Таисея.— Так как же? — обратилась она к Ираиде после короткого раздумья.

— Мои речи все те же будут, матушка,— ответила казначея.— Опричь Оленушки, некого... Сама видишь, сама знаешь.

— Ин быть по-твоему,— решила игуменья.— А матушку Арсению за долгое расставанье с племянницей маленько повеселю: сарафан сошью да шубку справлю. Лисий мех-от, что прошлого года Полуехт Семеныч от Макарья привез, пожертвую на шубку ей. Самой мне не щеголять на старости лет, а матушку Арсению лисья-то шубка потешит... А кого же в Казань-то послать?

— В Казань послать, матушка, некого,—решительно сказала казначея.

— Да... Точно что некого,— вздохнув и покачав головой, молвила игуменья.

— Разве Варварушку? — проговорила Ираида.

— Я уж сказала тебе! — вспыхнула мать Таисея.

— Обители бы польза, матушка,— молвила казначея.— Самоквасовы люди богатые, а грехи у покойника были великие... Смолоду, говорят, разбои держал, суда на Волге грабил... Такую душу вымолить не вкруг пальца ниткой обвесть... На деньги Самоквасовы скупиться не станут.

— А нам-то по-твоему без пения быть? — с жаром возразила Таисея.— Без Варвары на клиросе как запоют?.. Кто в лес, кто по дрова?.. Сама знаешь, сколь было соблазна, когда хворала она... А я-то для вас и гроша, должно быть, не стою?.. А кем обитель вся держится?.. У кого из вас есть знакомые благодетели?.. Через кого

кормы, и доходы, и запасы?.. Слава богу, тридцать годов игуменствую — голодные при мне не сидели... Не меня ль уж к Самоквасовым-то в читалки послать? — с усмешкой она примолвила.

— Напрасно прогневаться изволила, матушка,— с низким поклоном сказала Ираида.— Я только так сказала, к слову пришлось... Твоя во всем воля! Как тебе рассудится, так на собрание мы и положим.

— Другую читалку у Манефы возьму,— после недолгого раздумья молвила Таисея.— У них девиц много, пошлет одну и нас не обидит... Третью долю вклады, не то и всю половину отдаст... Сегодня ж к ней побреду.

* * *

Под эти слова в келью вошли молодой Самоквасов с приказчиком Панкова, Семеном Петровичем.

— Садитесь, гости дорогие,— ласково приветила их Таисея, когда, чинно сотворив перед иконами семипоклонный уставно̀й нача̀л, отдали они по два метанья игуменье.

Сели. Варварушка стала чай разливать. Под святыми сидит Таисея, по сторонам стола казанец да саратовец, вдали, в уголке, у самой у̀ двери, мать Ираида.

— Ну вот и дедушку, Петр Степаныч, схоронили!..— жалобным голосом начала Таисея, обращаясь к Самоквасову.— Да вам-то он никак прадедушкой доводился?

— Так точно,— тряхнув головой, отвечал Петр Степаныч.

— Пожил, слава богу, довольно,— молвила игуменья.— Много ль годов было сердечному?

— Больше ста годов, матушка,— ответил Самоквасов.

— Уж и больше ста годов? — промолвила Таисея.

— Сами извольте считать,— сказал Самоквасов.— О ту пору, как Пугачев Казань зорѝл, жена у дедушки без вести пропала; дедушка наш настоящий, Гордей Михайлыч, после матери тогда по другому годочку остался.

— Да, да,— качая головой, согласилась мать Таисея.— Подымался Пугач на десятом году после того, как Иргиз зачался, а Иргиз восемьдесят годов стоял, да вот уже его разоренью пятнадцатый год пошел. Значит, теперь Пугачу восемьдесят пять лет, да если прадедушке твоему о ту пору хоть двадцать лет от роду было, так всего жития его выйдет сто пять годов... Да... По нонеш-

ним временам мало таких долговечных людей... Что ж, как он перед кончиной-то?.. Прощался ли с вами?.. Допустил ли родных до себя?

— Как же, матушка, со всеми простился,— ответил Петр Степаныч.— И со сродниками, и с приказчиками, и со всеми другими домашними, которы на ту пору тут прилучились. Всех к себе велел позвать и каждого благословлял, а как кого зовут, дядюшка подсказывал ему. Чуть не всех он тут впервые увидел... Меня хоть взять — перед Рождеством двадцать седьмой мне пошел, а прадедушку чуть-чуть помню, когда еще он в затвор-от не уходил.

— Годов двадцать в затворе-то, говорят, пребывал? — спросила мать Таисея.

— Двадцать два года ровнехонько,— подтвердил Самоквасов.— Изо дня в день двадцать два года... И как в большой пожар у нас дом горел, как ни пытались мы тогда из подвала его вывести — не пошел... «Пущай, говорит, за мои грехи живой сгорю, а из затвора не выйду». Ну, подвал-от со сводами, окна с железными ставнями — вживе остался, не погорел...

— Дивный подвиг принял на себя на склоне дней,— молвила мать Таисея.— И что за грехи такие были на нем? Надо думать, какие особные, что такими трудами надо было ему их замаливать?..

Не ответил Самоквасов. Немного повременя, мать Таисея продолжала:

— Многое люди болтают, да всех людских речей не переслушать: молва что волна — расходится шумно, а утишится — и нет ничего.

— Нет, матушка, про нашего дедушку молва правду сказывает,— молвил Самоквасов.— Теперь он уж перед самим господом держит ответ, земного суда над ним уж не будет, стало быть, можно про дела его говорить без опаски. Разбои держивал, матушка, разбойничал... Много было смолоду бито-граблено, напокон души надо было грехи заглаживать. Перед смертью передо всеми каялся, все про себя рассказал и завещал: его поминаючи, молиться за упокой еще двадцати восьми душ, им убиенных; семерых поименно, а остальных так велел поминать: «Их же имена ты, господи, веси».

— Как же это он на такие дела пошел? — с напускным удивленьем спросила мать Таисея.

— А вот что рассказывал он перед смертью,— зачал молодой Самоквасов.— Когда Пугач Казань спалил и всю ее ограбил, жена у прадедушки тогда пропала... Двое суток искал он ее между мертвецами, что лежали по домам и по улицам, искал и не нашел. А сынка — это дедушку, покойника Гордея Михайлыча, у одного суконщика нашел. И тот суконщик ему сказывал, что пугачевцы на его глазах молодую женщину с ребенком схватили. Ребеночка наземь швырнули, ее в табор свой увели. Приго́жа из себя прабабушка была... Отдал дедушка сыночка своей сроднице, а сам пугачевцев пошел догонять. И, догнавши, пошел к ним на службу, и ходил с ними до самых тех пор, как воровские таборы их разогнали, однако ж жены отыскать он не мог. Кого ни спросит: никто не знает, не ведает... А когда Пугачеву пришел конец, дедушка бежал на Иргиз. Там в Филаретовом скиту собралось пугачевцев человек двадцать... Старцы в скиту опасались держать их, деваться им некуда, и пошел дедушка с товарищами на Волгу гулять... Две косные снарядили, стали встречным судам «сарынь на кичку» покрикивать... И был у них дедушка за атамана, и держали они разбой больше двадцати годов... Меж тем товарищи перевелись: кого убили, кто потонул, к дедушке старость подошла, кинул он Волгу, в Казани явился... Отыскал сына, женил его, торговлю завел... Денег и всякого богатства с Волги-то много привез... Счастье ему повалило, барыши наживал он большие, да с сыном родным господь не дал ладов... Одинова вгорячах так его колонул, что тот через сутки во гробе лежал... Осталось у прадедушки двое внучат малолетних: дядя Тимофей Гордеич да родитель мой, один по третьему, другой по второму годочку. На̀ ноги поднял их дедушка, поженил, а сам по святым местам богу молиться пошел: в Киеве был, в Соловках, в Царьграде. В старом Иерусалиме у гроба господня больше году он выжил... И воротясь домой, от мира отрекся, власяницу надел и вериги, пост и молчанье на себя наложил. Двадцать два года не видал божьего свету, не выходил из темного подвала. Одного только дядю Тимофея Гордеича и допускал до себя. А капитал до самой до смерти на свое имя велел объявлять... И все пребывал на молитве... И всем было на удивленье, как при такой жизни мог он больше ста лет прожить.

— Таковую дней долготу даровал ему господь, чтоб успел замолить он кровавые грехи свои,— набожно сказала мать Таисея.— Говорили по народу, что покойный твой прадедушка, хоть и был муж кровей, но от юности святую милостыню возлюбил и, будучи в разбое и после того живучи в Казани, не преставал ее творить.

— Это правда, матушка,— подтвердил Петр Степаныч.— У нас в семье, как помню себя, завсегда говорили, что никого из бедных людей волосом он не обидел и, как, бывало, ни встретит нищего аль убогого, всегда подаст милостыню и накажет за рабу божию Анну молиться — это мою прабабушку так звали — да за раба божия Гордея убиенного — это дедушку нашего, сына-то своего, что вгорячах грешным делом укокошил... Говорят еще у нас в семье, что и в разбой-от пошел он с горя по жене, с великого озлобленья на неведомых людей, что ее загубили.

— Так я думаю, любезный мой Петр Степаныч, что ради милостыни и даровал ему господь лет умноженье и крепость сил на кончине дней подъять столь великий подвиг,— сказала мать Таисея.— Не восхотел праведный судия погубить душу грешника, дал ему напокон веку довольное время постом, молитвой и грешныя плоти изможденьем загладить грехи свои тяжкие... Очистил раб божий Михаил душу свою и вас всех, весь род свой и племя от божия гнева избавил... Сказано ведь, друг, в писании-то: «Мужу кровей мстит господь до седьмого колена»... Великим подвигом покаяния отвел он от потомков своих фиал ярости господней. Потому и дóлжно вам не забывать его в молитвах, должно творить за него неоскудную милостыню... Много ль дядюшка на раздачу-то прислал?

— Восемьсот рублев на серебро,— отвечал Петр Степаныч.

— Матушке Манефе отдать велел али сам ты станешь делить? — спросила Таисея, зорко взглянув на Самоквасова.

— Матушке Манефе велено деньги отдать, а у тебя читалку просить,— сказал Петр Степаныч.

— Ну, вот насчет читалки-то и не знаю, как быть,— со вздохом ответила мать Таисея.— Всей бы душой рада, да послать-то некого, ни единой свободной девицы теперь нет у меня... К Ермолаю Васильичу отправить мо-

гу,— обратилась она к саратовцу.— В ваших местах одна наша девица «годовую» кончает, после Казанской отделается и прямо к Ермолаю Васильичу проедет... А другой нет... Как на грех такие у меня дела подошли, что некого послать, да и только... Не погневался бы дядюшка-то... Что станешь делать?.. Как говорится: «Из репки девки не вырежешь, коль на девок урожаю нет»... Освободится одна, в Романове дочитывает, да не скоро кончит, недели через две после Покрова...

— Нам как можно скорей надо, матушка... Сами извольте посудить, можно ль при таких грехах псалтырью медлить... Дядюшка наказывал то́тчас бы отправить канонницу,— сказал Самоквасов.

— Надо будет матушку Манефу просить, у нее девицы три либо четыре без дела сидят,— сказала Таисея.— Виделся с матушкой-то?

— Нет еще. Сегодня перед вечером собираюсь сходить,— отвечал Самоквасов.

— Сходи, голубчик, сходи, покланяйся и ты ей, покучься, она добрая, не откажет,— сказала Таисея.— И я посоветуюсь с ней. Вместе, пожалуй, пойдем.

— И мне бы тоже надобно к матушке Манефе побывать,— сказал саратовский приказчик.

— С письмом? — спросила мать Таисея.

— Так точно; тоже с денежным вложеньем на раздачу,— ответил Семен Петрович.

— Много ль привез? — вскинув на него глазами, спросила Таисея.

— Да четыреста пятьдесят на серебро,— ответил приказчик.

— Спаси Христос Ермолая Васильича!.. Дай ему господи многолетнего здравия и души спасения, не забывает нас сирых, убогих,— молвила мать Таисея.— А уж молиться будем хорошо. Все как следует справим: и каноны и псалтырь безо всякого упущенья... У нас, други милые, на этот счет без обману... Не то что по другим местам... Вот, не в осужденье сказать, хоть на Рогожском в Москве. Нахватают, нахватают отовсюду поминовений, да и не могут справиться... Сила не берет... За одним каноном десятка по два покойников поминают либо по три, а денежки за каждого порознь... А у нас по лесам так не делается. У нас по каждому покойничку осо́б канон за единоумершего; никогда самого малого опущения не бы-

вает. К тому ж поминаем не келейно, а соборне. Хвалить себя не доводится, да и промолчать нельзя. Всем ведомо, что Керженские обители на том и стоят, что заказы благодетелей как следует справляют, по чину... Не даром, други любезные, денежки получаем... В чем другом, яко человецы согрешаем, а насчет поминовений перед богом ответа не дадим... У нас это по Соловецкому уставу справляется... Матушка Ираида, подай-ка устав.

Вынула мать Ираида из-под божницы четвертную рукописную книгу в черном кожаном переплете и, сыскав место, положила ее на стол перед игуменьей.

Стала мать Таисея читать:

— «Егда кто из обительских преставится, и аще не останется после него своего имения...» Не то раскрыла Ираидушка... Не в том месте,— с досадой молвила Таисея.— Сыщи про мирских человеков преставльшихся,— прибавила она, подавая Ираиде книгу.

— Да напрасно изволите беспокоиться, матушка,— сказал Самоквасов.— По всем городам известно, что нигде так хорошо не молятся, как у вас на Керженце.

Испугался купчик немалой книги. «Как угораздит мать Таисею читать ее до конца! — подумал и перемигнулся с саратовцем: — Ты, мол, не засиживайся, только я шелохнусь, ты за шапку да вон, пора, дескать, нам».

Меж тем Ираида подала книгу игуменье и указала место перстом... Зачала Таисея:

— «Аще не житель обители, но мирской человек преставится и будет от сродников его подаяние на честную обитель ради поминовения души его, тогда все подаяние емлют вкладом в казну обительскую и за то поминают его по единому году за каждый рубль в «Литейнике»; а буде соберется всего вклада пятьдесят рублев, того поминают в «Литейнике» вовеки; а буде соберется вклада на сто рублев, того поминают окроме «Литейника» и в «Сенанике» вовеки же. А кто что прикажет по себе, сиречь чтобы погребение по нем отпеть, и то в казну обительскую, а братии корм и утешение по рассмотрению, а что на раздачу по рукам, то...»

— Нам уж пора, матушка,— повернувшись на месте, молвил Самоквасов, а Семен Петрович за шапку и с места.

— Послушать бы вам, гости дорогие, каким чином у нас поминовения-то справляются,— молвила мать Таи-

сея.— Вы бы, Петр Степаныч, дядюшке своему рассказали, и вы бы, Семен Петрович, Ермолаю Васильичу доложили. Слушайте-ка: «А за канун и за кутию...»

Но Самоквасов с саратовцем, положив начàл перед иконами, поклонились Таисее и промолвили:

— Матушка, прости, матушка, благослови.

Делать нечего: благословила и простилась мать Таисея.

А куда как хотелось ей дочитать из устава статью о поминовениях, чтобы ведали гости, как в скитах по покойникам молятся, и после бы всем говорили: «Не напрасно-де христолюбцы на Керженец посылают подаяния».

— Эк ее раскозыряло, старую!..— молвил, усмехаясь, Семен Петрович Самоквасову.— Совсем было зачитала нас.

— Матерям по ихнему делу иначе нельзя,— отозвался Самоквасов.— Ведь это ихний хлеб. Как же не зазывать покупателей?.. Все едино, что у нас в гостином дворе: «Чтó изволите покупать? пожалуйте-с! У тех не берите, у тех товар гнилой, подмоченный, жизни рады не будете!.. У нас тафты, атласы, сукно, канифасы, из панталон чего не прикажете ли?»

— Ну, ты уж пойдешь! — молвил Семен Петрович.— Эк, язык-от!

— Разве не дело?..— хохотал Самоквасов.— Ей-богу, та же лавка! «На Рогожском не подавайте, там товар гнилой, подмоченный, а у нас тафты, атласы...» Айдà [1] к нашим?

— Айдà! — улыбнувшись, ответил Семен Петрович.

— Маленько обождем, немножко по скиту пошляемся... Пущай наши мамошки натерпятся,— молвил Самоквасов и, заломив шапку, запел вполголоса лихую песню:

Тень-тень, перетень,
Выше города плетень!..
За плетнем-то на горе —
По три девки на дворе!..
Девки моются, подмываются —
Дружков милых дожидаются.

---

[1] *Айдá* — татарское слово, иногда значит: пойдем, иногда — иди, иногда — погоняй, смотря по тому, при каких обстоятельствах говорится. Это слово очень распространено по Поволжью, начиная от устья Суры, особенно в Казани; употребляется также в восточных губерниях, в Сибири.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Только что Манефа после молитвы и недолгого отдыха вышла из боковушки в большую келью, как вошла к ней мать Таисея с аршинною кулебякой на подносе. Следом за ней приезжие гости, Петр Степаныч Самоквасов да приказчик купца Панкова Семен Петрович, вошли.

Поставив на стол кулебяку, сотворила мать Таисея семипоклонный уста̀вный нача́л. А с ней творили тот обряд и приезжие гости. Игуменьи друг дружке поклонились и меж собой поликовались.

— С праздником тебя поздравляю,— молвила Манефа.

— Благодарим покорно, матушка,— сладеньким, заискивающим голоском, с низкими поклонами стала говорить мать Таисея.— От лица всея нашей обители приношу тебе великую нашу благодарность. Да уж позволь и попенять тебе маленько, матушка... За что это ты на нас прогневалась, за что не удостоила убогих своим посещеньем... Равно ангела божия, мы тебя ждали... Живем, кажется, по соседству, пребываем завсегда в любви и совете, а на такой великий праздник не захотела к нам пожаловать.

— Невмоготу было, матушка, истинно невмоготу,— сдержанно и величаво ответила Манефа.— Поверь слову моему, мать Таисея, не в силах была добрести до тебя... Через великую силу и по келье брожу... А сколько еще хлопот к послезавтраму!.. И то с ума нейдет, о чем будем мы на Петров день соборовать... И о том гребтится, матушка, хорошенько бы гостей-то угостить, упокоить бы... А Таифушки нет, в отлучке... Без нее как без рук... Да тут и беспокойство было еще — наши-то богомолки ведь чуть не сгорели в лесу.

— Полно ты! — тревожно вскликнула и руками всплеснула мать Таисея, хоть и знала уж во всей подробности похожденья китежских поклонниц... Порядок и уважение к Манефе требовали, чтоб она на первый раз прикинулась, что ничего не знает.

— Совсем было их огнем охватило,— сказала Манефа.— Болотце, слава богу, попалось, кони туда повернули. Без того пропали бы, живьем бы сгорели...

— Вот дела-то!.. Вот дела-то какие!..— качая головой, печаловалась мать Таисея, и, опомнившись, быстро схватила поднос с кулебякой и, подавая его с поклоном Манефе, умильным голосом проговорила: — Не побрезгуй убогим приношеньем — не привел господь видеть тебя за трапезой, дозволь хоть келейно пирожком тебе поклониться... Покушай нашего хлеба-соли во здравие.

— Напрасно, матушка, беспокоилась, право, напрасно,— сказала Манефа, однако взяла из рук Таисьи поднос и поставила его на стол.

Только тут обратилась она к стоявшим у дверей Самоквасову и саратовскому приказчику.

— Здравствуйте! Как вас господь милует?..— величаво, едва склонив голову, спросила она.

Не отвечая на вопрос игуменьи, оба, один за другим, подошли к ней и, сотворив по два метания, простились и благословились.

— Садитесь, гости дорогие,— сказала Манефа, обращаясь к Таисее и к приезжим гостям, а сама села с краю стола на лавке.

— Как твои поживают? — спросила Манефа Самоквасова.— Дядюшка Тимофей Гордеич здоров ли?.. Тетушка, сестрицы?

— Здравствуют вашими святыми молитвами,— ответил Петр Степаныч.— А прадедушка Михайла Самсоныч приказал долго жить.

— Скончался?

— Шестнадцатого сего июня месяца,— подтвердил Самоквасов.

— Царство ему небесное! — молвила Манефа и, встав с места, обратилась к иконам и положила перед ними начал за новопреставленного. Вместе с нею и мать Таисея и оба гостя начал сотворили.

— Довольно по земле постранствовал,— молвила Манефа, садясь на место.— Сто годов прожил, коли не больше.

— Сто пять лет, матушка,— молвил Самоквасов.

— Сто пять лет! — задумалась Манефа.— А из затвора не вышел?

— Не вышел, матушка,— сказал Самоквасов.— Как жил двадцать два года в подвале, так и при смерти не вышел из него. Ни вериг, ни власяницы не скинул, помер на обычном ложе своем...

— На кирпичном полу с булыжником в изголовье? — отозвалась Манефа.

— Так точно, матушка,— подтвердил Самоквасов.

— Дивные дела строит царь небесный по своему промыслительному изволению!..— набожно проговорила Манефа.— Двадцать два года при такой старости и в толиких трудах пребыть!.. Очевидна десница вышнего, иже не хощет смерти грешника, но всечасно ожидает, да обратится душа к покаянию... Исправился ли он, как следует?

— Исправился, матушка,— отвечал Самоквасов.— Попа привозили... Поп теперь новый у нас в Казани завелся, австрийским епископом нàслан, отцом Софронием.

— Софронием!..— с улыбкой презренья тихо промолвила Манефа.— Что ж?.. При нашем тесном обстоянии, в теперешнее гонительное время на смертный час и Софронов поп пригодится... Когда время не терпит, всякому можно человека исправить... Не поставит того во грех господь милосердый... Видел ли дедушку перед смертью-то?

— Как же, матушка. Всех к нему в подвал приводили,— отвечал Самоквасов.— Со всеми прощался, всех благословил и при всех попу в грехах своих каялся... Велики грехи его, матушка!..

— Знаю,— молвила Манефа.— А то еще больше знаю, что нет грехов, которых бы не покрыло божие милосердие. Один только грех не прощен у создателя —аще кто отступит от святыя и непорочныя веры отец наших и отвергнет древлее благочестие. Тому греху несть прощения ни в сем веце, ни в будущем... А дедушка твой до конца пребыл во благочестии... То ему во оправдание пред господом... Аще по искушению диавола и впал в пучину греховную, но до конца дней в правоверии нимало не погрешил, потому и сподобится он грехов отпущения... Опять же и милостыня его не безмолвна перед небесным судиею... После толиких трудов, после толиких дивных подвигов сый человеколюбец покроет тяжкие его прегрешения и устроит душу его в месте покойне... Вели́ки грехи, велико́ и покаяние... А как вели́ко царя небесного милосердие, того нам и помыслить нельзя... Не сумнися, Петр Степаныч, устроит господь душу твоего прародителя.

— Мне-то что же-с? — равнодушно промолвил Самоквасов.— Я ведь прадедушку вовсе почти и не знал, перед концом только свиделся. А вот письмецо от дяденьки Тимофея Гордеича. Извольте получить.

Манефа взяла письмо и при общем молчанье его прочитала.

— Про раздачу пишет Тимофей Гордеич, восемьсот рублев высылает,— молвила она, дочитавши письмо.

Самоквасов вынул бумажник и, отсчитав деньги, молча положил их на стол перед Манефой. Тихо, не торопясь, пересчитала их игуменья, каждую бумажку посмотрела на свет и, уверившись, что деньги настоящие, неподдельные, сунула их в карман и с легким поклоном сказала Самоквасову:

— Все будет исполнено... Завтра ж каноны зачнем... Послезавтра Петров день, его пропустим, потому что праздник у нас в часовне. В такие дни по уставу поминовений не полагается... Еще про кормы дядюшка твой пишет.

— Завтрашнего числа придут,— отвечал Самоквасов.— Подводчики обещались беспременно накануне Петрова дня доставить... Вот и расписка... Муки крупичатой дядюшка шлет, рыбы малосольной, свечей, ладану...

— Знаю,— сказала Манефа.— В письме прописано.

— За сим счастливо оставаться,— поднимаясь с места, сказал Петр Степаныч.

— Повремени, сударь,— молвила Манефа.— Без хлеба-соли из кельи гостей не пущают. Чайку хоть испей...— и, растворив дверь, кликнула Устинью Московку.

— Сбери чаю,— сказала ей.— Да Парашу с Фленушкой кликни. Василий Борисыч где?

— А пес его знает,— с досадой ответила келейница.

— Устинья! — строго сказала ей Манефа.— Это что за новости?..

Молча вышла из кельи Устинья. Нахмурилась Манефа, но ни слова не промолвила.

— Твой черед, Семен Петрович,— сказала она, обращаясь к приказчику Панкова.— Ермолай Васильич здоров ли, Татьяна Андреевна с детками?

— Сами-то, слава богу, здоровы,— ответил Семен Петрович.— Дочку только схоронили.

— Которую? — быстро вскинув глазами, спросила Манефа.

— Середнюю, Авдотью Ермолавну,— сказал Семен Петрович и, подавая письмо, примолвил: — А на раздачу четыреста пятьдесят рублев на серебро вашей милости прислали.

Не принимая письма, встала Манефа перед иконами и со всеми бывшими в келье стала творить семипоклонный нача̀л за упокой новопреставленной рабы божией девицы Евдокии. И когда кончила обряд, взяла у Семена Петровича письмо, прочитала его, переглядела на свет вложенные деньги и, кивнув головой саратовскому приказчику, молвила:

— Все будет исправлено. Да что время напрасно терять? После чаю сегодня ж отпоем по первому канону: вначале за Михаила единоумершего, потом за девицу Евдокию. Кликни матушку Аркадию,— примолвила Устинье, принесшей в келью чайный прибор.— А Фленушку с Парашей звала?

— Сказывала,— угрюмо ответила Устинья и вышла, хлопнув за собой дверью.

Посмотрела на́ дверь Манефа и сильней прежнего нахмурилась.

Фленушка с Парашей в келью вошли, Марья головщица за ними.

Чинно девицы гостям поклонились; приезжие отдали им по поклону. Ровно впервой отроду видятся.

Вскинул очами на матерей Самоквасов: Манефа письмо перечитывает, Таисея в окошко глядит. И весело подмигнул он Фленушке, а приказчик саратовский Марьюшке улыбнулся. Не то дремала, не то с у́стали глаз не поднимала Параша. Не к Фленушке, к ней обратился Самоквасов:

— Как вы в своем здоровье, Прасковья Патаповна? Тятенька с мамынькой все ль подобру-поздорову?

— Слава богу, все здоровы,— молвила Параша.

— А сестрицу-то схоронили? — спросил Самоквасов.

— Схоронили.

— Такая молодая, прекрасная девица была!..— вздохнул Петр Степаныч.— Кому бы и жить, как не ей? — А сам так воззрился на Фленушку, что та хоть

не робкого десятка, а встала и, взяв со стола кулебяку, понесла ее в боковушу.

— Все, кажись, было к ее удовольствию,— продолжал Самоквасов.— И красота, и молодость, и достатки хорошие. Ей ли бы не жить?

— Божия воля,— вяло отозвалась Параша, и вдруг глаза ее оживились. Тихохонько, легонькой походочкой в келью вошел Василий Борисыч, следом за ним ввалилась мать уставщи́ца.

— Садиться милости просим, Василий Борисыч,— молвила Манефа.— А вот к нам еще гости пожаловали. Не наслышан ли про казанских купцов Самоквасовых?

— Как не слыхать, матушка?.. Люди известные! — ответил московский посол.— С Тимофеем Гордеичем мы даже оченно знакомы. Он в Рогожском на собраниях бывал в ту́ пору, как насчет архиерейства соборовали!

— Племянничек будет ему — Петр Степаныч,— молвила Манефа, указывая на Самоквасова.

Петр Степаныч и Василий Борисыч подали друг другу руки, «повитались», говоря по-старинному.

— А этот молодец от саратовского купца, от Ермолая Васильича Панкова. В приказчиках живет у него,— продолжала Манефа, указывая на Семена Петровича.

— Здорово, Семенушка!.. Давно не видались!.. Что?.. Не признал?..— весело обратился к саратовцу Василий Борисыч.

— Аль допрежде были знакомы? — спросила Манефа.

— Еще бы,— ответил Василий Борисыч и, обратясь к саратовцу, молвил: — Все еще не можешь признать?.. А кого ты из воды-то вытащил, как я на салазках с горы в прорубь попал?..

— Васенька!.. Да неужли это ты?.. Ах ты, господи! — вскликнул саратовец.

И друзья детства горячо обнялись и поцеловали друг друга. И отошли к сторонке и стали расспрашивать друг друга про житейские обстоятельства.

— Ну вот и знакомство сыскали,— слегка улыбнувшись, молвила Самоквасову Манефа.

И, наклонясь к нему, вполголоса, указывая взором на Василья Борисыча, промолвила:

— Золото человек, опора древлему благочестию, первый начетчик, рогожский посланник по всем городам.

— Слыхал про него.— сказал Самоквасов.— Тот, что в Белу Криницу за миром ездил?

— Он самый,— подтвердила Манефа. И, быстро обратясь к уставщице: — Вот что, мать Аркадия,— сказала она,— после чаю надобно два канона исправить. Собор — не будем служить. Прикажи клепать в великое древо и в малое... пущай Катерина и в клепало ударит, вся бы обитель в собранье была... Сбирай оба клироса, Марьюшка, петь по статиям, на катавасиях [1] середь часовни обоим клиросам сходиться... Мать Аркадия, во всех бы паникадилах свечи горели. Меду у Виринеи на свежий канун спроси [2].

— Слушаю, матушка,— молвила уставщица и, положив три поклона перед иконами, степенно вышла из кельи. За ней пошла и головщица.

* * *

Когда в Манефиной часовне отпели соборную службу по новопреставленном рабе божием Михаиле и затем нерасходно зачали другой канон за девицу Евдокию, Петр Степаныч Самоквасов не счел нужным молиться за упокой неведомой ему девицы и, заметив, что Фленушки нигде не видно, вздумал иным делом на досуге заняться... Сойдя с паперти, он остановился, окидывая глазами давно знакомые обительские строенья. И видит, что в одном окошечке игуменьиной стаи кто-то махнул беленьким платочком. Вгляделся — Фленушка. Неспешным шагом пошел он на зов.

— Что ты, бесстыжий? Отчего запропастился?.. Ждали на Троицу, приехал к Петрову!.. Нéпуть ты этакой!..

Такими словами встретила Фленушка своего казанца, когда тот вошел в ее горницу.

— Нельзя было, Флена Васильевна,— оправдывался Самоквасов.— Дедушка скончался, никак нельзя было раньше приехать.

— Нельзя, нельзя! — передразнила его Фленушка.— Бить-то тебя некому!.. Женись-ка вот на мне, так я тебе волосы-то повыдергаю да и глаза-то бесстыжие

---

[1] *Катавасиею* (греческое χαταβασις — сход) называются ирмосы, которыми покрываются песни канона. Катавасии в торжественных случаях поются обоими клиросами, которые для того сходятся среди церкви.

[2] *Мед*, поставляемый на аналогий во время пения панихид.

исцарапаю... Женись в самом деле, Петинька!..— шаловливо прибавила она нежным голосом.— Уж я ли б над тобой не потешилась!

— Ты все по-прежнему,— с горьким упреком промолвил Самоквасов.— Право, не знаешь, с какой стороны и подступиться к тебе... И к себе тянешь и тотчас остуду даешь! Не поймешь тебя, Фленушка!.. Который год этак с тобой валандаемся?

— А тебе бы так: облюбовал девку, да и тащи к попу?.. Нет, брат, не на таковску попал... Не такова уродилась я,— звонко захохотала Фленушка.

— По-твоему, хорошо этак томить человека?.. Водишь ты меня третий год... Сама рассуди, хорошо ль это делаешь?..— страстно дрожащим голосом проговорил Самоквасов.

— Да чего тебе от меня надобно? — смеясь и лукаво щуря глаза, спросила Фленушка.

— Сама знаешь чего!.. Не впервóй говорить!..— молящим голосом сказал Самоквасов.— Иссушила ты меня, Фленушка!.. Жизни стал не рад!.. Чего тебе еще?.. Теперь же и колода у меня свалилась — прадед покончился,— теперь у меня свой капитал; из дядиных рук больше не буду смотреть... Согласись же, Фленушка!.. Дорогая моя!.. Ненаглядное мое солнышко!..

Так говорил Самоквасов, ловя руку Фленушки. А она, быстро отдернув ее, строго и внушительно сказала Петру Степанычу:

— Некогда мне теперь с тобой толковать — много надо говорить, а матушка того и гляди придет из часовни... Вечером там будь!.. Знаешь?.. Саратовца приводи... Марьюшка, молви ему, тоже придет.

И, взглянув в окно, увидала, что с высокой часовенной паперти медленно спускается Манефа, а за ней идут матери и белицы, Василий Борисыч и саратовский приказчик. Быстро повернулась Фленушка к Самоквасову и крикнула:

— Убирайся скорей до греха.

— Поцелуй прежде,— молвил он, обнимая Фленушку.

— Я те поцелую ладонью в ухо!..— вскрикнула она, вывертываясь.— Ишь какой лакомый!.. Убирайся, говорят тебе!.. Матушка идет.

И вытолкнула друга милого в шею из своей горницы.

* * *

Матери с белицами по своим местам разошлись, саратовца Василий Борисыч в свою светлицу увел. В келью с Манефой Аркадия да мать Таисея вошли.

— С просьбой до тебя я, матушка, с докукой моей великою!..— умильно, покорно, чуть не со слезами начала мать Таисея.

— Рада служить, чем могу,— ласково, но сдержанно ответила Манефа.— Что в моей мочи, всем тебе, матушка, готова служить.

— Самоквасовы да Панковы исстари благодетели нашей обители,— продолжала Таисея.— И молодцы́ ихние ко мне завсегда въезжают, завсегда у меня гостят... Сама знаю, матушка, что им хоть бы вот у тебя и лучше бы было и спокойнее, да уж ихние старики, дай им господи доброго здравия и души спасения, по своему милосердию к нашему убожеству, велят им у меня останавливаться. Все-таки, матушка, перепадает кое-что на бедность на нашу... Теперича, матушка, оба эти благодетеля, Самоквасов Тимофей Гордеич и Панков Ермолай Васильич, ровно сговорились, читалок на «годовую» просят по ихним покойникам.

— Знаю,— ответила Манефа,— и мне про то они отписывают... Что ж?.. Слава богу. Рада за тебя, мать Таисея. Сотенки четыре, не то и вся полтысяча перепадет; люди они богатые.

— Да вот беда-то моя, матушка, послать-то некого,— жалобно продолжала мать Таисея.—В Саратов еще можно Оленушку справить, в Хвалынске она у Седовых дочитывает... Недели через полторы опростается и сплывет к Ермолаю Васильичу. А в Казань-то некого, да и полно. И оченно опасаюсь я, матушка, не прогневать бы мне Тимофея Гордеича, остуды бы от старинного благодетеля не принять... Сама знаешь, какой привередливый он да уросливый [1]. Пожалуй, еще вскинет на ум, что не хотела угодить ему, не постаралась просьбы его выполнить... Помоги Христа ради, матушка, пособи в великом горе мо-

[1] *Уро́сливый* от уросить — капризный, своенравный. Слово это употребляется в Поволжье, в восточных губерниях и в Сибири. Происходит от татарского урус — русский. Татары своенравных и причудливых людей зовут русскими.

ем, заставь за себя вечно бога молить... Сама рассуди, каково будет мне остудить такого христолюбца... Надо правду говорить, не твои бы, во-первых, милости да не самоквасовские, нашей бы обители пропадо́м пропадать. Вами, матушка, вашими благодеяниями только и держимся.

— Как же помочь-то тебе? — молвила Манефа.— Нешто свою девицу при твоем письме в Казань послать?

— Яви божескую милость, матушка, заставь за себя вечно бога молить,— встав с лавки и низко кланяясь, сказала Таисея.

— Да ты не кланяйся, дело соседское,— молвила Манефа.—Опять же твоя обитель с нашей, сколько ни помню, всегда заодно, всегда мы с тобой в любви да в совете... Как тебе не помочь?.. Только не знаю, послать-то кого.

— Мало ль девиц у тебя, матушка?..— возразила Таисея.

— Мало ль их у меня; да какую можно в Казань послать, таких-то нет,— сказала Манефа.— Ведь это не в Баки́ аль не в Урень [1] к сиволапым мужикам читалку отправить. Самоквасовы люди видные. Опять же в большом городу живут, чуть ли не первые купцы по Казани... Захотели бы простенькую канонницу взять, с Татарского мосту из Коровинской [2] взяли бы. Надо послать к ним умелую, чтобы в грязь лицом не ударила, не осрамила бы нашего Керженца... А таких теперь нет у меня ни единой... Какие были — все разосланы.

— Да хоть не больно бы мудрящую,— жалобно молила Таисея.

— Нельзя, матушка,— перебила Манефа.— Никак нельзя плохую послать к Самоквасовым. Девиц у меня теперь хоть и много, да ихнее дело гряды копать да воду носить. Таких нельзя к Самоквасовым.

— Ах ты, господи, господи! — пуще прежнего горевала Таисея.— Что тут делать?.. Матушка!.. Подумай — ведь это чуть не четвертая доля всего нашего доходу!.. Надо будет совсем разориться!.. Помилуй ты нас, ма-

---

[1] Большие удельные села в захолустье Варнавинского уезда.

[2] *Коровинская* — поповщинская часовня в Казани на Булаке у Татарского моста. До обращения в единоверческую церковь была монастырьком.

тушка, помилосердуй ради царя небесного... Как бог, так и ты.

И с этими словами игуменья славной в старые годы княжеской обители повалилась со слезами в ноги Манефе Чапуриной.

— Встань, матушка, встань,— строго и внушительно молвила ей Манефа.— Не пригожее дело затеяла... Мы с тобой во едином чину... Как же тебе великим обычаем мне поклоняться?.. Преданию противно, мать Таисея.

— Не я поклоняюсь, нужда кланяется,— поднимаясь, сказала в слезах мать Таисея.— Пособи ты мне... Ради царя небесного пособи беде нашей, матушка!..

— Сядь, спокойся. Дай срок, подумаю,— молвила Манефа.

— Торопит больно Тимофей-от Гордеич... Крепко-на́крепко наказывает, нимало б я не медлила, то́тчас бы читалку к нему отправляла... Ума не приложу... Яви милость, матушка!.. Реши скорее,— сдерживая рыданья, униженно молила Таисея.

— Спокойся,— сказала Манефа,— спокойся теперь. Завтрашнего дня ответ тебе дам... Часы [1] отправишь, ко мне забреди. А послезавтра праздник у нас и собранье — милости просим попраздновать: со всеми матерями приходи и белицы чтоб все приходили... А на завтра вышли ко мне, матушка, трудниц своих с пяток — в келарне бы полы подмыли да кой-где по кельям у стариц... Свои-то в разгоне по случаю праздника, все за работами... Так уж ты мне пособи.

— Слушаю, матушка, беспременно пришлю,— отирая глаза свернутым в клубок синим бумажным платком, с низким поклоном ответила Таисея.— Как часы отправим, так и пришлю.

— А как же у нас насчет ряды будет? — вдруг спросила Манефа.— Канонницу сыщу, коли бог поможет. А как же насчет ряды-то?

— Все во власти твоей, матушка,— униженно молвила Таисея.

— Обижать не стану и своего не упущу,— сказала Манефа.— Как было тогда, как Глафиру покойницу за твою обитель в Кострому я отпущала, так и теперича быть: о́тправка твоя, обратный путь твой же... Из зажи-

[1] Утренняя служба, вместо обедни.

лого половина тебе, половина на нашу обитель... Шубу тебе справлять, сарафаны, передники, рубахи мои... Насчет обуви пополам... А что подарков девице от Самоквасовых будет, то ей,— в эти дела я не вступаюсь. Согласна ли так?

— Согласна, матушка, девицу только приищи господа ради,— сказала Таисея.— Угодить надо, сама посуди!..

— Ладно, ладно, будет исправлено,— отвечала Манефа.— Заходи же завтра после часов — будет готово... Я уж придумала...

Радостно блеснули большие голубые, добротой сиявшие и когда-то во время оно многих мо́лодцев сокрушавшие очи Таисеи. Улыбка озарила сморщенное, померкшее от лет крохотное личико игуменьи. Низко поклонясь Манефе, сказала она ясным голосом:

— Оживила ты меня, матушка... Бог воздаст тебе, родная, за любовь твою...

И чин чином совершили игуменьи прощение: простились друг у друга, благословились и поликовались. А провожая соседку, Манефа на келейном пороге напомнила ей:

— Пришли же, не забудь, трудниц-то. Да пораньше бы приходили... Дресвы на мытье полов у меня, кажись, мало, с собой бы захватили. Да окошки еще надо помыть, лестницы... Матушка Аркадия все им укажет... Прощай, мать Таисея. Спаси тебя Христос царь небесный!..

И, проводивши соседку, Манефа обратилась к своей уставщице:

— Похлопочи бога ради, Аркадьюшка, чтобы праздник нам справить во всем хорошохонько. Совсем я эти дни без рук была — Таифы нет, тебя нет, Марьюшки нет, ни по часовне, ни по хозяйству никакого дела поручить некому... Уж мы все больше с Виринеюшкой хлопотали, насчет трапезы... Слава богу по̀ этой части все, кажется, управили. И сытно будет и довольно всего... Что-то из города работник долго не едет — за вином вечор послала его да за ренским... Шутка ль, что народу наберется... А пива и браги две сорокоуши без тебя слили — надо думать достанет... Бог милостив, перед людьми не ославимся... Пущай дальние и ближние гости поглядят на наше строительство, посмотрят, каково умеем хозяйствовать... Это все управлено, а насчет часовни да службы твое дело, мать Аркадия!.. Уж ты, пожалуй-

ста, похлопочи, постарайся!.. Вечор белицы часовню подмыли, подсвечники, паникадила мелом почистили и ризы на иконах... Да верчены больно, пожалуй, чего не доглядели — так ты догляди, исправь что̀ надобно... А осло̀пные свечи из Таифиной кельи возьми... Чтоб на вечерне, и на утрене, и в самый праздник за часами каждый раз новые свечи зажигались... А за огарками приглядывай, сама своими руками сбирай да ко мне приноси, не то наши баловницы половину на причуды свои растащут... А местные иконы кисеями да лентами убрать — как на Пасху да на Троицу... А петь знаменным напевом... Завтра надо будет Василью Борисычу покучиться, попел бы с девицами-то маленько.

— А на поклон котору икону апостолов ставить? Часовенну? Аль свою келейную выдашь? — спросила Аркадия.

— Келейную выдам, пригляднее будет,— молвила Манефа.— С Фленушкой завтра пришлю, только уж ты побереги ее ради господа, жемчуг-то не осыпался бы, древня уж больно икона-то... Ну, управляйся же, матушка, с богом. Пособи тебе господи. Покуда прощай, а пойдешь — кликни ко мне Виринею.

Сотворив уставные метанья и благословясь у игуменьи, мать Аркадия вышла.

* * *

Немного спустя поспешно и весело влетела в келью мать Виринея.

— Едут, матушка, едут! — с обычным простодушием проворно она закричала.

— А тебе бы, мать, лоб-от прежде окстить да про̀щу принять от игуменьи, а потом бы уж о чем надо и доложиться,— строго молвила Манефа, сверкнув на нее гневными очами.— Не молоденькая, не первый год живешь в обители... Можно разве устав порушать?.. Можно разве преставлять старые обычаи?.. Дела много теперь у тебя, а то постояла б ты у меня на поклонах... Да знай наперед: праздник минет, нарушения чина я не забуду — поклоны за тобой!.. Для молодых нет того лучше примера, как старых матерей за провинности строго началить.

Выслушав гневное слово игуменьи, мать Виринея все сотворила по чину: нача̀л положила и с земными покло-

нами простилась у игуменьи и благословилась. И когда обряд, как следует, отправила, Манефа спросила ее:

— Кто ж там едет?

— Романушка с вином йз городу едет,— ответила Виринея,— Каменный Вражек проехал.

— Чему старая обрадовалась! — с упреком и легкой усмешкой сказала Манефа.— Я уж думала, не из гостей ли кто... Вот одолжили бы!.. Спозаранок-то... Теперь пока не до них.

— А едет с ним, матушка, неведомо какой человек,— продолжала Виринея.— Слепа стала, вдаль не доглядела... А кто-то чужой на возу сидит.

— Кому ж это быть? — равнодушно молвила Манефа и начала хозяйские расспросы.— Много ль пирогов напекла? — спросила она Виринею.

— Двенадцать с тельным [1], девять с вязигой да с малосольной белужиной, с молòками да с жирами,— ответила Виринея.

— Маловато!.. Коль и завтра столь же спечешь, вряд ли на всех пришлых христолюбцев после вина на закуску достанет.

— Хватит, матушка, не тысячи же их нагрянут,— успокоивала игуменью мать Виринея.

— Погляди, чтò навалит!..— усмехнулась Манефа.— Охочи до сладкого куса, оравой нагрянут... Как можно больше пеки пирогов.

— Власть твоя, матушка, а печку не раздвинешь... Больше того нельзя напечи,— разводя руками и слегка склоняя голову, ответила мать Виринея.

— Спосылай завтра приспешницу к Бояркиным, пущай у них пироги допекают. К Рассохиным тоже пошли, только бы там в оба глядели — народ продувной — разом припасы растащут. У Жжениных завтра на холодное рыбу варить, а в самый день праздника сазанов да лещей с яйцами жарить... Хворосты [2] можно бы завтра дома испечь... Успеешь?

---

[1] Фарш из свежей частиковой (то есть не красной) рыбы, преимущественно из судака или щуки.

[2] Старинное пирожное, постоянно бывавшее за царскими столами. Это пряженое на масле печенье, приготовленное в «сушь», на него кладут варенье. Хворосты и теперь употребляются в среднем классе горожан и у богатых крестьян. В скитах — самое любимое пирожное.

— Успею, матушка, бог милостив, управлюсь,— сказала мать Виринея.

— Знатные гости на празднике будут, надо, чтоб все по-хорошему было: Смолокуров Марко Данилыч с Дунюшкой приедет, Патап Максимыч обещался, Самоквасова племянник здесь... Опять же матери со всех обителей наедут — согласные и несогласные... Угощенье тут первое дело, надо, чтоб видели все наше строительство, все бы хозяйственность нашу ценили... Варенцов много ли?

— Тридцать два варенца, матушка. По моему расчету на почетны столы за глаза хватит,— сказала мать Виринея.— Пришлым столы на дворе, чай, будут?.. Не обносить же их варенцами.

— Известное дело,— согласилась Манефа.— Не по ихним губам сладки кушанья... Им в перву перемену свекольник с коренной рыбой. Изведи смолокуровские пересеки, что прошлым годом прислал. Что рыба-то?.. Не попортилась?

— Доспела, матушка, совсем доспела, pованивает,—молвила Виринея.

— Как же быть-то? — призадумалась Манефа.

— А ничего, матушка, сварим,— отозвалась опытная мать Виринея.— Сопрут да после еще не нахвалятся... Любит ведь у нас мужичок доспелую рыбку, она ему слаще непорченной...

— Опять же надо и погреб очистить,— заметила Манефа.— Марко Данилыч шлет новы кормы... Скорми в самом деле старенькое-то без остали...

— Сазан там еще соленый от прошлого года остался, чуть ли полпересека не наберется. Больно дух пустил, матушка,— молвила Виринея.

— И его скорми,— решила Манефа.— Надо ж погреб очистить. На втору перемену его на двор и подай.

— Слушаю, матушка,— сказала Виринея.— А из горячего что на двор-от прикажешь?

— Похлебку с картофелем да со свеклой, рыбешки какой ни на есть подбавь, головизны,— приказывала Манефа.— Скоро новый овощ поспеет, старый тоже пора изводить.

— Изведем, матушка, не беспокойся,— молвила Ви-

ринея.— Бог милостив — все изведем. А из мисинного[1] что на двор укажешь?

— Разве оладьи с медом да пряженцы с яйцами?.. Яиц-то довольно у нас? — спросила Манефа.

— Вдоволь, матушка, вдоволь. Этого добра очценно даже довольно,— отвечала Виринея.

— Так спеки пряженцы на двор-от,— решила Манефа.— Да яйца-то хорошенько разглядывай на огонь... Которые залежались — на двор, а свеженькие в келарню почетным гостям... Стерляди что... Играют?

— Троичка уснула, матушка, к завтрему, пожалуй, еще две уснут.

— Эх ты, старая!.. Не смогла уберечь!.. Воду бы чаще меняла,— недовольным голосом проговорила Манефа.

— Как воду не менять, матушка? Слава богу не впервые. По три да по четыре раза на день меняла. Сама знаешь, какова у нас водица-то... Болотная, иловая, как в ней такой рыбине жить?..— оправдывалась Виринея.

— Угораздило Федора Андреича таково рано стерлядей прислать! — молвила Манефа.— А тот пяток? Большие-то что на развар готовлены?.. Плавают?

— Живы, матушка, живы-живехоньки, одна только что-то задумалась,— сказала Виринея.

— Поблюди их, Виринеюшка, ледку, что ли, тай да в ледовую воду сажай... А из середних стерлядей большим гостям чтоб уха вышла хорошая. Из налимов-то печенки ты бы вынула да на лед.

— Сделано, матушка, сделано. Не беспокойся, уха выйдет знатная,— сказала Виринея.

— Постарайся, Виринеюшка, ради господа постарайся... Сама ведаешь, какой день станем праздновать... Опять же собрание и почетные гости... Постарайся ради почести нашей обители... У Аркадьюшки по службе все будет как следует, не осрами и ты нас, пожалуйста... Трапезными учреждениями слава обители перед людьми высится больше, чем божественной службой... Так уж ты постарайся, покажи гостям наше домоводство... Слава бы про нашу обитель чем не умалилась. Потерьки бы какой нашей чести не случилось!..

— Постараюсь, матушка,— ответила Виринея.— Не

---

[1] *Мисинное* — старинное название пирожных, подаваемых не на блюдах, а в чашах, в мисах.

впервой!.. Только бы мне на подмогу двух-трех девиц еще надобно,— промолвила она.

— Возьми кого знаешь, хоть всех бери — дело твое,— сказала Манефа.— Да начàль их хорошенько, чтоб не очень ротозейничали. Не то, до меня не доведя, в погреб на лед озорниц сажай... Ну, прощай, Виринеюшка, не держу тебя, ступай к своим делам, управляйся с богом, помогай тебе господи!

Положила Виринея семипоклонный начàл, сотворила метания, простилась, благословилась и пошла вон из кельи игуменьиной.

* * *

Вошла мать Манефа в свою боковушку, взяла с полочки молоток и три раза ударила им по стене. Та стена отделяла ее жилье от Фленушкиных горниц. Не замедлила Фленушка явиться на условный зов игуменьи.

— Меня стучала, матушка? — спросила она.

— Тебя,— сказала Манефа.— Садись-ка... Надо мне с тобой посоветовать.

Села Фленушка. Степенный, думчивый вид на себя приняла. Не узнать первую заводчицу на всякие вольности, не узнать шаловливую баловницу строгой игуменьи, не узнать разудалую белицу, от нее же во святей обители чуть не каждый день сыр-бор загорается.

— Мать Таисея девицу на «годовую» просит,— сказала Манефа.— Самоквасов да Панков читалок требуют... А послать в Казань от Бояркиных некого... Хочется мне успокоить Таисеюшку — старица добрая, во всем с нами согласная. Опять же и покорна всегда, что ни велишь, безответно все делает... Думаю нашу белицу в Казань послать за Бояркиных. Да вот не могу придумать, кого бы... Умелую надо, хорошую, устав бы знала и всякую службу справить могла, к тому ж не вертячка была бы, умела бы жить в хорошем дому... Толстопятую деревенщину к Самоквасовым отправить нельзя. Надо, чтоб и за псалтырью горазда была, и ходила бы чистенько, и за столом бы, что ли, аль на беседе умела разговоры водить, не клала бы глупыми речами покора на нашу обитель... Кого присоветуешь?..

— Мало разве девиц у нас, матушка? —молвила Фленушка.— Поле не клином сошлось... Есть бы, кажется, из кого выбрать.

— Слышала, какую надо? — сказала Манефа.— У Самоквасовых дом первостатейный, опять же они наши благодетели, худую послать к ним никак невозможно. Хоть посылка будет от Бояркиных, а все-таки Самоквасовы будут знать, что канонница послана из нашей обители.

— Кажется, как бы не найти,— молвила Фленушка.

— Анафролию послать, так ей до весны у братца по Насте псалтырь стоять,— раздумывала мать Манефа.— Серафима, грешным делом, в последнее время запивать стала, к Рассохиным повадилась, с матушкой Досифеей чуть не каждый божий день куликают... Дарью, так в Шуе у Легостевых тетка на ладан дышит, а к ним, опричь Дарьи, послать некого, сродница им... У Татьяны ветер в голове — эту никак невозможно, как раз осрамит обитель. Там сыновья, да племянник, да приказчики молодые, а Татьянушка, не в осужденье будь сказано, слабенька на этот счет... Пожалуй, нàвек положит остуду от Тимофея Гордеича... Евдокеюшку послать — Виринеюшки жаль: восемь годов она сряду в читалках жила, много пользы принесла обители, и матушке Виринее я святое обещанье дала, что на дальнюю службу племянницу ее больше не потребую... И что там ни будь, а старого друга, добрую мою старушку, мать Виринею, не оскорблю... Другие плохи больно, и устава не знают и читать даже не бойки... Не послать — Таисею обидеть, а Бояркины мне во всем правая рука. Опять же покорны во всем — как хочу, так у них и начальствую... Плохенькую послать — на обитель не то что от одних Самоквасовых, ото всей Казани сраму принять... Кого ж послать?.. Как ты думаешь?

— Разве матушку Софию? — чуть слышно проговорила Фленушка.

— Ее не пошлю,— решительно сказала Манефа.— Из кельи ее устранила, ключи отобрала. Сама знаешь, что не зря таково поступила... Теперь, коли в чужи люди ее послать, совсем, значит, на смертную злобу ее навесть... Опять же и то, в непорядки пустилась на старости лет... Как вы на Китеж ездили, так накурилась, что водой отливали... Нет, Софью нельзя, осрамит в чужих людях нашу обитель вконец... Язык же бритва...

— Так ин Марьюшку? — лукаво кинула словечко свое хитрая Фленушка.

— В уме ль ты, Фленушка?..— с жаром возразила Манефа.— Точно не знаешь, что пение Марьей только у нас и держится?.. Отпусти я ее, такое пойдет козлогласование, что зажми уши да бегом из часовни... А наша обитель пением и уставной службой славится... Нет, Марью нельзя, и думать о том нечего...

— Разве Устинью? — как бы опять невзначай бросила словечко Фленушка.

— Привыкла я к ней, Фленушка, невдолге ходит за мной, а уж так я к ней приобыкла, так приобыкла, что без нее мне оченно будет трудно,— понизив голос, сказала Манефа.— За мной-то кому же ходить?.. А Софью опять в ключи не возьму... Нет, нет, ни за какие блага!.. Опротивела!.. Не видать бы мне скаредных глаз ее.

— По-моему, кроме Устиньи, выбрать некого,— молвила Фленушка.

Промолчала Манефа.

— Живала она в хороших людях, в Москве,— слово за словом роняла Фленушка.— Лучше ее никто из наших девиц купеческих порядков не знает... За тобой ходить, говоришь, некому — так я-то у тебя на что?.. От кого лучше уход увидишь?.. Я бы всей душой рада была... Иной раз чем бы и не угодила, ты бы своею любовью покрыла.

— Куда тебе!.. Какая ты уходчица? — ясным взором глядя на Фленушку, тихо проговорила Манефа.— Не сладить тебе!.. В неделю стоскуешься... Стара ведь я, опять же болезни мои... Нет, куда уж тебе справиться!

— За тобой-то ходить стоскуюсь я, матушка? — с живостью вскликнула Фленушка, и слезы, искренние слезы послышались в ее голосе.— За что ж ты меня таково обижаешь?.. Да я ради тебя не то что спокой, жизнь готова отдать... Ах, матушка, матушка!.. Не знаешь ты, что одна только ты завсегда во всех моих помышлениях... Тебя не станет — во гроб мне ложиться!..

И крупные слезы выступили из горевших очей Фленушки, и, порывисто рыдая, припала она пылающим лицом к плечу Манефы.

— Полно, а ты полно, Фленушка!.. Полно, моя дорогая!..— взволнованным донельзя голосом уговаривала ее сама до слез растроганная Манефа.— Ну что это тебе запало в головоньку!.. Верю, моя ластушка, верю, голу-

бушка, что любишь меня... А мне-то как не любить тебя!.. Ох, Фленушка, Фленушка!.. Знала бы ты да ведала!..

И спохватившись, что молвила лишнее, сдержанным голосом прибавила:

— Как бы знала ты, каково мне на твои слезы глядеть!.. Ни день, ни ночь с ума ты у меня нейдешь!.. Что̀ в самом деле с тобой станется, как вживе не будет меня!..

Сильней и сильней рыдала Фленушка на плече Манефы, крепче и крепче прижимала к себе игуменья ее голову.

— Ин вот как сделаем,— подумавши немного, ласково и тихо сказала Манефа.— Ходи в самом деле за мной, а Устинью в Казань пошлем... Она же дурь с чего-то стала на себя напускать... Покаместь вы богу молиться ездили, девка совсем обезумела, что ни скажешь ей, либо не слышит, либо ответит неподходящее. Грубить даже стала... Давеча перед тобой какое слово смела сказать!.. Да еще, выходя из кельи, дверью хлопнула... Совсем избаловалась!.. Только уж я к тебе, Фленушка, хочешь не хочешь, помощницу приставлю. Одной тебе со мной не управиться... Ты же привыкла поздно вставать, а я ранняя птичка, летом с солнышком, зимой со вторыми кочетами встаю.

— Кого же? Марьюшку? — быстро вскинув смеющимися глазами, спросила Фленушка.

— Нет... Келейничать и клиросом править Марью успех не возьмет,— сказала Манефа.— Попрошу Виринеюшку, отдала бы мне в келейницы свою Евдокею. Ты в ключах будешь, а она в келье прибирать да за мной ходить.

— И самое бы хорошее дело, матушка,— улыбаясь не то лукаво, не то весело, молвила Фленушка.—Эка подумаешь, каким тебя господь разумом-то одарил!.. Какая ты по домоводству-то искусная!.. Любую из матерей возьми — целу бы неделю продумала, как бы уладить, а ты гляди-ка, матушка, только вздумала, и как раз делу свершенье!.. Дивиться надо тебе!..

— Так вот что,— слегка улыбнувшись, перебила Манефа.— Так делу быть: Евдокею ко мне в келью, Устинью в дорогу... На другой день праздника мы ее и отправим.

— С Петром Степанычем, что ли, пошлешь? — глядя в окошко, спросила игуменью Фленушка.

— Одну надо будет отправить,— ответила Манефа.— Дементий дȍ городу довезет и там на пароход ее посадит... А Петру Степанычу отсюдова в Рыбинск надобно... Да и как с ним одну девицу послать? Нельзя, осудить могут... Хоть ничего и не случится, а все-таки слава на обитель пойдет... Да вот еще что, сбери-ка ты все работы, какие у вас есть наготове: бисерные, канвовые, золотошвейные... Надо Самоквасовым выбрать и Панкову, да вот еще Марко Данилыч с дочкой приедут, их тоже надо будет дарить... Да покаместь ни Устинье, ни другому кому не сказывай, про что мы с тобой говорили... Отведя праздник, вдруг распорядимся — меньше бы разговоров было да пересудов.

Скромно вышла Фленушка из Манефиной кельи, степенно прошла по сенным переходам. Но только что завернула зá угол, как припустит что есть мочи и летом влетела в свою горницу. Там у окна, пригорюнясь, сидела Марья головщица.

Подперла Фленушка бок левой рукой, звонко защелкала пальцами правой и пошла плясать перед Марьюшкой, весело припевая:

Таки выпросила,
Таки выпросила!
Ой ты, любчик, голубчик ты мой,
Ты сухой ли, немазаный мой,
Полюби-ка меня, девушку!
Хочешь любишь, хочешь нет —
Ни копейки денег нет!
Таки выпросила,
Таки выпросила!

И, схватив Марьюшку зȁ плечи, стала ее тормошить что есть мочи.

— Устюшку в Казань! — вскрикнула она.— Не будет помехи... Состряпаем свадьбу уходом!..

— Взбеленилась, что ль ты, бешеная?..— сказала головщица.— Услышать ведь могут!

— А пусть их слышат! Наплевать! — крикнула Фленушка.

И, подсев к Марьюшке, стала шептать ей на ухо:

— Наших-то кстати сюда принесло... Я их за бока... Завтра ж пусть едут к попу уговариваться... Нам с то-

бой в скиту век свековать — так хоть на чужую свадебку полюбуемся!.. Аль не свенчать ли заодно и тебя с черномазым саратовцем?

— Полно городить-то! — с кислой улыбкой промолвила Марьюшка и отвернулась к окну.

— А ты полно губу-то кверху драть!.. Слушай, да ни гу-гу — слова не вырони...— говорила Фленушка.— Устинью на другой день праздника в Казань. Васенька в Шарпан не поедет — велим захворать ему, Параша тоже дома останется... Только матушка со двора, мы их к попу... Пируй, Маруха!..

Загуляем, закурим,
Запируем, закутим!

— Задаст вам пиры Патап-от Максимыч! — ворчала Марьюшка.— У него запляшешь!

— А плевать мне на твоего Патапа!..— вскрикнула Фленушка, и страстной отвагой заискрились глаза ее.— Хоть голову с плеч, только б себя потешить!.. Что в самом деле?.. Живешь тут, живешь, киснешь, что опара в квашне... Удали места нет!.. Разгуляться не над чем!.. Самой счастья ввек не достанется, на чужое хочу поглядеть!.. Эх, Марьюшка, Марьюшка, не кровь в тебе ходит, сыворотка!..

— А матушка-то что скажет? — холодно промолвила головщица.— Ведь Параша-то племянница ей, поближе нас с тобой.

— Поближе!.. Да, поближе!..— задумалась Фленушка.— Точно!.. Огорчит это матушку!..

И замолкла Фленушка... Села у стола и, опершись на него локтем, склонила голову.

— То-то, Флена Васильевна,— молвила Марьюшка.— Скора-то ты скора, ровно блоха скачешь, а тут и язычок прикусила... Подумай-ка, что будет тогда, как матушка про твои проказы проведает... А?

— А ничего! — с места вскочив, залихватски вскрикнула Фленушка.— Зачем ей знать?.. Не мы в ответе!.. Не мы к попу поедем, не мы и в церковь повезем!.. А сегодня вечерком туда!.. Знаешь?.. Наши приедут...

Раздались в стене три удара молотком.

— Матушка! — вскликнула Фленушка и стремглав кинулась из горницы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Когда Фленушка вошла в игуменьину келью, Манефа сидела с письмом в руках. Другое, распечатанное, лежало на столе.

— На-ка, Фленушка, садись да читай, голубка,— сказала Манефа, подавая ей письмо.— От Таифушки из Питера. Да пишет, ровно бисером нижет, мне не по глазам.

Взяла письмо Фленушка.

— Осмушников Семен Иваныч из городу прислал,— продолжала Манефа.— Романушка к празднику за вином туда ездил, так с ним Семен-от Иваныч нарочно ко мне прислал... Письмо страховое... Таифушка особо писала Семену Иванычу, чтоб то письмо сколь возможно скорее с верным человеком до меня дослать. Полагаю, что письмо не пустяшное... Таифушка зря ничего не делает... Читай-ка...

Фленушка стала читать:

— «Господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас. Аминь. Радостей райских и преблаженныя жизни в горних искательнице, святопочивших, славных и добропобедных...»

— Прекрати,— молвила Манефа,— прокинь похвалы... С дела начинай.

Фленушка долго искала конца «похвалам», произнося иные вполголоса:

— «Опасной хранительнице... ангельских сил... незыблемому адаманту... пречестной матушке...»

Манефа слегка хмурилась, но ничем другим не изъявила нетерпенья, что сильно овладело ею... Не в обычае выражать его хоть бы и самому близкому человеку...

А Фленушка все ищет конца «похвалам»... Насилу в самом конце первой страницы добралась до дела.

— «И приехавши в царствующий и первопрестольный град Москву, не доезжая заставы, пристала я, матушка, у известного вам христолюбца Сергея Митрофаныча, а от него, нимало не медля, отправилась на Рогожское и у матушки Пульхерии удостоилась быть... Зело вам, матушка, она кланяется и весьма советует принять владимирского архиепископа. А он уж и поставлен от митрополита. Был прежде казначеем на Преображенском Андрей Ларивоныч, по прозванию Шутов, ленточ-

ного цеха цеховой, а ныне божиею милостью архиепископ Антоний владимирский и всея России...»

— На Преображенском!.. Беспоповец!..— сумрачно промолвила Манефа и потом, едва заметно усмехнувшись, процедила сквозь зубы: — «Всея России»... Ровно святейший патриарх!.. Ох, затейщики московские!..

Заметив, что Фленушка приостановилась, Манефа сухо ей молвила:

— Вычитывай дальше, вычитывай!..

Фленушка продолжала:

— «А была я, матушка, у пречестного отца Иоанна Матвеевича, и он, скорбен сый и кончине близяся, таковое ж заповедал: прияти власть духовную преосвященного архиепископа Антония...»

— Преосвященного! — чуть слышно промолвила Манефа.— Дальше читай,— громко сказала она.

— «И по всем хорошим и богатым домам его весьма похваляют, и всей Москве то архипастырство приятно. А насчет нашей святыни, что ты мне препоручила,— всю ее в Москве до безмятежных времен на хранение предала: строгановских письм иконы да книг, филаретовский «Требник», «Маргарит» острожский, «Апостол» московский первопечатный...»

— Читай, кому отдала. Перечень после прочтешь,— сказала Манефа.

— «Петру Спиридонычу,— прокинув несколько строк, продолжала Фленушка,— а кресты с мощами Одигитрию, остальные книги печатные и харатейные, пятнадцать счетом, Гусевым. И говорили они, что почли бы за великое божие благословение, если б из Шарпана на гонительное время к ним Казанску владычицу прислали, пуще бы зеницы стали беречь ее и жизни б скорее лишились, чем на такое многоценное сокровище еретическому глазу на един миг дали взглянуть. А еще уведомляю вас, матушка, что по всей Москве древлеправославные христиане весьма прискорбны остаются при находящих на жительство наше напастех и весьма опасны разорения старинных наших святых мест... А приехавши в Питер, прямо к Дмитриеву каретнику прошла. Живет от машины неподалеку, и в тот же день вместе с ним к Дрябиным ездила, а вчерашний день, в пятницу сиречь, к Громовым на дачу ездила... И сведала я от них, матушка, для нашего жительства вести неполезные —

вышло строгое приказанье: все наши обители порешить беспременно. И теперь в нашу пользу никто ничего сказать не может, ни за какие миллионы. Василий Федулыч Громов так и сказал: «Если б, говорит, таковых, как я, пятьдесят тысяч человек все свои имения отдали, чтоб тому делу препятствовать, и то бы, говорит, ничего не поделали». А указ, сказывали, вышел такой же, как по Иргизу был: всех по ревизии к скитам неприписанных выслать по ихним местам и оттоль не выпускать никуда до скончанья их веку... Часовни и моленныя велено порушить, а хозяйства отнюдь не нарушать. Значит, и кельи и все имущество, какое в них,— вольны будем взять с собой, кому куда следует по закону. Потому и думаю я, матушка, что не довлеет нам зело сокрушаться; наше при нас же останется... За сим, припадая к честным стопам вашим и прося святых молитв пред господом...»

— Конец, что ли? — спросила Манефа.

— Конец,— ответила Фленушка.

— Прекрати,— сказала Манефа. Быстро встала с места, выпрямила стан и, закинув назад руки, начала ходить взад и вперед по келье.

— Возьми бумагу,— сказала Фленушке.

Та вышла и воротилась с бумагой. Стала Манефа ей сказывать, что писать.

К Таифе писано, чтоб в Петербурге не засиживалась, кончала б дела скорее и ехала домой, чтоб быть в обители, когда указ будет объявлен. «Сама знаю,— писала Фленушка со слов Манефы,— что от выгонки хозяйству ни малой расстройки не будет потому больше, что един от благодетелей пожаловал тысячу двести целковых на покупку в городе четырех дворовых мест. На мимошедшей неделе Полуехт Семеныч места совсем приторговал, и я дён через десять поеду в город купчие крепости совершать. А если позволено будет строенье перевезти в город, то за перевозку и плотникам за работу тот же благодетель заплатить обещался. Стало, большого убытку нам не будет, пространной жизни только лишимся: часовенной службы не станет, и канонниц нельзя будет по городам рассылать... Делать нечего... келейно господу помолимся, убытку от того не будет, а еще свечей да ладану изойдет меньше, а в канонницы для рассылок можно будет свежих набрать, которы в списке не значатся; тем вольный ход, куда хочешь... Выгонка та меня

нимало не смущает, одно только жаль — с местом расставаться... Сколько годов на нем жили: и горести и радости видели, к каждой травоньке привыкли, думали тут и жизнь скончать... Сама посуди, мать Таифа, каково мне будет, когда придется отсель уезжать?.. При моем-то хилом здоровье, при моих-то недугах!.. Бога ради, матушка, все покидай, приезжай только скорее. Немало у нас в обители и верных людей и надежных, да умных маловато, а домовитых да по хозяйству искусных, опричь тебя, кого назвать?.. В столь прискорбное время без тебя как без рук буду!.. Ради господа и пресвятой владычицы богородицы приезжай поскорее... А у Громовых да у Дрябиных покучься хорошенько, пособили бы нам ради выгонки, а мы вечные их богомолицы...»

* * *

По́д вечер, только что солнышко спряталось за окрайну леса, что чернее по закраю неба вкруг Комарова, только что поляны возле перелесков белыми волнами вечернего тумана подернулись, Фленушка с Марьюшкой, осторожно выйдя за околицу и сто́рожко озираясь во все стороны, тихо спустились в Каменный Вражек. Там уж сидели казанец с саратовцем.

— Что?.. Соловушков слушать?..— весело молвила Фленушка, и беззаботно-веселый смех ее звонко раздался по Вражку.— Опоздали, мо́лодцы, смолкли соловушки, Петров день на дворе... Послушать песенок хотите, слушайте, как лягушки квакают... Чу!.. как дергач трещит...

— Девичьи речи слаще птичьего щебета! Веселей соловьиного пенья голосок ненаглядной красотки! — с улыбкой промолвил молодой Самоквасов, идя навстречу к ней.

— Наскажешь турус на колесах!.. Только послушай тебя!..— с небрежной улыбкой ответила Фленушка.

— Верное слово! — воскликнул на то Самоквасов, ровным, медленным шагом отходя с Фленушкой к ближнему перелеску.

— Так я и поверила! — отворачиваясь от него, с лукавой улыбкой молвила Фленушка.— И думать-то, чай, про меня позабыл!

— Что ты?.. Что ты, Фленушка?.. Какое ты слово сказала!.. Ножом ровно резнула!.. Хороша встреча после целого года, неча сказать!..— непритворно волнуясь, говорил Самоквасов.

— Нечего Лазаря-то петь!..— перебила его Фленушка.— Как есть настоящий казанский сирота!.. Нет, друг любезный, меня не разжалобишь!.. Насквозь вижу бесстыжую твою душу! Все твои мысли у меня на ладони!.. Отчего долго не ехал?.. Зачем вестей не присылал?

— Дела такие подошли,— ответил Петр Степаныч.— Только что вскрылась Волга — в Астрахань дядя послал; воротился, дедушка помер.

— Наперед, беспутный, знаю все твои отговорки,— промолвила Фленушка.

Под эти слова вошли они в перелесок. Там укрылись в молодом частом ельнике да в кудрявых кустах можжевеловых. Остановилась Фленушка, вспыхнули очи, заискрились, заревом покрылись щеки, и улыбка в лице просияла. Закинув слегка голову, широко распахнула руками и тихо промолвила:

— Здравствуй теперь!

Ринулся мо́лодец на высокую грудь... И долго и горячо сжимали они друг друга в объятьях... Долгий поцелуй ровно спаял распаленные страстью уста.

Сели на лужок меж кустами. Самоквасов держал Фленушку за руку. Оба молчали.

— А где ж колечко-то? — спросил он, оглядывая Фленушкины пальцы.

— В сундуке,— равнодушно она отвечала.

— На то разве дарено̀, чтоб в сундуке ему лежать? — укорил ее Самоквасов.

— Ай, ай, парень! — ото всей души расхохоталась Фленушка.— Немного ж у тебя под шапкой мозгу-то... Да!.. Где ж это видано, где это слыхано, чтоб скитски девицы перстни да кольцы на пальцах носили?..

— А для че не носить? — возразил Петр Степаныч.— Чаще бы взглядывала, чаще б дружка вспоминала.

— Ловок ты, парень! — задушевным смехом хохотала Фленушка.— Забыл, что мы Христовы невесты?.. Как же твое по́даренье мне на руку вздеть?.. Проходу не будет... Матушку тем огорчу.

— Эка важность! — усмехнулся Петр Степаныч.

— Нет, брат, шалишь! — немного брови нахмурив, молвила Фленушка.— Семеро будь таких, и тогда из-за вас не вздумаю огорчать свою матушку.

— А много ль нас у тебя? — громко смеясь, спросил Самоквасов.— Ну-ка, скажи, не утай.

— Много будешь знать, скоро состаришься,— закинув голову и прищурив насмешливо глаза, ответила Фленушка.

— Ну, скажи по правде... Чего тут?.. Да скажи же!..— приставал Самоквасов.

— Сто,— отрезала Фленушка.

— Что больно много?

— Что за много? У вашего брата и больше бывает,— смеялась Фленушка.

— Так мы мужчины,— сказал ей Петр Степаныч.

— А мы девки! — усмехнулась Фленушка, смело глядя в глаза Самоквасову.

— Ну, уж девка!.. Зелье ты, а не девка!..— проговорил он, страстно глядя на Фленушку.

— Какова уродилась!..— охорашиваясь, молвила Фленушка.— Вся перед тобой, какая есть... Гляди!..

Молча любовался молодой купчик на миловидную Фленушку и, обвив ее стан рукою, сказал:

— Да реши ж наконец, золотая!.. Зачем тòмишь меня?.. Который год?..

— Чего еще вздумал? — спросила, усмехаясь, Фленушка.

— Слушай,— продолжал Самоквасов.— Дедушка помер. Капитал был на его имя... Теперь конец... Хочет не хочет дядя, делись... Мне половина.

— Мне-то зачем ты это расписываешь?..— спросила Фленушка.— Мне-то какое дело? Не я с твоим дядей стану делить тебя.

— Ровно не знает, про что говорю! — с досадой промолвил Самоквасов.— Третий год прошу и молю я тебя: выходи за меня... Ну, прежде, конечно, дедушка жив, из дядиных рук я смотрел... Теперь шабаш, сам себе голова, сам себе вольный казак!.. Что захочу, то и делаю!..

— И я что хочу, то и делаю,— весело усмехнувшись, ответила Фленушка.

— За чем же дело стало?.. повенчаемся! — подхватил Самоквасов.

— Сто дедов помри у тебя, будь ты не то что вольный казак, будь ты принцем каким, царем, королем, и тогда за тебя не пойду,— сказала Фленушка.— Не видать тебе, Петр Степаныч, меня, как ушей своих.

— Отчего ж так? — взволнованным голосом спросил Самоквасов.

— Да так вот, не хочу, да и полно,— сказала Фленушка.

— Делом говори. Чего отлынивать-то?.. Честью прошу...— говорил Петр Степаныч.

— Из скитов замуж честью не ходят,— сказала Фленушка.— Девишник-от нам у матушки в келье, что ли, справлять? А горной пир [1] в келарне?.. Образумься, Петр Степаныч... Получивши наследство, никак ты совсем ошалел.

— Мы бы уходом!..— промолвил Самоквасов.

— Не огорчу тем матушку. Это в гроб уложит ее,— сказала Фленушка и встала с луговины.

— Не надивлюсь я тебе, Фленушка, не пойму тебя,— поднимаясь за ней, сказал Самоквасов.— Ну, а как матушка-то помрет?.. Тогда что?.. А она ведь не долгая на земле жилица.. Тогда что будет с тобой?.. Тогда куда денешься?

— Отстань!.. Не досаждай! — вскликнула Фленушка.— И без тебя тошнехонько!..

Затуманилось чело ее, заискрились очи, и порывистое, тяжелое дыханье стало вздымать высокую грудь.

— Повенчавшись, при месте была бы,— продолжал Самоквасов.— Никто бы тебя не обидел, у всех бы в почете была... А без матушки заедят тебя в обители, выгонят, в одной рубашке пустят... Я уж слышал кой-что... Мутить только не хочу... Опять же везде говорят, что вашим скитам скоро конец...

— Замолчишь ли, непутный?..— вскрикнула Фленушка, и в голосе ее задрожали слезы отчаянья...

— Подумай хорошенько!..— после немалого молчанья сказал Самоквасов.— Теперь не прежнее время, «голопятым тысячником» теперь меня не назовешь, теперь мы сами с капиталом.

— Обсчитает тебя дядя-то,—небрежно кинула слово Фленушка.

---

[1] Обед у молодых после свадьбы.

— Известно, обсчитает!..— спокойно, с уверенностью ответил Самоквасов.— Как же не обсчитать? До всякого доведись!.. Только как он, собачий сын, там ни обсчитывай, а меньше ста тысяч целковых на мою долю выдать ему не придется...

— Полно-ка ты, Петруша,— молвила Фленушка.— Широко не шагай, высоко не заглядывай!.. Даст дядя тысчонки две-три, с тем и отъедешь.

— Нет, брат, шалишь!..— вскликнул Самоквасов.— Сами с усами, на кривой теперь меня не объедешь!.. Именья-то и капиталу после дедушки больше чем на четыреста тысяч целковых... Если дядя заместо половины четверть только отдаст, вот уж тебе и сто тысяч... А меньше мириться мне никак не следует... а не захочет дядя миром покончить со мной, суд на то есть... Мне и долги и торговые книги известны, могу усчитать... Ох! да я бы и меньше с дяди-то взял, только б ты, Фленушка, пошла за меня!.. Слушай! — прибавил он решительно.— Не пойдешь за меня, сопьюсь, обопьюсь, под забором как собака околею.

— Полно молоть-то!..— небрежно отозвалась Фленушка.— Выдумает же ведь!

— Без тебя мне не жизнь, одна маета!.. Что ж? Решай скорей,— схватив Фленушку за́ руку, с горячим порывом сказал Самоквасов.

Вдруг ровно туманом подернулось игривое личико Фленушки. Задумчивые глаза ее грустно остановились на горевшем страстью лице Самоквасова.

— Эх, Петруша, ты, Петруша, мой глупенькой!..— печально вздохнув, она молвила.— И меня-то не знаешь и себя не понимаешь... Какой ты мне муж?

— А чем же не муж?.. Какого еще тебе черта?..— возразил Самоквасов.

— Не муж,— грустно сказала Фленушка.— Муж должен быть голова над женой, а тебе надо мной головой в жизнь не бывать...

— Как бы не так! — засмеялся Самоквасов.— А нука, попробуй, выдь за меня,— увидишь, каков буду...

— Увидать-то нечего!..— с усмешкой молвила Фленушка.

— В ежовы бы взял!..— продолжал шутить Петр Степаныч.

— Еще кто бы кого!..— слегка прищурив глазки, молвила Фленушка.

— Говорят тебе, попробуй,— продолжал он и крепко схватил стан Фленушки.

— Отвяжешься ли? — крикнула она и быстрым поворотом ловко вывернулась из-под руки Самоквасова...

— Эк, чтоб тебя! — с досадой он вскликнул.— Ровно налим выскользнула.

— А ты паренек недогадливый!.. Не умеешь водиться с девицами,— весело и звонко захохотала Фленушка.—У нас, у девок, обычай такой: сама не захочет — ее не замай, рукам воли не давай... Так-то, друг сердечный!.. А ты этого, видно, не знал?.. А?..

— Да полно тебе шутить да бáловаться,— с досадой сказал Самоквасов.— Чем бы дело говорить, она с проказами.

— Ну, так и быть, давай про дело толковать,— подхватила Фленушка и, опустившись на траву, промолвила: — Сядь-ка рядком, потолкуем ладком.

Сели. Фленушка в землю глаза опустила, помолчала немного.

— Долго ль в наших местах прогостишь? — спросила его.

— Как погостится,— ответил Самоквасов.— Гостины живут по привету... Сколь меня приветишь, столь и прогощу.

— Полторы либо две недели можешь прожить?..— спросила Фленушка.

— Отчего не прожить? Это все в нашей воле,— сказал Петр Степаныч.

— А саратовец? — спросила Фленушка.

— А куда его без меня леший потянет? — молвил Самоквасов.— Теперь ему из моей воли выйти нельзя. Что велю, то и сделает,— сказал Самоквасов.

— Сказку плетешь аль правду говоришь?..— спросила Фленушка.

— Чего врать-то?.. Не из чего,— отозвался Самоквасов.— Только отделюсь, Сеньку в приказчики... У нас уж с ним слажено, оттого из воли моей теперь он выйти и не может...

Помолчали немного.

С лукавой улыбкой, слегка прищурясь и зорко глядя на Самоквасова, молвила Фленушка:

— А больно хочется жениться на мне?

— Господи! — привскочил даже Петр Степаныч.— Да из-за чего ж я третье-то лето бьюсь-колочусь?.. Из-за чего столько маеты от тебя принимаю?..

И схватил было Фленушку за́ руку.

— Постой, погоди,— сказала она, выдергивая руки.— Прежде надо про дело толковать... Уходом придется свадьбу играть?

— Вестимо уходом... Сама же сказала, что из скитов честью девицы не выходят,— ответил Самоквасов.

— А венчался ли ты когда уходом-то? — спросила Фленушка.

— Эка шальная! — весело, во всю мочь захохотал Самоквасов.— Все-то проказы у ней на уме!.. Да что я?.. Татарин, что ли, какой?.. С одной обвенчавшись, к другой сватаюсь?..

— Не про то тебе говорят,— перебила Фленушка.— Не случалось ли в дружках на свадьбах уходом бывать аль в поезжанах?

— Не доводилось,— ответил Петр Степаныч.

— Надо попробовать,— молвила Фленушка.—Тут ведь удальство нужно. А не то и невесту у тебя отобьют, и бокам на придачу достанется...

— Вестимо,— согласился Самоквасов.

— Перед тем, как меня из обители красть, надо тебе поучиться,— сказала Фленушка.— Я бы поглядела, сколь в тебе удали есть...

— Да чем же мне ее показать? Манефу, что ль, выкрасть да с городецким попом повенчать,— громко засмеялся Самоквасов.

— Не смей матушку в шутки мешать...— строго, с досадой молвила Фленушка.— Не смей, говорю тебе.

— Так сама укажи, кого повенчать,— подхватил Самоквасов.— Таисею?.. Изволь... Повенчаем и Таисею... Только сыщи жениха!.. Денег теперь со мной много, любого попа закуплю... Столько отсыплю, что на родной сестре кого хочешь свенчает.

— Ладно,— молвила Фленушка, кинув на Самоквасова томный взгляд из хитрых прищуренных глаз.— Изволь, укажу тебе парочку.

— Барашка да ярочку? — перебил Петр Степаныч, подвигаясь поближе к Фленушке.

— А ты молчи, дело говорю,— сказала она, отстраняя от себя Самоквасова.— Укажу, кого повенчать, погляжу на твою удаль... И если возьмешь удальством, повенчаешь их, бери меня тогда, хоть на другой же день бери...

— Вправду? — радостно вскрикнул Самоквасов.— Вправду говоришь?.. Не обманешь?..

— Зачем обманывать?.. Что сказано, то свято,— лукаво улыбнувшись, молвила Фленушка.

— Коли так... коли так...— в страстном порыве говорил Петр Степаныч.— Слушай, Фленушка!.. Да за это не то чтоб свенчать кого, черта за рога поймаю... Что хошь приказывай; все исполню, чего ни захочешь.

— А ну-ка побожись,— молвила Фленушка.

— Да лопни глаза мои!.. Да сквозь землю мне, в тартарары провалиться!.. Да чтоб не взвидеть мне свету божьего!..— стал божиться Самоквасов.

— Ну ладно, хорошо,— сказала Фленушка.— Побожись теперь в том, что никому ни единым словом не промолвишься, про что стану говорить тебе...

— Да иссуши меня господи до макова зернышка!.. Да чтоб мне с места не сойти!..— заклинался Самоквасов.

— Ладно, ладно, верю...— прервала его Фленушка.— Слушай теперь... Завтра поезжай к попу Сушиле в Свиблово... Задари его, денег не жалей, что ни запросит, давай... Семену скажи, был бы с тобой заедино...

— Да кого же венчать-то? — спросил Самоквасов.

— А видел давеча Василья Борисыча у матушки?.. Из Москвы прислан,— молвила Фленушка.

— Видел. Ледящий такой,— небрежно сказал Самоквасов.

— Какой бы там ни был, дело не твое...— перебила Фленушка.— Его надо свенчать... Слышишь?.. И как можно скорее.

— Пожалуй!.. А с кем?..— спросил Самоквасов.

— Девица есть в обители...— зачала Фленушка.— Хорошая девица, отецкая дочь... Родители богатые, сама-то молодехонька, да будь промеж нас сказано, не больно бойка разумом, недальнего ума... Намедни, как мы ездили к невидимому Китежу, успел он как-то хитростный...

— Кто? — живо перебил Самоквасов.

— Да все он же, Василий Борисыч,— молвила Фленушка.

— Ах, он плюгавый!.. Вот гром-от не из тучи!..— весело захохотал Самоквасов.— Да ничего... ничего... Теперь смекаю... Венцом, значит, надо покрыть?.. Ничего!.. Покроем... Это мы завсегда можем!..

— Слушай же да покудова смалчивай,— молвила Фленушка.— Та девица — Параша Чапурина.

— Полно ты! — удивился Самоквасов.— Эк какую кралю подцепил!.. А она-то!.. Водой не замутишь, а поди-ка ты что́!

— Со всякой грех может случиться,— скромно опустив глаза, молвила Фленушка.— Когда у тебя будет все готово, мое дело невесту собрать... Сдам ее тебе с рук на̀ руки, доделывай сам... А насчет жениха надо быть тебе похитрее. Блудлив он, что кошка, труслив он, что заяц. Трусит, Патап Максимыч по-свойски бы с ним не расправился... И сдается мне, что хочет он отсель лытуна задать [1]. Так уж ты с Семеном пригляди его... Завтра в Свиблово ты один к попу-то поезжай, а Семен пусть его караулит... Да уговаривал бы его венчаться, нето, мол, Патап-от Максимыч с живого шкуру сдерет... Они ж с Семеном старые знакомцы — ему-то, может, поверит...

— А ведь и в самом деле, Чапурин потачки не даст,— молвил Самоквасов.

— Известно, не даст,— согласилась Фленушка.— От него не уйдешь... Вы хорошенько жениха-то пугайте, обвенчаешься, мол, не в пример дешевле разделаешься. Ну, мол, побьет тебя маленько Чапурин, поколотит... Без этого уж нельзя, а потом, мол, и гнев на милость положит.

— Ладно,— сказал Самоквасов,— все в наилучшем виде с Сенькой устроим. Только хочешь не хочешь, задаток давай,— прибавил он, обнимая Фленушку.

— Какого еще тебе задатка? — вырываясь, вскликнула Фленушка.

— Хоть разок поцелуй хорошенько,— говорил Петр Степаныч, стараясь обнять Фленушку.— Тебя не убудет, а мне радости прибудет.

— Да отвяжись ты, непутный!..— с лукавой усмешкой, отталкивая локтем Самоквасова, промолвила Фле-

[1] Убежать.

нушка.— Забыл, какие дни-то теперь?.. Петров пост еще не кончился.

— Целоваться в уста николи нет поста,— перебил Самоквасов и, схватив Фленушку, промолвил: — Ну, взгляни глазком — сделай с праздничком!..

— Ну, ладно, ладно, выпусти только... Ой, леший! — вдруг она вскрикнула.— Черт такой!.. Щипаться еще выдумал!.. Я те огрею!.. Отвяжись, говорят!

— Хочешь не хочешь, а целоваться надо... Без того и к попу не поеду,— приставал Самоквасов.

— Ну, постой... Пусти, а ты... Сама поцелую,— молвила Фленушка.

И когда он выпустил из объятий Фленушку, она взяла его руками за̀ уши и, слегка притянув к себе, холодно поцеловала.

— Не так, не так! — во всю мочь гаркнул Самоквасов и, схватив Фленушку за̀ голову, изо всей силы прижал ее губы к своим.

— Да отвяжись!.. Леший ты этакой!.. Ай!..— на весь перелесок кричала Фленушка, но крики ее заглушались нескончаемыми поцелуями Самоквасова.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Не стучит, не гремит, ни копытом говорит, безмолвно, беззвучно по синему небу стрелой каленой несется олень златорогий...[1] Без огня он горит, без крыльев летит, на какую тварь ни взглянет, тварь возрадуется... Тот олень златорогий — око и образ светлого бога Ярилы — красное солнце.

Бежит олень, летит, златорогий, серебряным копытом хочет в воду ступить. И станет от того вода студена̀, и пойдет солнце на̀ зиму, а лето на жары.

Шумит в лесах, трещит в кустах, бренчит по траве-мураве звонкокопытный олень. Солнечным лучом, что ременным бичом, гонит его светоносный Ярило из темного бора на светлую поляну ради людского моляну...[2]

---

[1] *Златорогий олень*, как олицетворение солнца, нередко встречается в старинных песнях, сказках и преданьях русского Севера.

[2] Общественное *моленье* (языческое), принесение в жертву животного, съедаемого молельщиками. Это старорусское слово перешло и к мордве.

Брать его руками, колоть его ножами и на братчине на петровщине людям есть благодарно молéный кус [1].

Затем летит пó небу олень златорогий, затем хочет серебряным копытом воду студить, что настал день прощанья светлого бога Ярилы с Матерью Сырой Землей и со всеми земнородными чадами их... Каждые сутки тот олень по небесной тропе с востока на запад бежит, но только двà раза в году он играет... В те дни восходящее солнце то покажется из-за края небесного, то опять за ним спрячется, то вздынет кверху, то книзу опустится, то заблещет цветами алыми, белыми, лазоревыми, то воссияет во всей славе своей так, что никакому глазу глядеть на него невозможно. Дважды в году так солнце играет: в день прихода Ярилы, на Пасхе, да в день отхода его, на Петров день [2].

Затем из темного бора гонит Ярило лесного оленя, было бы людям чем справить день расставанья светлого бога с землей, день отхода его на немалое время в область мрака и стужи. Есть того оленя людям на моляне, поминать отходящего бога на пиру, на братчине, на братчине на петровщине [3].

А с восточной стороны, с моря-океана, с острова Буяна, со того ли со камня со Алатыря, тихими стопами, земли не касаясь, идет-выступает Петр-Золотые-Ключи... Теми ключами небесные двери он отмыкает, теми дверями угодных людей в небо пущает... Идет Петр-Павел [4], в одной руке ключи золотые, в другой трава Петров крест, чтò гонит нечистую силу в тартарары.

Петров день наступает: летняя братчина, братчина-петровщина. По сельщине-деревенщине пир горой.

Накануне Петрова дня по селам возня, по деревням суетня. Конец петровке-голодовке — молёного барашка

---

[1] Жертвенное мясо. Теперь *моленым* (иногда «петым») *кусом* зовут снеди, освящаемые в церкви: куличи, сыр и пр.

[2] Народное поверье.

[3] Есть поверье, что в лета стародавние ежегодно на Петров день выходил из лесу олень и сам давался в руки людям на разговенье. Об этом намек в Житии Макария Желтоводского (XV столетия). *Братчина*, иначе ссыпчина — праздник на общий счет.

[4] *Петр-Золотые-Ключи* — олицетворение солнца, как Илья пророк — грома и т. п. *Петр-Павел* — соединение в одном лице двух, так же, как Кузьма-Демьян, Флор-Лавер и пр.

в лоб [1]!.. Давай бабы творогу, сметаны, простокваши, топленого молока!.. Стары люди за верное сказывают, что прежде петровок и в за́водях не было; вы, бабы, скопи-домок, тот пост у господа вымолили; вы, бабы, жалобились: без летнего-де поста ни масла, ни другого молочного запасти нельзя, все-де молоко мужики с ребятишками выхлебают... Ну вот, по вашему умоленью и мы держим пост — давай же на разговенье все напасенное!.. Жарь, пеки да вари, пойдет у нас пир на весь божий мир!.. Пост провалил, до зеленого покосу напразднуемся... Не жалей на брагу хлеба, солоду — зажелтели поля, колосья клонятся, нового бога̀тья [2] недолго ждать!..

Таков на Петров день бабам дается приказ от отцов да от свекров, и накануне праздника зачинается вкруг печей возня-суетня. Дела по горло, а иной хозяюшке вдвое того: есть зять молодой — готовь ему теща петровский сыр, есть детки богоданные — пеки тобо̀лки [3], неси их крестникам на ро́зговенье, отплачивай за пряники, что приносили тебе на поклон в прощено воскресенье вечером [4].

У молодежи накануне Петрова дня свои хлопоты: последняя «хмелевая ночка» подходит, завтра надо Кострому [5] хоронить... Еще пройдет день, лета макушка при-

---

[1] Петров пост зовется голодным, потому что ни овощи, ни грибы еще не поспели, а хлеб на исходе. Говорят: «Петровка — голодовка, спасовка — лакомка» (спасовка — успенский пост). Общее великорусское поверье, что Петров пост бабы у бога выпросили для скопа масла. *Молёный*, или обреченный, баран обыкновенно назначается на петровскую братчину. Петровских баранов брали помещики с крестьян, берут попы с прихожан.

[2] Новый хлеб.

[3] Пресные пироги с творогом.

[4] Обычаи на Севере, а отчасти в Средней России.

[5] Чучело Ярилы из соломы. В Малороссии оно зовется «Кострубонькой». Ее хоронят в Казанской губернии — накануне троицына дня; около Владимира и Суздаля, а также в Пензенской и Симбирской губерниях — в троицын или в духов дни; в Ярославской и в западной части Костромской губернии — в воскресенье всех святых, а местами — в Петров день; в Тверской губернии — в первое воскресенье Петрова поста; в других местах Великой России, особенно в степных, а также в Малороссии — 24 июня; в восточной части Костромской губернии, местами в Нижегородском Заволжье и в Вятской губернии — в Петров день. Похоронами Ярилы, или *Костромы*, кончаются летние хороводы и гулянья, за ним наступает «страда» (усиленные полевые работы на покосе, на жнитве, молотьбе и т. д.). С июля (1 июля — «лета макушка») все увеселения прекращаются до осенних «капусток» (в конце сен-

дет, начнется страда, летним гулянкам конец... Вечером, только закатится солнце и сумрак начнет по земле расстилаться, девушки с молодицами, звонко песни играя, выходят гурьбой за околицу, каждая охапку соломы тащит. Выбрав укромное место, раскладывают костры и при свете их вяжут Кострому из соломы. Одевши ее в нарядный сарафан недавно вышедшей замуж молодицы и убравши цветами, молча, без шуток, без смеха кладут нá доску возле воды... Тут мòлодцы приходят, начинаются песни, хороводы. Всю ночь напролет молодежь веселится, а когда зачнет утрення заря разгораться, приходят на игрище люди пожилые, даже старики; посмотреть-поглядеть, как солнышко красное станет играть.

Тухнут костры на земле, гаснут звезды нà небе... Бледнеют на своде небесном ночные покровы, светлей и светлей на восточном краю небосклона. Рой мелких перистых облаков усыпал поднебесье, лучи невидимого еще солнца зажгли их разноцветными огнями. С каждой минутой ярче и ярче горят облака, блещут золотом, сверкают пýрпуром, переливаются алыми волнами... Разлились светлые потоки по всему небесному раздолью... Окропляется свежей росой, изумрудами блещет трава муравая, алмазами сверкают капли росы на листьях древесных. Раскрывают цветы лепестки свои, и в утренней прохладе со всех сторон льются благовонные воздушные токи. Близко, близко небесный олень златорогий.

Ведут хоровод и звонкою песнью зовут небесное светило:

Не стучит, не гремит,
Ни копытом говорит,
Каленóй стрелой летит
Молодой олень!
Ты, Дунай ли, мой Дунай!
Дон Иванович Дунай!
Молодой олень!

У оленя-то копыта
Серебряные.
У оленя-то рога
Красна золота!
Ты, Дунай ли, мой Дунай!
Дон Иванович Дунай!
Молодой олень!

тября). Местами в Ильин день, в дожинки (конец жатвы), в Семен-день (1 сентября) бывают хороводы, но небольшие и водят их непóдолгу.

Ты, олень ли, мой олень,
Ты, Алешенька!
Ты куда-куда бежишь,
Куда путь держишь?
    Ты, Дунай ли, мой Дунай!
    Дон Иванович Дунай!
    Молодой олень!

Я бегу ли, побегу
Ко студеной ко воде,
Мне копытцом ступить,
Ключеву воду студить!
    Ты, Дунай ли, мой Дунай!
    Дон Иванович Дунай!
    Молодой олень!

И, кончив песню, резво бегут на пригорки.

С непокрытыми головами, опершись на посохи, там уж стоят старики. Умильно склонив головы на правые руки, рядом с ними старушки. Глаз не сводят седые с восточного края небес, набожно ждут того часа, как солнышко в небе станет играть.

Густыми толпами стариков молодежь обступила. Все тихо, безмолвно. Только и слышны сердечные вздохи старушек да шелест листвы древесной, слегка колыхаемой свежим зоревым [1] ветерком... Раскаленным зо́лотом сверкнул край солнца, и радостный крик громко по всполью раздался.

Солнце взыграло, грянула громкая песня:

Ой, Дид Ладо!.. на кургане
Соловей гнездо свивает,
А иволга развивает!..
Хоть ты вей, хотя не вей, соловей,—
Не бывать твоему гнезду совитому,
Не бывать твоим деткам вывожатым [2],
Не летать твоим деткам по дубраве,
Не клевать твоим деткам белотурой пшеницы!
Ой, Дид Ладо! пшеницы!..

Поднялось солнце в полдѐрева, все пошли по домам с ночного гулянья. Впереди толпа ребятишек, как в барабаны, колотят в лукошки, и громкое их грохотанье далеко разносится в тиши раннего утра. За ними девушки с молодицами несут на доске Кострому. Мужчины за ними поодаль идут... Подобье умершего Ярилы медленно проносят по деревне под звуки тихой заунывной песни. То «первые похороны».

---

[1] Тихий ветер, обыкновенно бывающий на утренней заре. О нем говорят: «зорька потянула».

[2] Выведенным.

Там, где братчина, обедают тотчас после ранней обедни. Щи с бараниной, ватрушки, бараний бок с кашей — обычные яства на петровском обеде. Пообедавши, мужчины старые и молодые спешат на братчину на петровщину. На деревенском выгоне ставят столы и раскладывают на них жареную баранину, ватрушки и пироги с бараньим сердцем [1], ставят жбаны с пивом, сваренным на складчину, да вино зелено́, покупное на общие деньги. На братчине только свои. «На пиры на братчины не́званы пити не ездят»,— сказано лет за пятьсот и побольше того. Начинают с вина, пьют без шапок, чинно, степенно. Каждый наперед перекрестится и такую молитву молвит вполго́лоса:

— Батюшка Петр-Павел! Заткни в небе дыру, замкни тучи-о̀болоки, не лей дождем!.. Подай, господи, зеленый покос убрать подобру-поздорову!

Под конец пированья, когда пьяное веселье всех разберет,— затренкают балалайки, запищат гармоники, волынки загудят... Иной раз сергач приведет лесного боярина Михайлу Иваныча Топтыгина, с козой, с барабаном [2], и пойдет у братчиков шумная потеха над зверем. Коли много вина, напоят косолапого до̀пьяна. А уж если очень развеселятся, становятся стена на стену и заводят потешный кулачный бой.

Таково веселье на братчинах спокон веку водилось... «Как все на пиру напивалися, как все на пиру наедалися, и все на пиру пьяны-веселы, все на пиру порасхвастаются, который хвастает добрым конем, который хвастает золотой казной, разумный хвалится отцом с матерью, а безумный похвастает молодой женой... А и будет день ко вечеру, от малого до старого начинают робята боротися, а в ином кругу на кулачки битися... От тоя борьбы от ребячия, от того боя от кулачного начинается драка великая» [3].

---

[1] Разумеется, не одно сердце, но легкие, печенка, почки, мозги, языки, губы и уши.

[2] Сергачские крестьяне водят по деревням ученых медведей, при них неразлучна *«коза»* (мальчик подросток в длинном холщовом балахоне, который он держит на палке; вверху балахона сделаны из дерева козьи челюсти и рога). Другой подросток, а иногда и сам «поводырь», во время пляски медведя бьет в *барабан*, то есть в лукошко.

[3] Былина о Ваське Буслаеве.

Меж тем деви́цы да молодицы перед солнечным закатом с громкими песнями из деревни в чистое поле несут Кострому... Молодые парни неженатые, заслышав те песни, покидают братчину, идут следом за красными девицами, за чужемужними молодицами.

Кладут Кострому на доске на прежнем месте, становятся вкруг нее хороводом и печальными песнями отпевают Ярилу:

Помер наш батюшка, помер!
Помер родимый наш, помер!
Клали его во гробочек,
Зарывали его во песочек!
«Встань, батюшка, встань,
Встань, родимый, вздынься!»
Нет ни привету, нет ни ответу —
Лежит во гробочке,
Во желто́м песочке.
    Помер наш батюшка, помер!
    Помер родимый наш, помер!

Приходили к батюшке четыре старушки,
Приносили батюшке четыре ватрушки:
«Встань, батюшка, встань,
Встань, родимый, вздынься!»
Нет ни привету, нет ни ответу —
Лежит во гробочке,
Во желто́м песочке.
    Помер наш батюшка, помер!
    Помер родимый наш, помер!

Приходили к батюшке четыре молодки,
Приносили батюшке четыре сочовки [1];
«Встань, батюшка, встань,
Встань, родимый, вздынься!»
Нет ни привету, нет ни ответу —
Лежит во гробочке,
Во желто́м песочке.
    Помер наш батюшка, помер!
    Помер родимый наш, помер!

Приходили к батюшке четыре девчонки,
Приносили батюшке четыре печенки:
«Встань, батюшка, встань,
Встань, родимый, вздынься!»
Ждем твово привету, ждем твово ответу,
Встань из гробочка,
Вздынься из песочка!
    Ожил наш батюшка, ожил,
    Вздынулся родимый наш, встал!

---

[1] Пресная на масле лепешка с кашей, с творогом или со сметаной.

И другие песни поются над соломенной Костромой...

С тоскливым плачем, с горькими причитаньями, с барабанным грохотом в лукошки, со звоном печных заслонок и сковород, несут Кострому к речке, раздевают и, растрепав солому, пускают на̀ воду. Пока вода не унесет все до последней соломинки, молодежь стоит у берега, и долго слышится унылая песня:

Помер наш батюшка, помер!
Помер родимый наш, помер!..

А потом начинаются хороводы и веселые игры. В «селезня» играют, в «воробушка», в «оленюшку», в «заиньку», «просо сеют», «мак ростят», «лен засевают» — и все с песнями... Здесь бренчит балалайка, там заливается пастуший рожок, дальше гудят гудки и гармоники. Бойкие мо̀лодцы пляшут в кругу хорово̀дном, пляшут рядами, пляшут одни за другими, вертятся, кружатся иль молодыми ногами частую дробь выбивают. Удалью пышут их загорелые лица. Красные девицы, дружно сплетяся руками, неспешно ведут хоровод, весело в лад припевая. Матери, тетки и все пожилые о̀даль стоят, весело смотрят на деток, любуясь стройными играми их, юность свою вспоминая.

Клонится к западу солнце, луч за лучом погашая. Алое тонкое облако под ним разостлалось. Шире и шире оно расстилается, тонет в нем солнце, и сумрак на небо восходит, черным покровом лес и поля одевая... Ночь, последняя ночь хмелевая!

Матери, тетки ушли, увели с собой ребятишек, отцы и мужья пиво да брагу кончают, с грустью, с печалью на сердце всех поздней с поля ушли молодицы, нельзя до утра́ им гулять, надобно пьяного мужа встречать... Осталась одна холостежь.

До солнечного всхода она веселится. Ясно горят звезды в глубоком темно-синем небе, бледным светом тихо мерцает Моисеева дорога [1], по краям небосклона то и дело играют зарницы, кричат во ржи горластые перепела, трещит дергач у речки, и в последний раз уныло кукует рябая кукушка. Пришла лета макушка, вещунье больше не куковать... Сошла весна со̀ неба, красно лето на небо вступает, хочет жарами землю облить.

---

[1] Млечный Путь.

Ни конца ни краю играм и песням... А в ракитовых кустиках в укромных перелесках тихий шепот, страстный, млеющий лепет, отрывистый смех, робкое моленье, замирающие голоса и звучные поцелуи... Последняя ночь хмелевая!.. В последний раз светлый Ярило простирает свою серебристую ризу; в последний раз осеняет он игривую молодежь золотыми колосьями и алыми цветами мака: «Кошуйтеся[1], детки, в ладу да в миру, а кто полюбит кого, люби довеку, не откидывайся!..» Таково прощальное слово Ярилы...

Встало солнце нàд лесом, облило лучами землю поднебесную... Конец весне, дошла до людей страда-сухота... Не разгибать людям спины вплоть до поздней глубокой осени...

* * *

Теперь на Керженце не помнят Ярилы, не хоронят Костромы, забыли про братчины. Скитская обрядность все до конца извела.

Скитникам, келейницам всего трудней было справиться с братчинами. Не слушались их увещаний мужики деревенские... Как сметь дедовский обычай преставлять! Как отказаться от молёного куса, от браги сыченой, от мирского хмельного пива! Испокон веку, из рода в род ведутся те братчины, деды, прадеды их заповедали, заветное слово их крепко... На пиру, на братчине не только пьют да гуляют, не только песни играют да бьются в кулачки, здесь мир рядит, братчина судит; что тут положено, тому так и быть. На мирское решенье, что сказано на братчине, нет суда. Мир да братчину один бог судит.

Хитры были, догадливы келейные матери. В те самые дни, как народ справлял братчины, они завели по обителям годовые праздники. После торжественной службы стали угощать званых и незваных, гости охотно сходились праздновать на даровщину. То же пиво, то же вино, та же брага сыченая, те же ватрушки, пироги и сочовки, и все даровое. Молёного барашка нет, а зато рыбы — ешь не хочу. А рыба такая, что серому люду не всегда удается и поглядеть на такую... Годы за годами — братчин по Керженцу не стало.

Когда зачиналась обитель Манефина, там на извод братчины-петровщины на Петров день годовой праздник уставили. С той поры каждый год на тот день много схо-

[1] Живите в любви и согласии.

дилось в обитель званых гостей и незваных богомольцев. Не одни старообрядцы на том празднике бывали, много приходило и церковников. Матери не спрашивали, кто да откуда, а садись да кушай. И люб показался тот обычай деревенскому люду...

На обительских праздниках не хвастали гости по-старинному, не хвалились ни добрым конем, ни казной золотой, ни отцом с матерью, ни женой молодой, не заводили кулачных боев, не слушали гудцов-скоморохов. Матери за тра́пезой читали им от писания и кляли́-проклинали мирские потехи, что от бога отводят, к бесо́м же на пагубу приводят. Не судила, не рядила за скитскою трапезой братчина — свой суд матери сказывали: «Кто бога боится, тот в церковь не ходит, с попами, с дьяками хлеб-соль не водит...» И те суды-поученья, сладким кусом да пьяным пойлом приправленные, немало людей от церквей отлучали. И за то бывал гнев от властей на скиты и обители.

Накануне Петрова дня в Манефиной часовне и великое повечерие и правильные каноны справлены были чинно, уставно, торжественно. На своем игуменском месте в длинной соборной мантии, с деревянным посохом в руке, ровно каменная, недвижимо стояла Манефа и в положенное время твердым голосом творила возгласы. Впереди стройными рядами стояли матери, за ними белицы, позади прихожие богомольцы — мужчины от женского пола особо. Сам Василий Борисыч в ряду богомольцев стал, нельзя было ему на клирос к девицам пройти — постороннего народу много, соблазна бы не было, устав не дозволяет того. Рядом с московским послом Семен Петрович стоял. С утра, по приказу Самоквасова, ни на шаг не отступал он от старинного друга-приятеля, не отступал от него и в то время, как он, по просьбе Манефы, в келарне с белицами демеством распевал.

Допевали «воззва̀хи» [1]. Руководимые искусной головщицей, звучные голоса «певчей стаи» стройно носились в высокой часовне. С умиленьем, в строгом молчанье, предстоявшие слушали сладкогласное пение — вдруг зазвенел колокольчик... Либо исправник, либо становой, другому некому быть. Никто из самых важных гостей не въедет на обительский двор с колокольцами во время

[1] Церковные песни (на вечерне), начинающиеся словами псалма: «Господи, воззвах тебе».

часовенной службы. Белицы и матери стали тревожно переглядываться, но ни одна двинуться с места не смела. Манефа стояла невозмутимо, будто ничего не слыхала... Кой-кто из стоявших у дверей богомольцев вышли из часовни посмотреть, кто приехал.

Немного спустя, с важностью в походке и взоре, вошел удельный голова Михайло Васильич Скорняков в жалованном кафтане с золотыми галунами. На полшага отступя, следом за ним шла головиха Арина Васильевна. На Нефедов день Михайлу Васильичу вдвойне посчастливилось: за ночь столько перепелов наловил, что сроду не помнил такой удачи; и только что успел отдохнуть после бессонной ночи, от управляющего нарочный на двор. Привез из конторы бумагу, надпись на ней «самонужнейшее». Стал читать, в глазах зарябило, екнуло сердце; сам управляющий пишет: часу не медля, спешно бы ехал он в город, а зачем — ни полслова... Неспокойно поехал Михайло Васильич, и туда и сюда кидая умом, что́ за «оказия» вышла... Не доброго чаял... Слышал он стороной, что писарь Карпушка Морковкин донос послал на него, верно позвали по этому делу. Арина Васильевна, только что муж со двора, на молитву... Пятнадцать кафизм прочитала, акафистов два, на утро пост на себя наложила — макова зернышка в рот не брала, весь почти день промолилась. Карп Алексеич Морковкин, сидя в приказе, с радости рюмка за рюмкой кизлярку тянул и кой-кому из крестьян похвалялся: «Шабаш, Скорняков!.. Знаю, зачем его вызвали — с места долой!..» Так был уверен в успехе доноса. Дня через два воротился Михайло Васильич в жалованном кафтане с бумагой: ехать Морковкину в другой удельный приказ, верст слишком за двести, и там не писарем, а только помощником писаря быть. Никто еще не видал Скорнякова в новом кафтане; показаться честно́му народу в почетной одежде больно хотелось ему... И вот вспомянул он, что у Патапа Максимыча на сорочинах Манефа на праздник звала, тотчас срядился, даром что тенятник летал и мошки над рожью толклись, обильный улов перепелов обещая. А с колокольчиком выехал... как же иначе? Разве он не начальство, разве не на стоечных[1] лошадях в Комаров он приехал?

---

[1] Нанимаемые сельскими обществами для разъездов полицейских чиновников и волостных властей.

Прихожие богомольцы перед ним на две стороны расступились. Прошел Михайло Васильич в самый перед. Приняв поданный ему белицей подручник, чинно сотворил семипоклонный начал и низко всем поклонился, с важностью глядя на бывших в часовне. А глаза так и говорят: «Глядите, православные, в каку одежу я вырядился!.. Царское жалованье!..»

И все на него смотрели с почтеньем, все мысленно радовались: «Вот-де и наших царь награждает!» Одна Манефа не взглянула на кафтан с галунами. Но, когда после службы Михайло Васильич с хозяйкой посетил ее келью, слов не нашла игуменья, благодаря столь почетного гостя за нежданное посещенье. На сорочинах звала его ради одной прилики, зная наперед, что голова не приедет... И не приехал бы, если б не захотелось ему показаться людям в жалованном кафтане.

Сидели за чаем, когда Смолокуров с дочкой приехал. С великим почетом встретила их мать Манефа. Не успела высказать всех благодарностей, новые гости на двор: Патап Максимыч с Аксиньей Захаровной, Иван Григорьич с Груней, гости желанные, притом не наверное жданные. Радошна была Манефа, видя такое собранье почетных гостей. Патап Максимыч знаменитую повариху куму Дарью Никитишну с собою привез. То́тчас вступила она в управленье келарней. Мать Виринея охотно, без всякой досады ей подчинилась, и на новый лад пошла-закипела стряпня.

А по малом времени раскормленные, жирные кони легкой рысцой стали подвозить в Комаров уемистые повозки, нагруженные пуховиками и подушками, на них возлежали тучные матери и дебелые девицы-келейницы. Двадцать четыре одних игумений съехалось, пять старцев из мужских обителей, соборным матерям и белицам не было счету. По всему Керженцу, по всем скитам нет обители обширней Манефиной, нет просторнее келий ее, но и в них не могли поместиться все наехавшие Петру-Павлу попраздновать. По другим обителям иные пристали, пристали и в сиротских домах. Прямо к Манефе въезжали лишь те, что были почетней да знакомее ей.

Первою приехала маленькая, сухощавая, но бодрая старушка мать Августа, Шарпанского скита игуменья. Хоть на богомолье у отца Софонтия, говоря с Фленушкой, и отказалась она приехать, но Манефа письмами

умолила ее непременно пожаловать на праздник. Из молодых не было с ней никого. Строгая шарпанская игуменья по многим опытам знала, что нигде лютый бес так хитро не раскидывает сетей ради греховного людей уловленья, нигде так сильно не искушает келейных белиц и молодых инокинь, как на великих собраньях. Бороня от греха младое стадо свое, никогда не брала она девиц на праздники и другие скитские сборища. Не было в шарпанской повозке ни мягких перин, ни пуховых подушек, да и повозка-то была старая, неприглядная. Старенька была и одежда на игуменье, нищей казалась она. И было то не от скудости, но ради смирения. Все знали, что в Шарпане достатки хорошие, но исстари ведется обычай одежой не краситься, трапезой не славиться, отнюдь не вести пространного жития. И такому смирению всюду должную честь воздавали... Славна была мать Манефа, надо всеми игуменьями высилась, но лишь только возвестили ей о приезде Августы, тотчас из кельи вон и, сойдя с крыльца, своими руками помогла старице выйти из повозки. А на ступенях крыльца и в сенях чинно рядами стояли Манефины старицы и белицы, в глубоком молчанье Августе низкие поклоны отдавая. Узнав, что у Манефы мирские гости, не восхотела шарпанская игуменья идти к ним, прямо прошла в приготовленную для нее светлицу и, отказавшись от угощенья, заперлась и на келейное правило стала.

Следом за Августой, из Оленева приехала мать Маргарита, Анфисиной обители игуменья. Славна была не только по лесам Керженским, Чернораменским, но по всему христианству древлего благочестия. Знали умную, учительную мать Маргариту по всему Поволжью от Романова до Иргиза, чтима была старица в слободах Стародубских, на Дону, на Кубани, на Тереке, высóко было имя ее в Москве на Рогожском, в Питере в Королёвской часовне [1]. Будучи сама купеческого рода, умела Маргарита с купцами и чиновными людьми знакомство вести, знала, как занятную для них беседу вести. Домовитость ее и учительность также всюду были известны, и слава Анфисиной игуменьи немногим умалена была супротив славы Манефы. Осанистая, смуглая, худощавая мать

[1] Поповщинская часовня, находившаяся в Петербурге на Разъезжей улице, в доме купца Королева. Уничтожена около 1840 года.

Маргарита степенно, но величаво вошла в келью. За ней две белицы. Одна статная, стройная, ровно молодое деревце, довольством, здоровьем сияет лицо, добром и весельем искрятся очи, с виду холодная, будто бесстрастная, пылкое сердце, горячую кровь носит в себе. С малиновым шелковым платочком на голове, в пышных батистовых рукавах, в широком кисейном, испещренном мелкими яркими цветочками переднике, царицей вступила она. То была Маргаритина любимица, вскормлённица ее, Анна Сергеевна. Несмысленным младенцем взяла ее мать Маргарита у дальнего сродника, прежде богатого, потом до сумы разоренного торговым несчастьем. Любовалась и гордилась воспитанницей мать Маргарита, жизни не чаяла в ней, от себя на шаг ее не пускала... Другую белицу Грушенькой звали — ту для услуг взяла с собой Маргарита. Приспешницей в келарне служила, и Василий Борисыч, когда гостил у Анфисиных, любил в келарню ходить, когда чернобровая Груша блины там пекла.

С Маргаритой приехала из Оленева другая игуменья, мать Фелицата. Ростом мала, дородством взяла, ровно копна в человечью кожу зашита. Тучны́ келейницы на Керженце, но другой Фелицаты и там не бывало. В широкую повозку рядом с нею едва боком усесться могла сухая, как вобла, костлявая, как тарань [1], рябая белица Марина, что при ней ходила в ключах. Двух стариц в особой кибитке везла за собой Фелицата: маленькую юркую мать Фелониду, суетливую, живую старушку с необычной памятью. Чуть не все старообрядское писание знала она наизусть, и, в случае спора, стоило ей только книгу взять в руки, то̀тчас где надо раскроет, то̀тчас укажет перстом на спорное место. Другая старица мать Севастьяна была, черный волос, звонкий голос, густые брови, что медведи над глазами лежат, а глаза-то косые, смотрят в кучку, а глядят врозь. Умом и речью изворотливой славилась, в спорах от писаний сильна: редкий начетчик супроти́в Севастьяны мог устоять. Любила Фелицата поспорить и в споре верх одержать, но в ответах

---

[1] *Вобла,* или обла — рыба, Cyprinus grislagine, *тарань* — Cyprinus vimba. Их вялят с просолом на солнце и продают в огромных количествах по самой дешевой цене. Вяленая вобла распространена по Поволжью, тарань — по Дону, Азовскому и Черноморскому прибрежьям.

была нескора̀, оттого и брала с собой книжных матерей, было бы кем поддержать себя на соборе.

Улангерская мать Юдифа приехала, трех белиц с собой привезла: нежную красавицу Домну, голосистую чернобровку Варю, веселую, быстроногую Дуню. Не в собранье сидеть, не про скитские дела советовать, к Фленушке в гости на праздник девицы приехали, очень звала она их, когда у Юдифы гостила. Ради собора много матерей Юдифа с собой привезла из бедных улангерских обителей. Девяностолетнюю мать Клеопатру Ерахтурку [1], пять раз была под судом, пять раз в остроге сидела, пять раз подписку давала не совращать никого от церкви в раскол и несчетно раз ее нарушала. На увещаньях в консистории раз двадцать бывала, но Никоновым новшествам не покорилась, твердо в древлем благочестии пребывая. Узами, темницами болезненно искушалась; скорби, нужды, страданья радостно претерпела, вечного царства в горнем Иерусалиме взыскуя. Все чтили добропобедную старицу, всячески ее ублажали. Не книжна̀, не словесна была Клеопатра, но на скитских соборах первоседение ей предоставляли. Мать Феозву из Минодориной обители Юдифа с собой привезла: острая разумом, сведуща в царских законах была, не токмо в тех, что в Кормчей печатаны, но и в нынешних всеобдержных. Дело какое случится в судах, по землям аль по каким-нибудь тяжбам, медной полушки приказным никогда не давала, сама все писала, и не бывало ни разу, чтоб она по суду своего не получала. В сенат даже просьбы писывала, сам уездный судья ей говорил: «Тебе бы, мать Феозва, не в скиту богомольничать, в суде б за зерцалом сидеть!» Юдифа привезла дворянского рода старца Иосифа и его крепостного игумна Галактиона. Иосифу ради такого случая нову камилавку с кафтырем справили, новую рясу пошили. Чухломско̀й дворянин тем очень доволен остался. Из Чернушинского скита мать Павлина с сестрами о Христе приехала. Не книжная была, но рассудливая, споры и вражду умиряла, к согласному житию всех приводила, оттого и слыла миротворицей.

Из малых скитов старицы с белицами тоже наехали: из Быстрёны, из Ворошилова, из Прудовского, Федо-

---

[1] Родом из села Ера̀хтура, Рязанской губернии, Касимского уезда. В нем много старообрядцев поповщинского согласия.

сеевского, из Кошелева, из Митюшенского, из Малиновского, Одинцовского, Крутовражского и Гордеевского.

Не все приезжали прямо к Манефе, только избранные да много знакомые. Во всех Комаровских обителях, во всех сиротских домах пристало гостей видимо-невидимо.

С вечера из ближних и дальних деревень христолюбцы на праздник сошлись. Держали опочив вкруг часовни на широком дворе обительском... Ложе — трава муравая, одеяло — темная ночь, браный полог — звездистое небо.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Стоном стоят голоса на широком дворе Манефиной обители. Собралось на праздник народу многое множество. Часы отошли. С пением обоих клиросов шествует из часовни Манефа в соборной мантии. Медленно она выступает, за нею черный строй матерей, одних игумений двадцать четыре, стариц до сотни. Идут из часовни в келарню. За ними белицы, потом званые на трàпезу почетные гости. Всех гостей не может келарня вместить, иные старицы и почти все белицы, кроме певчих, по кельям разошлись; там тоже столы приготовлены были. Фленушка с гостьями прошла в свои горницы. С нею Параша Чапурина, Дуня Смолокурова, Анна Сергеевна с Грушенькой оленевские, Домнушка, Дуняша, Варя улангерские. Аграфена Петровна, молодая жена Ивана Григорьича, с ними ж пошла. Смерть хотелось попасть в их беседу Василью Борисычу, но с ними идти было ему никак невозможно — московскому послу за трàпезой почетным гостем сидеть, не с красотками беседовать, нужные речи с игуменьями да старицами вести. Никого из мужчин во Фленушкиных горницах не было, сидел-трапезовал один круг девичий, замужняя одна замешалась: богоданная дочка Патапа Максимыча, Аграфена Петровна.

От часовни до келарни по обеим сторонам дорожки, что во многие годы протоптана стопами богомольных и трапезолюбивых келейниц, по зеленой траве-мураве ставлены были козлы, а на них кладены тесины, крытые холстами и уставленные жбанами с квасом и пивом, великими укрухами ржаного и пшеничного хлеба и дере-

вянными кружкàми[1]. На каждом кружке по куску пирога, у каждого кружкá по прихожему богомольцу стоит. Мужики и бабы, парни и девки, подростки ребятишки ждут не дождутся конца службы и начала угощенья. Все деревенские... Меж ними один только старец в старой запыленной одежде, в нахлобученной на самые брови камилавке. Не пошел он в келарню, как сказал, смирения ради. То бродячий старец Варсонофий, что встретился Василью Борисычу ночью на Китеже.

Только прошел ход матерей и почетных гостей, пришлые христолюбцы с шумом и гамом садились вдоль столов на скàмьи. Конюх Дементий с трудниками разносили деревянные стаканчики, а христолюбцы, широкó осенив себя крестным знамением, пили из них зеленó вино во славу божию, а сдобными пирогами с рыбной начинкой закусывали. Потом трудники, под надзором пяти матерей, ставили на столы одну перемену кушаний за другою, потчевали гостей брагой сыченой, пивом похмельным. И усердные богомольцы все дочиста поели, потребили весь залежалый в Манефиных погребах рыбный запас и много за то благодарствовали... Пьяней всех Варсонофий был: ради иноческого чина ни один из трудников не отказал ему в лишнем стакане. Оттого «перехожий» честнóй отец после трапезы не пошел с матерями о скитских делах соборовать, выпросился у Дементья на сенницу и там завалился спать-почивать после дела похмельного.

Чиннà и стройнà была трáпеза, в келарне уготованная. Почетный стол в переднем краю стоял. С правой стороны Манефы сели игуменьи, жена головы и Аксинья Захаровна, с левой Василий Борисыч, старец Иосиф, крепостной игумен его Галактион, другие старцы, за ними Смолокуров, Патап Максимыч, удельный голова, кум Иван Григорьич, Самоквасов, саратовский приказчик, купцы из ближнего городка и какой-то пароходчик с Городецкой пристани. За другими столами старицы с белицами по степеням чинно сидели. Марья головщица с «певчею стаею» пропела тропарь первоверховным апостолам, затем надо было «прóщу» говорить. За столом старцы были, при них по скитскому обычаю жене ни прóщи, ни иного начального дела творити не подобало. В часовне за часами Манефа Галактиону предложила «за мо-

[1] Деревянная тарелка, на которой крошат говядину или рыбу.

литвы» возглашать, дневное Евангелие читать и отпусты говорить, а в келарне барину того игумна, отцу Иосифу, предоставила прóщу творить... И доволен же был чухломскóй дворянин возданною ему честью; заслезились старые очи его от избытка чувств... Ударила Манефа в кандию́, Марьюшка, стоя за налоем, начала чтение «похвалы апостолам», а Виринея распорядилась ставкою на столы кушанья. И все ели и все пили благодушествуя, в великом смирении и в строгом молчании.

И никто не сидел так степенно, никто не держал себя так чинно истово, ни на чьем лице не было видно такого смирения, как у Василия Борисыча: очи долу, главою поникши, сам недвижи́м и бесстрастен... А у самого на уме: «Девицы красавицы, стаей лебединою пируют у Фленушки, льются речи звонкие, шутками да смехами речь переливается, горят щечки девушек, блестят очи ясные, высокие груди, что волны, тихо и мерно колышатся...» И сколь было б ему радостно в беседе девичьей, столь же скучно, не́весело было сидеть в трапезе обительской!

На почетный стол становили кушанья, что искусной рукой Дарья Никитишна сготовила, на другие столы становили яства попроще, стряпни Виринеиной. На почетный стол подавали дорогие вина заморские, на другие столы квасы ставленные, брагу сыченую, пиво мартовское домашнего варева. Патап Максимыч, зная, что будут на празднике Смолокуров, удельный голова и кум Иван Григорьич, захватил с собой по дороге не одну дюжину шампанского, но мать Манефа отказала ему наотрез потчевать тем вином гостей на трапезе. «Отобедавши, в келье что хошь твори, а на трапезе людей не блазни,— сказала она.— Того не повелось, чтоб эту заморскую кипучку в обителях пить». Патап Максимыч спорить не стал, потому что тут же вспало ему на ум устроить вечером пирушку в опустелом домике Марьи Гавриловны, где пристал он с кумом Иваном Григорьичем да с удельным головой... «Ладно, хорошо,— сказал он сестре,— только соснем после обеда, то́тчас за дело примемся. У тебя пойдет собор, а у нас содом. Ужину сготовь хорошую, чаю, рому, закусок подай, чтоб все было в порядке, как следует. Да посуды побольше — неравно бить зачнем!»

Кончилась тра̀пеза, чинно пошли из келарни. Едва показалась на крыльце мать Манефа, пришлые богомольцы стали ей кланяться, и далеко разносились сотни голосов, благодаривших гостеприимную игуменью и желавших ей со всей обителью доброго здравия и вечного спасения. Остановившись на верхней ступени, едва наклонила голову величавая Манефа и приказала конюху Дементью поднести мужичкам «посошок» [1] в путь-дорогу, а мать Назарету послала на луг за околицей оделять баб, девок и ребятишек пряниками, орехами и другими сластями. И толпа, как волна, с шумом и говором хлынула со двора обители... Вскоре по всем сторонам вкруг скита раздались громкие песни и, постепенно стихая, замерли в отдаленьи: то прихожие христолюбцы расходились по деревням с богомолья.

* * *

Через час после обеда собор начался. Середь келарни ставлен был большой стол, крытый красным кумачом. На нем положили служебное Евангелие в окладе, с одной стороны его на покрытом пеленою блюде большой серебряный крест, с другой — Кормчую книгу. Десятка полтора других книг в старинных, почерневших от времени переплетах положены были по разным местам стола.

Манефа на этот раз чухломско́му дворянину указала на первое место. И старец Иосиф чуть не задрожал от радости: никогда и во сне не грезилось ему столь великого почета. Справа от него поместились Василий Борисыч и старцы, слева Манефа и другие игуменьи. Соборные и рядовые старицы разных обителей стали у лавок вдоль стен.

Справили семипоклонный нача̀л, старец Иосиф замолитвовал, мать Манефа поаминила... [2]. Все по своим местам сели.

Начал Василий Борисыч. Встал, перекрестился, на все стороны поклонился и начал читать нараспев послание на Керженец от московского общества старообрядцев:

---

[1] Последняя заздравная чарка вина на прощанье.
[2] Сказала: «Аминь».

— «Преподобным отцам и пречестным матерям, подвигом добрым вечного ради спасения подвизающимся, сущим во святых обителях Керженских и Чернораменских, иде же православие сияет, яко светило.

Во-первых, пожелав вам душевного спасения, вкупе же и телесного здравия, а во иноческих трудах благопоспешения, в скорбях же утешения и достижения преподобных отец небесного лика, посылаем мы от великих духовных лиц господина митрополита кир Кирилла и от наместника святыя митрополии Белокриницкия кир Онуфрия, епископа браиловского, мир и божие благословение...»

— Не приемлем! — в заднем конце стола громко заговорили кривая мать Измарагда, игуменья обители Глафириных, и дородная мать Евтропия из обители Игнатьевых. К ним еще несколько стариц пристало. Иные стали даже отплевываться.

— Прекрати,— шепнула Манефа чухломско́му дворянину.

Иосиф ударил в кандию.

— Чего загалдели? — крикнул он на всю келарню.— На базар, что ли, сошлись?.. Слушай до конца!.. Нишкни!.. Шутовки этакие, прости господи!..

— Перестань, отче, перестань! — дергая его за рукав, с досадой шептала Манефа.— Можно разве на соборе такие слова говорить?

Василий Борисыч продолжал:

— «...А от нас грешных и грубых земное поклонение. Ведомо вам, что в мимошедшем седьмь тысяч триста пятьдесят седьмом году, ианнуария в третий день, на память святого пророка Малахии, господин митрополит всех древлеправославных христиан по долгу своего пастырства, помощь желая сотворить всем в Российской державе пребывающим древлеправославным христианом, столь изнемогшим в правлении духовных чинов, по совету всего освященного собора, рукоположил во епископа на Симбирскую епархию господина Софрония, и для общей пользы смотрительно препоручил ему на время правление и прочих мест в России, на что и снабдил его своею святительскою грамотою. И в той грамоте было прописано епископу Софронию, как скоро услышит он в пределах России благодатию божиею еще от митрополии посланного другого епископа, абие положить се-

бе запрещение от тех мест епархии, какие другому епископу определены будут... Но грех ради наших оный Софроний отрыгнул от сокровища сердца своего не точию сопротивление и презрение данному им при поставлении обещанию во всем повиноватися митрополиту, но даже клеветы напрасные оболгания несвойственные епископскому сану износити не усрамися. К тому же, быв в высшем духовном чину, не токмо не устыдился ради своея корысти вступати в торги, но и разными бесчестными и презрительными занятиями собирал себе тленное богатство, даже освященные им церковные вещи, как то: антиминсы, одиконы и прочие продавал. Тогда верховный наш архипастырь господин митрополит Кирилл, видя такового открывающегося святей церкви врага, послал ему на сорока шести листах обличение неправильных и незаконных его действ, моля и увещая не творить в церкви раздоров и повелительно призывая его в митрополию на личный суд. Но от Софрония не бе ни гласу, ни послушания, и тогда господин митрополит тщетно и долготерпеливо ожидая к себе Софрониева прибытия, прислал на него конечное решение по девятнадцатому правилу Карфагенского собора и в своей святительской грамоте сице писал: «Аще же преслушаешь сего предписания и будешь кривить пронырством своим по твоему обычаю, и сие наше приказание преобидишь, то отселе сею грамотою нашею отрешаем тя и соборне извергаем из архиерейского сана и всякого священнодействия лишаем и оставляем простым и бездействительным иноком Софронием» [1]. Тогда ради церковного устроения, по прошению древлеправославных христиан в царствующем граде Москве и по иным градам и весям Российския державы пребывающих, господин митрополит Кирилл, по совету всего освещенного собора, рукоположил во архиепископы богоспасаемого града Владимира и всея России кир Антония, и сему Антонию архиепископу благословил поставити себе в помощь еще двух епископов, а по надобности и более, донося о каждом поставлении митрополиту. Возвещая вам, преподобные отцы и пречестные матери, о таковом божием произволении, велегласно в радости и бо-

---

[1] В действительности эта грамота послана была Софронию через три года по постановлении владимирского архиепископа Антония, то есть в 1856 году.

жественном веселии глаголем: «Явися благодать божия спасительная всем человеком!..» — и с тем вместе просим, молим и братолюбно советуем прияти преосвященного архиепископа кир Антония и ему во всех духовных делах повиноваться. Прекращая же сие писание, молим Верховного пастыреначальника, да подаст владыке нашему Антонию силу, крепость и разумение во еже право правити слово божественныя истины. Аще же между вас есть некие сумнящиеся и яко жидове глаголющие: «От Назарета может ли что добро быти?» — таковые ныне да восчувствуют божие промышление и да воскликнут с нами едиными усты и единым сердцем: «Кто бог велий, яко бог наш? Ты еси бог творяй чудеса. Бог наш на небеси и на земли вся елика восхоте сотвори!» А если пожелает кто поподробну излюбопытствовать, того ради посылаем подателя сего послания Василия Борисыча, мужа учительна, разумна, знающа силу божественных писаний и самолично зревшего доброе устроение заграничныя святыя митрополии и все чины и службы в ней соблюдаемые. Аще восхощете о чем подлинно знати, той наш посланный вся по ряду устам ко устам вам да глаголет».

Кончил Василий Борисыч, встал с места и с поклоном вручил рогожское послание председавшему старцу Иосифу, а тот, не вставая с места, подал его матери Манефе. Тихий говор пошел по келарне.

— Мы не согласны,— возвысила голос кривая мать Измарагда.— Не подобает православным христианам австрийского благословения принимати, ни службы их, ни крещения, ни даже молитися с ними, ниже в дому их пребывати... То — часть антихристова полка.

Измарагдину речь поддержали несогласные старицы. И было таких довольное число.

— А покажите, матушка, от писания,— с важностью обратился к Измарагде Василий Борисыч,— в чем богом устроенная иерархия, юже вы укорительно нарицаете «австрийскою», неправильна.

— Чего тут доказывать?..— с запальчивостью вскрикнула Измарагда.— Первый-от ваш архиерей из греков?.. Значит, от смущенныя никонианския церкви, обливанец?..

— Несправедливо говорите, матушка,— сказал Василий Борисыч.— Хоть греки и во многом от правыя ве-

ры отступили, но истинное крещение в три погружения сохранили, и крещение их несть еретическое; церковию по соборным и святоотеческим правилам принято быть может.

— Обливанцы они! Обливанцы! Все едино что хохлы аль белорусцы!..— в истошный голос кричала мать Измарагда.— А святейший Филарет патриарх повелел белорусцев совершенно крестити...

— Обливанцы! Обливанцы!..— кричала Евтропия обители Игнатьевых, Митродора из Напольной обители, Иринарха, игуменья скита Ворошиловского, мать Нонна, игуменья скита Гордеевского.

— Много есть тому свидетелей, что речи ваши неправильны,— старался перекричать их Василий Борисыч.— Многие из наших христиан древлего благочестия нарочито многотрудный путь в греки и во Египет предпринимали и во святем граде Иерусалиме были и повсюду видели у греков истинное трехпогружательное крещение. Нарочито и во Град Енос ездили, иде же приятый митрополит Амвросий рождение имел, и тамо младенцев крестят совершенно, в три погружения.

— Сами, государь мой, о том письма получали,— закричала мать Евтропия.— Из зарубежских христиан и у нас знакомцы есть. За Дунаем-то не больно приняли вашего Абросима: «Не хотим, дескать, обливанщины, не осквернем души наши!..»

— Это одна клевета и неразумие! — возразил Василий Борисыч.— По должном испытании Задунайские приняли возрожденную иерархию, смирились. И у них теперь поставленный господином митрополитом архиепископ Аркадий, что прежде был настоятелем в Лаврентьевом монастыре в Ветковских пределах.

— А коли ты посланником прислан, так басен-то не плети!..— резко сказала Василию Борисычу мать Нонна, игуменья гордеевская, кидая на него гневные взоры.— Не малым ребятам сказки рассказываешь!.. Послуха поставь, очевидца, да святым писанием слова его укрепи!.. Вот что!..

— Я вам послух, я вам очевидец!..— степенно проговорил Василий Борисыч. — Богу споспешествующу обтек аз многогрешный греческие области, в Цареграде был, во святем граде Иерусалиме живоносному гробу поклонялся и повсюду самолично видел, что у греков трех-

погружательное крещение всеобдержно и нет между ними латинского обливанья. Свидетель мне бог.

— Лгет! [1] — вскричала Измарагда, за ней Митродора, Нонна и другие старицы.

И такой шум поднялся на соборе, что мать Манефа шепнула Иосифу:

— Прекрати бесчиние!.. Да помягче смотри, укорительными словами не обзывай.

Чухломской дворянин ударил в кандию и во всю мочь крикнул:

— Молчать!..

— Сбесился, что ли, батька? — шепотом строго молвила ему Манефа.— Я ль тебе не говорила?

— А как же, по-твоему, потомку светлых боярских родов со смердами говорить? — отвечал родословный старец.

— Ох, уж ты, боярин!.. На грех посадила я тебя на первое место,— молвила Манефа и подала знак, что хочет сама говорить.

Все смолкли. Она начала:

— Что в греках крещение непогрешимо, тому много свидетельств в отеческих книгах имеется, и не один Василий Борисыч, много тому самовидцев. И мы тому верим несумненно... Но не о том предлежит нам соборовать... При великом оскудении священного чина, когда все мы душевным гладом были томимы, московские и иных городов христиане великими трудами и премногим иждивением возрастили мало что не на двести лет увядший цвет благоучрежденной иерархии... Поначалу невместимо было слово о таковом событии, но по долгом рассуждении и по многих изысканиях в книгах святоотеческих, некие от здешних обителей удостоверились во истине явившейся зарубежной митрополии и с духовною радостию прияли рукоположенного во епископы Софрония и поставленных от него пресвитеров. Но по мале времени тот Софроний явился злохудожен и отрыгнул мерзости небоязненного пред божиим судом своего сердца. Стяжатель оказался и таковых же стяжателей в попы наставил, как и в наших местах известного всем вам Михайлу Корягу... Тогда смутилося сердце наше и отчуждились мы от Софрония и от попов его. Теперь же

---

[1] Лжет.

на него и судом митрополита осуждение со извержением из архиерейского чина последовало, на место же его новый епископ поставлен. И теперь вам должно по святым правилам осмотрительне обсудить и соборне положить, прияти или не прияти нового епископа... Как кто присоветует?

Помолчали немного. Мать Полихрония, Малиновского скита игуменья, первая разрешила молчание.

— А кто таков тот нарицаемый архиепископ Антоний? — спросила она у Василия Борисыча.— Поведай нам о жизни его с самого рождения.

— Рождение имел от старообрядцев,— отвечал Василий Борисыч,— и крещение имеет правильное.

— Не одни правоверные старообрядцами зовутся,— сказала на то мать Полихрòния.— Есть старообрядцы-покрещеванцы, священства не приемлющие, есть старообрядцы, от великороссийской церкви таинства приемлющие, каковы Спасова согласия, есть и иные.

— Бывал прежде в Федосеевском согласии,— нехотя ответил Василий Борисыч.

— И казначеем на Преображенском кладбище бывал? — спросила Полихрония.

— Так точно,— потупя глаза, сказал Василий Борисыч.

— А давно ль из беспоповской ереси в ограду правыя церкви вошел?.. Задолго ль до принятия епископского чина присоединился?..— спросила Полихрония.

Смутила она Василья Борисыча. «Ох, искушение!» — шептал он и, собравшись с духом, сказал:

— Незàдолго.

— Пишут нам, только зá год,— проговорила Полихрония.— Вот у меня о том памятка.

И, вынув записку, стала читать:

— «Февруария десятого, седьмь тысяч триста шестидесятого года, на память святого священномученика Харалампия, Антоний, инок из беспоповцев, вновь законным чином пострижен бысть в совершенного инока. Октября первого седьмь тысяч триста шестьдесят первого года, на праздник Покрова пресвятыя богородицы, митрополитом Кириллом поставлен во диаконы. Декабря шестого того же года, на память иже во святых отца нашего Николы Мирликийского чудотворца, тем же митрополитом Кириллом произведен во священники.

Третьяго февруария того же года, на память святых и праведных Симеона богоприимца и Анны пророчицы тем же митрополитом Кириллом произведен во архиепископа владимирского и всея России».

— Верна ль моя памятка, Василий Борисыч? — спросила Полихрония.

— Все так точно,— ответил Василий Борисыч.

— А что́ на этот счет гласят правила апостольские, и первого собора, и Лаодикийского, и седьмого вселенского собора? — спросила Полихрония.

Василий Борисыч только под нос молвил себе: «Ох, искушение!»

— По тем правилам,— не дождавшись ответа, продолжала Полихрония,— от язычников, рекше и от зловерных, недавно пришедшего в скором времени несть праведно производити во епископы, да не возгордевся в сеть впадет диаволю... А сей Антоний без единыя седмицы токмо год пребывал во благочестии. Притом же по тем правилам во епископы такие люди поставляемы быть должны, которые с давнего времени испытаны в слове, вере и в житии, сообразном правому слову. Так ли?

— Так точно,— должен был признаться Василий Борисыч.

— Теперь скажи нам, правильно ли было поставление Антония? — спросила Полихрония, окинув торжественным взором собрание.— Достоит ли прияти его епископом?

Озадаченный Василий Борисыч не вдруг ответил. «Ох, искушение!» — говорил он про себя, пощипывая бородку. Однако нашелся.

— Зачем же ты, матушка, не все апостольско-то правило вычитала? — тихо и скромно он молвил.— Тебе бы уж все прочитать... Там хотя и сказано, что не подобает неиспытанному в вере учителем других быть, однако ж прибавлено: «Разве токмо по благодати божией сие устроится...» А благодать, матушка, по сто двадцать пятому правилу Карфагенского, не токмо подает знание, что подобает творити, но и любовь в человека вдыхает да возможет исполнити то, что позна́ет. Так и господин митрополит... Он при своем поставлении получил божественную благодать, яже всегда немощная исцеляющи и недостаточная исполняющи, и по сей благодати

мог назначить Антония архиепископом, мог по любви и исполнить то, что познал, сиречь возвести познанного в чин епископский...

Высказав такое хитросплетение, которого ни сам и никто из бывших в келарне хорошенько не поняли, и видя замолкшую совопросницу, Василий Борисыч победным взором окинул собрание. Матери друг с дружкой шептались.

Но Полихрония, немного помедлив, вынула из кармана другую записочку и сказала:

— А вот мне другую announcementписочку насчет этих делов зарубежные благодетели прислали. Что́ на нее скажешь?.. Когда поставили Антония, в то самое время купец один из Одессы привез в Белу Криницу мещанина Семена Антипыча Говядина, в иночестве отец Спиридоний. И на шестой день по поставлении Антония митрополит Кирилл произвел того Спиридония во диаконы, потом через день во пресвиторы, а наутре семнадцатого февруария, во вторник недели о блудном сыне, на память святого великомученика Феодора Тирона, совершил его епископом града Новозыбкова, таково поспешно произведя через все священные степени... А через шесть токмо дней по поставлении от всякого священнодейства запретил, понеже при вступлении во священный сан тот Спиридоний утаил, что был в Малиноостровском монастыре[1] иноком у единоверцев и тамо, отрекшись древлего благочестия, волею давал никонианам подписку в отступлении от правоверия. И за то по суду низложен и, яко недостойный, всякого священнодейства лишен... Правду ль я прочитала, Василий Борисыч?..

— Ну так что же? Ошибка была, больше ничего,— сильно смутившись, ответил московский посланник.

— Благодать не ошибается, Василий Борисыч,— сказала на то Полихрония.— А если тут ошибка была, так не было ли ошибки и за шесть дней до того, когда поставляли Антония?

Искусно после того поворотил Василий Борисыч рассуждения матерей на то, еретики ли беспоповцы, или токмо в душепагубном мудровании пребывают... Пошел спор по всей келарне. Забыли про Антония, забыли и про московское послание. Больше часа проспорили, во всех книгах справлялись, книг с десяток еще из кладо-

[1] Черниговской губернии.

вой притащили, но никак не могли решить, еретики или нет беспоповцы. А Василий Борисыч сидит себе да помалчивает и чуть-чуть ухмыляется, сам про себя думая: «Вот какую косточку бросил я им».

Охрипли матери, которы были позадорнее, устали все до единой. Во время шумного, горячего спора келейниц Манефа воспретила Иосифу их унимать. Знала, каковы бывают споры скитские, знала, что надо дать время дóсыта накричаться соборующим, и, когда утомятся, тогда только приниматься за настоящее дело.

Смолкли крикливые споры. Изредка, ровно остаток пронесшейся бури, забурчит иная старица на несогласную с нею соседку. Тогда Манефа приказала чухломскому дворянину ударить в кандию. Когда смолкли все, сказала она:

— Подобает нам, отцы, матери, общим советом решить, принять или не принимать священников, коих поставит новый архиепископ. Изверженного ныне Софрония попов в некиих обителях принимали, во иные же не прияли. На чем же теперь утвердимся? Немало думала я о таковом великом деле, немало и с матерями советовалась. Належащая нужда утолити душевный глад и конечное оскудение бегствующего священства указует нам прияти священство, тем архиепископом поставленное, да не впадем в душепагубное беспоповство, сомнения же, многих обуревающие, насчет правильности новоявленной иерархии и насчет поспешного поставления архиепископа владимирского опасения возбуждают, да не погубим поспешностию души своя. Так ли говорю, отцы, матери?

— Так точно, так точно!.. Истинны слова твои, матушка!..— закричали все бывшие в келарне, кроме одного Василья Борисыча. С досады теребил он бородку и говорил про себя: «Ох, искушение!»

— И потому вот каков совет мой, отцы, матери,— продолжала Манефа.— Обождем некое время... Посмотрим, каково новопоставленный архиепископ поведет себя, испытуем подробно и насчет правильности самого начала зарубежной митрополии, сами пошлем верных людей в греки, чтоб совершенно испытать, каков чин у них соблюдается при крещении младенцев. И тогда, ежели все окажется в пользу того, что нам московские христиане с любовию предлагают, примем и мы поставленных вла-

димирским архиепископом попов. Если же узнаем достоверно, что источник зарубежной митрополии нечист или что тот архиепископ недостоин принятого им чина, тогда станем слезно молиться милостивому Спасу: сам да спасает нас, сам да научит, какими путями спасать наши души... А до того времени общения с московскими християнами не разрывать и находиться с ними по-прежнему в любви и согласии, также и прочих городов с нашими християнами, которые приимут Антония, пребывать в единении... Вот мои мысли, отцы, матери... Что скажете, какое положите решение?

Все в один голос согласились с Манефой, и все славили мудрое ее решение... Василий Борисыч недоволен остался... И то было ему обидно, что посольство не удалось, и то, что не поверили ему на́ слово о крещении в греках.

— Другое желаю еще предложить вам, отцы, матери,— сказала Манефа.— Великие беды угрожают нашему обстоянию. Грех ради наших презельная буря хощет погубить жительство наше и всех нас распу́дить, яко овец, пастыря неимущих. Получила я пи́сьма от благодетелей из Питера, извещают: начальство-де хочет все наши скиты разорить... И тому делу не миновать. И быть разорению вскоре, в нынешнем же году.

Оханья и глубокие воздыханья раздались по келарне. Иные матери зарыдали, две либо три причитать зачали.

— И к нам о том же пишут,— сказала Маргарита оленевская.

— И мы имеем горестное известие! — воскликнула мать Юдифа улангерская.

— И нам известно налегающее горе!.. И мы пи́сьма получили!.. И мы слышали!..— заговорили разных скитов игуменьи. Одна Августа шарпанская молчала, ровно дело до нее не касалось.

— От самых достоверных людей наша казначея, матушка Таифа, узнала, что у нас такая же выгонка будет, как на Иргизе была,— продолжала Манефа.— Кои приписаны к скитам по ревизии, те останутся, а кои не приписаны, тех по своим местам разошлют, и из тех мест им по самую кончину не будет ни выходу, ни выезду. А кельи и что есть в них какого имущества позволят нам с собой перевезть... А часовни и моленные нарушат...

Новые вздохи, новые сетованья... Плач и рыданья слышнее...

— И вот вздумала я предложить вам, отцы, матери, на соборное обсужденье: как поступить при таких обстоятельствах?

— Матушка Манефа!.. Матушка Маргарита!.. Матушка Юдифа!.. Вы люди сильные, могучие, у вас в Питере великие благодетели, а мы бедные, убогие, никто нас не знает, и мы никого не знаем,— завопила крохотная старушка мать Агния, игуменья небогатого скита Крутовражского.— Отпишите скорей ко своим благодетелям. Они все высшее начальство знают, в дружбе с ним, в совете... Отпишите им, матушки, пособили бы нам, умилостивили бы начальство-то.

О том же молили Прудовские, Ворошиловские, Федосеевские и Быстренские, о том же молили игуменьи и старицы бедных обителей Каменного Вражка: Напольные, Заречные, Россохины, Салоникеины. И, встав с мест, припадали к ногам Манефы, Маргариты и Юдифы.

— Полноте, полноте матери!.. Полноте, перестаньте!.. Вам ли нам кланяться?.. Мы с вами во едином чину!..— громким голосом сказала Манефа.— Неужто думаете, что мы об этом прежде не подумали?.. Все сделано, матери, обо всем было писано, и на все наши письма один ответ, что никак обителей наших отстоять невозможно. Строгий-престрогий вышел указ, никакие вельможи переделать его не могут... Если б хоть малая какая надежда была, стали бы разве мы беспокоить вас, стали бы разве вас в слезы вводить?.. Кончается, отцы, матери, житие наше пространное, предлежит путь тесный и всяких лишений исполненный...

— Матушка Евтропия, у вас грамота царицы Екатерины в обители находится, что дана была старцу Игнатию. По той жалованной царской грамоте всем, дескать, нашим скитам довеку стоять нерушимо,— молила Быстренского скита игуменья, дебелая, пухлая старица с багровым лицом и с черными усиками, мать Харитина.— Представьте ее по начальству, сотворите нас беспечальны.

— Нет никакой у нас грамоты,— горько вздохнула Евтропия.— Если и была, видно, в пожар погорела.

— У вас, матушка, в Анфисиной обители, сказывают, есть нерушимая грамота от лет царя Алексея Михайло-

вича,— сказала Ворошиловского скита игуменья, длинная, как коломенская верста, мать Христодула, матери Маргарите оленевской.— Ваша-то первая игуменья из роду Колычовых была, сродница по плоти святителю Филиппу митрополиту. Ей великий государь даровал, слышь, нерушимую грамоту.

— Нет у нас грамоты,— ответила Маргарита.— После матушки Анфисы Колычовой только и осталось, что иконы храмовые да рукописные святцы, а рука в них святителя Филиппа.

— Матушка Таисея,— обратилась игуменья обители Заречных на Каменном Вражке, толстая, подслеповатая мать Феоктиста, к игуменье обители Бояркиных,— у вас после княжны Болховской не осталось ль каких записей?

— Если и были, все до нас пригорели,— ответила мать Таисея.— Да едва ли и были, княжна-то сама под опалой была.

— Господи! где ж искать нам помощи? — вскликнула Быстренская и залилась горькими слезами.

— Чему быть, тому не миновать,— молвила Манефа.— Не то что наши лесные обители, крепкие города рассыпаются, как песок морской, если есть на то воля господа... А тут видима святая воля его, потому что сердце царево в руце божией... Значит, господу угодно пременить житие наше, если царь решил нашим скитам больше не быть... Плакаться на волю господню не след... Великий грех!.. И что можем сделать в нашем деле?.. Когда плотину прорвет, перстом ее не заткнешь... И потому, отцы, матери, не время нам плакаться; надо подумать, как лучше встретить беду неизбывную, как лучше устроиться на новом нашем положении.

— Ох, матушка! В таком горе будь семи пядей во лбу, ничего полезного не выдумаешь... Погибать так уж, видно, погибать,— зарыдала мать Есфирь, игуменья Напольной обители.

— Ложись да помирай, вот и все!..— со слезами подтвердила игуменья бедного скита Кошелевского, приземистая, тучная, вечно с подвязанными зубами, мать Сосипатра.

— Когда большим кораблям невмоготу су́против водного стремления плыти, куда уж нам, мелким лодоч-

кам?.. Тони, да и все тут...— промолвила мать Улия, игуменья бедной обители Салоникеиных.

— И откуда на нас такое напаствование? — задыхаясь на каждом слове, заговорила тучная мать Фелицата оленевская.— Что мы кому сделали?.. Чем помешали кому?.. Жили, кажись, потихоньку, никого не обидели... Что за строгости такие пошли?

— Клеветы какие-нибудь! — заметила Маргарита оленевская.— Обнес кто-нибудь по злобе пред высшим начальством. Матушка Феозва, ты в законах сильна, научи уму-разуму, нельзя ли просьбицу какую подать, чтоб избыть нам того разоренья?

— Нет, матушка Маргарита, нет,— отвечала опытная во всяких делах, в самый сенат писавшая просьбы Феозва.— Не такое дело, никакими просьбами тут не пособишь. Царско уложенье что божье веленье — су́против его не пойдешь... Терпеть надо, матушка, терпеть! На то власть создателя! Господь сам терпел и нам повелел...

— От верных людей я слышала, что насылка прежде всего будет в Оленево,— начала Манефа.— Сборщиц чьих-то оленевских на Дону взяли, сборные книги забрали у них... В тех книгах переписаны все Оленевские обители... А начальству ведомо, что Оленев много лет после воспрещенья ставить новы обители весь почти погорел. И стало подозрительно, нет ли из прописанных в тех книжках обителей против закона построенных... Оттого и пойдут спервоначалу розыски в Оленеве, и которы обители явятся ставлены после воспрещенья, те тотчас нарушат, а после того по всему Керженцу и по всей Черной Рамени станут разыскивать, нет ли где новостроенных обителей... И если найдут хоть одну новую обитель, тогда всем объявят решенье, каково было в Иргизе... А еще, матушка Августа,— прибавила Манефа, обращаясь к шарпанской игуменье,— верные известия получила я из Питера, что сбираются у тебя Казанску владычицу отобрать...

— Это они ради того, что, видно, узнали о чудеси, бывшем от той иконы иноку Арсению,— чуть слышно, слабым голосом проговорила сидевшая возле Манефы и молчавшая дотоле дряхлая мать Клеопатра Ера́хтурка.— Проведали нечестивые, что глас от той иконы бысть: «Дотоле древлее благочестие будет сиять на Керженце,

яко светило, пока сия икона не будет внесена в смущенную никонианскую церковь»... Не поверю никому, чтоб наши скиты разорить могли. А возьмут из Шарпана владычицу, тогда, по слову писания, жди разоренья... Как же не сбыться чудно́му тому провещанию?

— Тебе бы, матушка Августа, до поры до времени владычицу-то куда-нибудь в надежное место отправить,— молвила Фелицата оленевская.— В Москву бы, что ли, свезла... Дело общее, до всех доводится... Ради всеобщего спокоя пошли-ка ты ее подальше куда, икону-то... Возьмут в великороссийскую... всем беда, всем разоренье.

— Вечор от Таифушки письмо получила я,— сказала Манефа.— Пишет, что в Москве и Гусевы, и Мартыновы, и другие значительные наши христиане с радостию готовы принять на опасное время сие многоценное сокровище. И мой бы совет тебе, матушка Августа, отвезти владычицу поскорее в Москву...

Не успела Манефа кончить, как все старцы, игуменьи и старицы приступили к Августе и в один голос стали умолять ее увезти икону в Москву как можно скорее.

— Ни на единый час не изнесу ее из моленной,— тихо, но с твердой решимостью сказала мать Августа.— Больше ста семидесяти годов стоит она на одном месте. Ни при старых матерях, ни при мне ее не трогивали, опричь пожарного случая. Не порушу завета первоначальника шарпанского отца Арсения. Он заповедал не износить иконы из храма ни под каким видом. У нас на то запись руки его...

— Да ведь дело такое, матушка,— едва переводя дух от волненья, сказала толстая Фелицата.— Слышала, отобрать хотят ее у тебя?

— Слышала,— спокойно ответила Августа.— Давно слышала... И мы тоже имеем благодетелей, и к нам тоже пишут.

— То подумай, мать Августа,— продолжала Фелицата,— чтоб нам от твоего упрямства всем не погибнуть... Не видишь разве, что общим советом всех скитов и обителей соборне приговорили мы вывезти твою владычицу в надежное место. Значит, ты и должна исполнять общую волю.

— Опричь воли господней, пречистыя его матери и святых отец наших, ничьей воли над собой я не знаю,—

с холодным спокойствием ответила Августа и низко склонила голову.

— Да что ж это такое? — одна другой громче заговорили матери.— И себя губит и нас всех хочет погубити!.. Не об одном Шарпане глас бысть старцу Арсению, обо всех скитах Керженских... Не сбережешь нераденьем такого сокровища, всем нам пропадать?.. Где это слыхано, собору не покоряться?.. Сколько скиты ни стоят, такого непослушанья никогда не бывало!

Ни слова не ответила Августа. Сидит, опустя голову, молчит, как стена.

И что старицы ни говорили ей, осталась непреклонною. Наконец, сказала:

— Что вы знаете о чудеси, бывшем от иконы владычицы?.. Какой глас бысть старцу Арсению от богородичной иконы?

— Всем известно, какой! — закричала Фелицата: — «Возьмут икону из Ша́рпана, поставят в никонианскую церковь, тогда всем нашим скитам конец...»

— То-то и есть, что не так было сказано,— ответила Августа.— На-ка, матушка Фелицата, прочитай, что пишется в сказании. А сказание-то, сама видишь, древнее, руки самого преподобного старца Арсения.

И, подав Фелицате невеликую рукописную тетрадку, показала ей место.

Стала читать Фелицата:

— «И будучи в тонком сне, слыша Арсений глас от тоя святыя иконы: «Гряди за мною ничто же сумняся и, где аз стану, тамо поставь обитель, и пока сия икона моя будет в той обители, дотоле древлее благочестие процветать в ней будет...»

— Так видишь ли, матушка Фелицата, и все вы, честные отцы и матери,— сказала мать Августа.— Про то, что всем скитам конец настанет, егда нашу святую икону в никонианскую церковь внесут, ни единым словом в подлинном сказании не помянуто, а сказано: «Пока сия икона моя будет в той обители, дотоле древлее благочестие процветать в ней будет...» Где ж тут общее дело нашли вы?.. С чего же взяли, что от нашей иконы зависит судьба всех скитов и обителей?.. Видите словеса... До нас до одних пророчество, бывшее преподобному Арсению, относится, мы одни и повинны соблюдать сокровище наше яко зеницу ока и отнюдь не выносить его

из обители. А придет час воли божией, возьмут владычицу, восплачем, взрыдаем, но воле божией покоримся безропотно... Сый человеколюбец все ко спасению людей строит ими же знает путями... Не довлеет нам, скудельным сосудам, испытывать неисповедимые судьбы его... Буди святая воля его!..

Все изумились, слушая Августу. Сказание из рук в руки переходило, все читали и все удивлялись, что не так в нем сказано, как молва говорила и как все матери сколько лет всем рассказывали.

— Как же это так? — пораженная внезапным удивленьем, вполголоса ворчала мать Фелицата. Тщетно обращалась она к привезенным из Оленева помощницам. Ни острая памятью мать Фелонида, ни знаменитая по всему Керженцу начетчица мать Севастьяна не могли, как прежде зачастую бывало, выручить задорную, споры любившую игуменью свою... Молча глядели они в старинную тетрадь и, не видя слов пророческих, тихо качали головами и думали про себя, не новое ль чудо содеялось, не действом ли каким сокровенным исчезли из сказанья известные всем словеса.

Все в один голос решили: не износить матери Августе из своего скита чудотворной иконы.

И когда речи о Шарпанской богородице были покончены, Августа всех бывших на собраньи звала на праздник Казанской к ней в Шарпан, чтоб там соборне отпеть перед тою иконой молебный канон о сохранении в безмятежном мире обителей Керженских и Чернораменских. И все согласились, даже мать Фелицата, не любившая строгую подвижную Августу.

После того еще многое время длился собор матерей... Отцы были тут ни при чем, сидели для счета, всякое дело старицы делали.

Встала с места Манефа, стала советовать, чтоб те, кои к ближнему городку по ревизии приписаны, теперь же перевозили туда кельи и строились там по-обительски... Мало было согласных на то, все надеялись на божию милость, авось-де пронесется мимо грозная туча, авось-де не доживем до «керженской выгонки».

Тут девяностолетняя мать Клеопатра Ера́хтурка, сидя на месте, слабым старческим голосом стала увещать матерей все претерпеть за правую веру, но места святого волей своей не покинуть.

— Все претерпите,— чуть слышно она говорила.— Все приимите в весельи и радости: скорби и нужды, жажду и глад, раны и хлад... Божиим судьбам смиренно покоритесь... но волей своей с места святого шагу ступить не могите!.. И егда объявят нам царский указ, будьте безмолвны, но вон из скитов не идите... Ни муки земные, ни страх лютой смерти да не возмогут отлучить вас от места святого... Вспомните, сколь великий блистающий полк преподобных здесь пребывал в твердом храненье древних уставов!.. Вспомните, сколь много молитв с сих мест вознеслось к престолу царя небесного!.. Теми молитвами место святится... Кто дерзнет малодушия ради покинуть его?

— Что же делать нам, матушка?.. Что же делать при таком обстоянье? — говорили ей матери.

Древнюю старицу те словеса не смутили. Вспыхнули жизнью потухшие очи, бледным румянцем покрылись впалые щеки, стрелой выпрямился согбенный под бременем старости стан Клеопатры, встала она и, высо́ко подняв костлявую руку с двуперстным крестом, дрожавшим голосом покрыла все голоса:

— Вспомянуть бы вам, отцы, матери, вспомянуть бы вам лета древние и старых преподобных отец!.. Почитать бы вам письма Аввакума священномученика, иже с самим волком Никоном мужески брань сотворил... Вельми похваляет он самовольное сожжение за Христа и за древлее благочестие... Сам сый в Пустозерске сожженный, благословляет он великим благословением себя и обители свои сожигать, да не будем яты врагом нечестивым!.. Тако глаголет: «Блажен извол сей о господе!.. Самовольнии мученицы Христови!..»

— Как же это, матушка? — там и сям послышались тревожные голоса матерей. Устрашила их речь Клеопатры Ера́хтурки.

— Видя налегающую силу злого нечестия,— продолжала древняя старица,— по многим местам христиане огню себя предавали, из пламени со ангелы в небеса к самому Христу восходили... Недалеко от нас, от Улангера, всем ведомо достопоклоняемое место, иде же преподобный Варлаам со ученики огненной смерти сам себя предал... И его, как нас теперь, хотели места святого лишить... Не восхотел блаженный покоритися, не восхотел изыти из келии, огнем венчался... Поревнуйте, от-

цы, матери, доблему сему Варлааму!.. Паче прежнего освятите места сии пеплом своим!.. Внидите огненным путем в райские светлицы!.. Сожегши грешные телеса, водворите праведные души своя во обителях бога вышнего, от начала веков любящим его уготованных!..

Жестóко было слово Клеопатры Ерáхтурки. Согласных не нашлось. Кому охота заживо жариться?.. Но никто не смел прекословить: очень уж великá была ревность древней старицы. Только тихий шепот, чуть слышный ропот волной по собору промчался.

— Не заградит маловерие ваше уста моя!.. Пою богу, дондеже есмь!..— громким голосом вскричала Клеопатра и огненным взором обвела собранье.

И все меж собой тревожно переглянулись, и у всех на устах замерли крылатые речи.

— Чего страшитесь? — продолжала Клеопатра.— О несмысленые!.. Обуяли вас прелести многомятежного мира!.. Огня ли временного страшитесь, о вечном пламени не помышляя?.. Не убойтесь!.. Земную муку претерпевши, световидных венцов в небесах удостоитесь... Дерзайте во славу божию, не устрашайтесь!.. Временный огнь токмо греховное тело разрушает, душу же от вечного пламени спасает!.. Телесную муку не долго терпеть!.. Миг един, и ангелы души ваши к самому Христу вознесут... Дерзайте убо, правовернии!.. Поревнуйте древним отцам-страстотерпцам!.. Тем посрамите врага видимого, тем победите и врага невидимого, иже есть человекоубийца искони!..

Никто ни слова, ровно все умерли. Нет отказа, нет и согласья.

И смолкла Клеопатра Ерáхтурка, тихо опустилась на место и, накрыв глаза креповой наметкой, низко склонила древнюю голову.

Стало темнеть, когда разошелся собор. Ничем он не кончился, ни по единой статье ничего не решили.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

А за Каменным Вражком, средь укромных пролесков, на зеленом лугу, той порой красны девицы свой собор учинили. Вздумалось им в вечерней прохладе походить, погулять, позабавиться. Не стая белых лебедей

по синему морю выплывает, не стадо величавых пав по чисту́ полю выступает: чинно, степенно, пара за парой, идет вереница красавиц. Фленушка о́б руку с Анной Сергеевной всех впереди. Следом за ней, рядом с Парашей идет Смолокурова Дуня. Всех богаче одеты они: в шелковых косоклинных саянах[1], в белоснежных батистовых сорочках, в кисейных рукавах с кружевами, на шее жемчуга̀, алмазные серьги в ушах. Но белей и свежей кисеи и батиста миловидное личико Дуни, самокатного жемчуга краше перловые зубы, камней самоцветных светлее синие очи... За ними идут оленевские и улангерские гостьи, Марья головщица, богоданная дочка Чапуриных Аграфена Петровна и не знавшая еще о скорой поездке в Казань пылкая, ревнивая Устинья Московка... За ними Аксинья Захаровна с женой головы и с довольной удавшимся на славу обедом славной заволжской поварихой Дарьей Никитишной. Мужчин никого. Скитских матерей тоже с девицами нет.

Не только игры́ либо песен, громкого смеха не слышно. Затейница всяких проказ, шаловливая Фленушка тихо, медленно шла, глаза опустив, чуть не схимницей смотрит она. Нельзя разгуляться, нельзя распотешиться: Аксинья Захаровна тут и жена головы. Но больше всего резвым затеям ее Аграфена Петровна мешала. Всегда живая, веселая, довольная, ничем невозмутимая, всюду вносила она тихую радость и чинный порядок, малейшее нарушенье пристойности было на глазах ее невозможно. Никто б не вынес кроткого взгляда ее и немого укора.

Разостлали платки по росистой лужайке, сели в кружок. Марьюшка с Устиньей Московкой подали Фленушке большие узлы, и стала она подруг оделять городецкими пряниками, московскими леденцами, финиками, орехами, изюмом, винными ягодами. Появились кузовки с сочной благовонной земляникой и темно-сизой черникой. Весело, как весенние птички, щебечут девицы, сидя за сластями, и под призором Аксиньи Захаровны да жены Михайла Васильича коротают тихий вечер в скромной, чинной беседе. Про обновы промеж себя гово-

---

[1] *Косоклинный* — широкий в подоле, с перехватом в стане. *Саян* — распашной сарафан (сарафанчик-растегайчик) на застежках спереди, от пояса до подола.

рят, про вышиванья и другие работы... Нет разговоров затейных.

Темным покровом ночная мгла над землей разостлалась, по закроям небесного свода зарницы зоря́т. Перели́вчатым блеском сверкают частые звезды: горят Стожары [1], широко над севером раскинулся ярко мерцающий Воз [2], белыми прогалинами с края до края небес сияет Моисеева дорога. Пали на землю жемчужные ро́сы, пыль прилегла, с болот холодком потянуло. Только тогда воротились в обитель с пролесья деви́цы. Невесть как досадно Фленушке было, что ей неудача такая пришла — нельзя разгуляться, нельзя раскуражиться. Молча, брови нахмурив, она возвращалась домой.

Клял судьбу свою Василий Борисыч. Там на лужайке целая дюжина девиц собралась одна другой краше... Там Смолокурова Дуня: урывкой только взглянуть ему удалось на нее, когда за часами в часовне стояла... Сидя в почетном конце за столом, видя сонм матерей перед собою, о пролесье на вспольe все думал московский посол: «Туда бы на вольный простор, туда бы к красавицам в круг!.. На их красоту любоваться, от них бы слушать сладкие речи!.. А тут сиди, как гвоздь в стене, тронуться с места не смей, слушай, как черные галицы переливают из пустого в порожнее!..»

Память о женской красоте смутила рогожского посла, оттого и речи его на соборе были нескладны. Посмотреть бы московским столпам на надежду свою, поглядеть бы на витию, что всех умел убеждать, всех заставлял с собой соглашаться!.. Кто знает?.. Не будь в Комарове такого съезда девиц светлооких, на Керженце, пожалуй, и признали б духовную власть владыки Антония...

То́лько что зачал собор расходиться, Василий Борисыч то́ропко вон из келарни... Хочет бежать по знакомой тропе за Каменный Вражек, но тут на беду наткнулся. Только сравнялся с домиком Марьи Гавриловны, видит — в шелковой красной рубахе сидит у окна развеселый Чапурин.

— Эй! Василий Борисыч! — окликнул его.— Что, накалякался там с матерями?.. Поди, чай, во рту пересмякло... Шагай к нам, мы тебе горло-то смочим...

[1] Плеяды.
[2] Большая Медведица.

— Ох, искушение! — молвил под нос себе Василий Борисыч... Нечего делать, надобно на́ зов идти, не судьба в Петров день на девиц любоваться.

* * *

В горницах Марьи Гавриловны шумно идет пированье. Кипит самовар, по столам и по окнам с пуншем стаканы стоят. Патап Максимыч с Смолокуровым, удельный голова с кумом Иваном Григорьичем, купцы, что из города в гости к Манефе приехали, пароходчик из Городца частенько усы в тех стаканах помачивают... Так справляют они древнюю, но забытую братчину-петровщину на том самом месте, где скитская обрядность ее вконец загубила, самую память об ней разнесла, как ветер осенний сухую листву разносит...

Был в той беседе и Самоквасов с нареченным приказчиком. Был он в тот день именинник и накануне нарочно посылал работника в город захватить там побольше «холодненького» [1].

Белый день идет к вечеру, честно́й пир идет на́веселе. На приволье, в радости, гости прохлаждаются, за стаканами меж собой беседу ведут... Больше всех говорит, каждым словом смешит подгулявший маленько Чапурин. Речи любимые, разговоры забавные про житье-бытье скитское, про дела черниц молодых, белиц удалых, про ихних дружков-полюбовников. Задушевным смехом, веселым хохотом беседа каждый рассказ его покрывает.

Пированье было в полном разгаре, когда стал расходиться собор. Завидел Патап Максимыч московского посланника, зовет его на беседу.

Вошел Василий Борисыч, богу помолился, беседе поклонился, сел за стол возле самого Патапа Максимыча.

— Ну что? — спросил его Смолокуров.— Что уложили, на чем порешили?

— Да, можно сказать, ничем,— с досадой ответил Василий Борисыч.— Какой это собор?.. Просто содом!.. Толков много, а толку в за́водях нет.

---

[1] *Холодненьким* в купеческих беседах зовется шампанское и вообще шипучее вино.

— Ха-ха-ха-ха!..— так и покатился со смеху Патап Максимыч.— О чем же толковали матери келейницы, сухопары сидидомницы?

— Одна врала, другая не разобрала, третья все переврала, вот и весь тут собор,— с пущей досадой промолвил Василий Борисыч.

— Дело твое, значит, не выгорело? — усмехнувшись, спросил его Патап Максимыч.

— Да разве можно с этим народом какое ни на есть дело сделать? — сказал московский посланник.— О чем ни зачни, ни ползет, ни лезет, ни вон нейдет.

— Еще бы!— одобрительно кивнул головой Патап Максимыч.— Захотел у бабья толку. Скорей от козла молока, чем толку от бабы дождешься... Да ты, Васенька, не горюй, не печалься!.. На-ка вот лучше выпей!.. Я так рад, что тебе неудача... Значит, в Москву теперь глаз не кажи...

— Ох, уж не говорите, Патап Максимыч!..— почесывая затылок, молвил Василий Борисыч.— Хоть живой в гроб ложись,— вот каково мне приходится.

— Зачем до смерти в гроб ложиться? — сказал Патап Максимыч.— Ты вот что, наплюй на Москву-то, не езди туда... Чего не видал?.. Оставайся лучше у нас, зачнем поскорей на Горах дела делать... Помнишь, про что говорили?

— Уж, право, не знаю, что и сказать вам,— в досаде, взволнованным голосом молвил Василий Борисыч.— Вот уж впрямь, что ни вон, ни в избу, ни со двора, ни на двор. Поневоле затылок зачешешь.

— Нечего раздумывать, не о чем кручиниться,— весело молвил Чапурин.— Говорил я тебе, желаючи добра, советовал: плюнь на эти пустошные дела, развяжись с архиереями да с келейницами... Какого проку нашел в них?.. С твоим ли разумом, с твоим ли уменьем валандаться в этих делах?.. Эх, зажили б мы с тобой!.. Ты еще не знаешь, что на ум мне пришло!..

— Ох, искушение! — глубоко вздохнул Василий Борисыч.

— Опять заводит свое «искушенье»! — с досадой промолвил Чапурин.— Эк оно у тебя к языку-то крепко прилипло... А ты перво-наперво пей!..

И подал ему стакан пуншу.

— Нет, уж увóльте меня, Патап Максимыч,— сказал Василий Борисыч, отодвигая стакан.

— Нет, брат, шалишь! У нас так не водится,— отозвался Чапурин.— Попал в стаю, так лай не лай, а хвостом виляй; попал в хмельную беседу, пей не пей, а вино в горло лей... Слышал?

— Ох, искушение! — робко промолвил Василий Борисыч, а сам озирается, нельзя ли куда подобру-поздорову дать стрекачà.

— Пей же, говорят!.. Пей, других не задерживай!..— крикнул Патап Максимыч.

— Да мне от этого стакана с места не подняться,— молящим голосом проговорил московский посол.

— Врешь!.. Это бывает после девятого,— сó смехом сказал Патап Максимыч.— Аль не знаешь счету чарам похмельным?.. Знаешь, что ли?

— Нет, не знаю,— ответил Василий Борисыч.

— А еще славят, что всю старину как собаку съел! — воскликнул Чапурин.— Слушай, что деды-прадеды наши говаривали: перву пить — здраву быть, другую пить — ум веселить, утроить — ум устроить, четвертую пить — неискусну быть, пятую пить — пьяным быть, чара шестая — пойдет мысль иная, седьмую пить — безумну быть, к осьмой приплести — рук не отвести, за девяту приняться — с места не подняться, а выпить чарок с десять — так тут тебя и взбесит.

Дружно все захохотали, и Василий Борисыч волей-неволей опорожнил стакан.

— Послушай-ка, что я скажу тебе,— молвил Патап Максимыч, подсев к нему рядом.— Помнишь, как мы с тобой уговаривались? Сроку месяц еще остается, а теперь тянуть, кажется, нечего? Решай теперь же, да и все тут... Плюнь на попов, на дьяков и на всех твоих архиереев...

— Нельзя, Патап Максимыч,— ответил Василий Борисыч.— Как же, не отдавши отчета, дело я брошу?.. У меня не одна на руках эта порýченность, деньги тоже дадены. Как же мне отчета не сдать? Сами посудите!

— Ин вот что,— подхватил Патап Максимыч.— Завтра ж в Москву отправляйся. Развяжись там скорей с доверителями да тóтчас ворочай оглобли назад... То-то запируем!.. Ты не знаешь еще, что я вздумал!.. Больно уж ты полюбился мне!..

— Так скоро нельзя,— ответил Василий Борисыч.— У меня еще здесь по скитам кой-какие дела не управлены; надо их покончить.

— Сказано: наплюй! — сгоряча крикнул Чапурин, хватив по столу увесистым кулаком.— Какие еще тут дела!.. Вздор один, пустяки!

Смолк Василий Борисыч, а сам про себя подумывает: «Ничего не́ видя, ровно медведь на дыбах заревел; что ж будет, как про все он узнает?.. Ох, господи, господи!.. Возвратихся на страсть, егда у́нзе ми терн, беззаконие познах и греха моего не покрых!..»

— Ну, об этом мы еще с тобой на досуге потолкуем, а теперь нечего пир-беседу мутить... Пей-ка, попей-ка — на дне-то копейка, выпьешь на пять алтын, да и свалишься, ровно мертвый, под тын!.. Эй, други милые, приятели советные: Марко Данилыч, Михайло Васильич, кум, именинник и вся честна̀я беседа! Наливай вина, да и пей до дна!.. Здравствуйте, рюмочки, здорово, стаканчики!.. Ну, разом все!.. Вдруг!..

И дружно выпили все по стакану пунша.

Тут выходил наперед, удалым молодцо́м становился, перед беседою низко поклонился и такие слова сказал Самоквасов:

— Не обессудьте, господа честны́е, глупой моей речи не осудите, что млад человек неискусен смеет пред вашим лицом говорить.

— Что ж за речь твоя будет? — опершись ладонью на стол и немного набок склонясь, с довольной улыбкой спросил у него Патап Максимыч.

— Так как я сегодня, значит, именинник, так позвольте «холодненьким» вас угостить,— сказал Петр Степаныч.

— Умные речи приятно и слушать,— молвил Чапурин.— Хоть по старому обычаю в чужой монастырь с своим уставом не входят, а на пир с своим пирогом не вступают, да ради твоих именин можно заповедь ту и нарушить... Потчуй, именинник, знай только, что этого добра и у нас припасено довольно

— Эй! — крикнул Петр Степаныч саратовцу.— Тащи кульки, вынимай бутылки, откупоривай!.. Порожните стаканы, честны́е господа, не́ во что наливать.

— Ну, видно, нам эту ночь не ночевать, а всю напролет пировать,— сказал Смолокуров, опрастывая свой стакан.

— Что ж? — подхватил Патап Максимыч.— Лишь бы вино со разумом ладило, а то отчего ж не прогулять и до утра?

— Истинно так,— подтвердила беседа, кроме Василья Борисыча

Когда саратовец ро́злил «холодненькое», Самоквасов собеседникам каждому порознь поклонился и каждого просил выпить за его здоровье. Хотели было попросту поздравить именинника, Патап Максимыч не допустил.

— Стой! — крикнул он.— Не так! Здравствовать по старине!.. Как деды пивали, как прадеды певали, так и нам пить да петь!.. Чарочку!..

И грянула во святой обители старинная застольная песнь величальная:

Чарочка моя
Серебряная,
На золотом блюде
Поставленная!
    Кому чару пить,
    Кому выпивать?
Пить чару —
Свету ли Петру,
Выпивать —
Степановичу!
    На здоровье, на здоровье!
    На здоровье, на здоровье!..

Крестились по кельям матери, слыша соромную песню в стенах монастырских. Иные шептали псалом «Живый в помощи вышнего!..».

Именинник выпил стакан свой. Громче прежнего грянула песня:

Еще дай боже, еще дай боже!
Еще дай боже, еще дай боже!
    Здравствовати,
    Здравствовати!
    Господину, господарю,
    Господину, господарю
    Нашему,
    Нашему!
Дорогому, дорогому,
Дорогому, дорогому
    Имениннику,
    Имениннику!
Свет Петру ли, свет Петру ли,
Свет Петру ли, свет Петру ли

Степановичу,
Степановичу!
Еще дай боже, еще дай боже!
Еще дай боже, еще дай боже!
Многая, многая,
Многая лета!
Многая лета!

И, пропев, в пояс кланялись все имениннику, целовали его по трижды в уста и, выпив вино, опрокидывали пустые стаканы на маку́шках. Патап Максимыч свой стакан грянул о́земь. За ним вся беседа.

— Эй, кто там? — зычным голосом крикнул Чапурин.— Беги к Манефе за стаканами да молви ей, спасеннице: «Гости, мол, пьют да посуду бьют, а кому-де то не мило, того мы и в рыло!..» Больше бы посуды присылала — рука, мол, у братца расходилась!.. Знай наших, понимай своих!..

Новую посуду принесли, и с добрым запасом ее принесли. Знала Манефа привычки Патапа Максимыча, когда с приятелями отвести он душу весельем захочет.

Снова саратовец наполнил шампанским стаканы. Патапу Максимычу «Чарочку» беседа запела. Пели и здравствовали Марку Данилычу, Михайле Васильичу, Ивану Григорьичу и всем гостям по очереди. И за всякого пили и за всякого посуду били, много вина и на̀ пол лили... И не одной дюжины стаканов у Манефы как не бывало.

Разгоралась заря по́ небу, из-за небесного закроя солнышко стало выглядывать... Патап Максимыч крикнул охмелевшей беседе:

— Шабаш, ребята!.. Допивай последышки!.. Да с песенкой!.. Не с мирской песней,— с обительскою, для того, что пируем в обители.

И громко завел «келейную». И все ему подтянули:

За святыми ворота́ми
Черничка гуляла,
Ай люли, ай люли!
Молода плясала!
Как сказали той черничке,
Что поп Матвей идет.
Ай-люли, ай люли!
Что поп Матвей идет!
Черничка так и пляшет,
Молодая так и скачет.
Ай люли, ай люли!
Молодая скачет!

Как сказали той черничке:
Мать игумения идет,
Ай люли, ай люли!
Мать игумения идет!
Черничка испужалась,
Молодая оробела.
Ай люли, ай люли!
Молодая оробела!
Куда ей деваться,
Куда схорониться?
Ай люли, ай люли!
Куда схорониться?
Али удавиться,
Али утопиться?
Ай люли, ай люли!
Али утопиться?

Красное солнышко высоко́ над лесом поднялось, когда разошлась подгулявшая беседа и в домике Марьи Гавриловны послышался богатырский храп Патапа Максимыча, Ивана Григорьича и удельного головы. Трубным гласом разносился он из растворенных окон по обители.

Так почетные гости Манефины справили летнюю братчину, братчину-петровщину...

Беспокойно и тревожно провели ту ночь матери приезжие и матери обительские. То и дело просыпались они от громкого смеха, от веселых криков и заздравных песен подгулявших «благодетелей». Осеняя себя крестным знамением, читали они третий псалом Давыда царя: «Господи, что ся умножиша стужающии ми?»

Маргарита оленевская да Юдифа улангерская в одной келье с Манефой ночевали и всю ночь глаз не могли сомкнуть...

— Что это у них за содом такой! — ворчала Маргарита.— Эк заревели, оглашенные!.. Ровно стадо медведей!.. Бога не боятся во святой обители столь бесстудно безобразничать.

— Чего дивить на них, матушка?..— отозвалась Юдифа.— Люди богатые, а богатому везде простор да своя воля... Убогому — как велят, богатому — как, дескать, сами изволим.

— Что делать, матушки! — с горьким вздохом сказала Манефа.— Таков уж уродился у меня братец родимый! Что ни вздумал, никто не моги поперечить... Расходится — не подходи!..

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Солнце к полдням подымалось, когда Патап Максимыч с Марком Данилычем, с удельным головой и с кумом Иваном Григорьичем в домике Марьи Гавриловны спали еще непробудным сном... Хорошо справили они в скиту, не по скитскому обычаю, братчину-петровщину.

Наезжие отцы, матери, отстояв часы и отпев молебный канон двенадцати апостолам [1], плотно на дорожку пообедали и потом каждый к своим местам отправились. Остались в Комарове Юдифа улангерская да мать Маргарита оленевская со своими девицами. Хотели до третьего дня погостить у Манефы, но Маргарите того не удалось.

Только что гости долой со двора, из ближнего городка нарочный прискакал. Послан был он Полуехтом Семенычем с присланным по почте письмом для немедленной передачи Манефе. Было письмо из губернского города и было надписано на нем: «По самому нужному делу».

После часов и ранней трапезы Манефа, проводив приезжих гостей, сидела за самоваром с матерями Юдифой и Маргаритой, с Аксиньей Захаровной, с женой головы Ариной Васильевной и с заволжской поварихой Никитишной. Девицы, а с ними и Аграфена Петровна пили чай в горницах Фленушки. Не успели выпить матери по первой чашке, как приехал тот нарочный. Вошел он в келью, отдал письмо в руки самой Манефы,— так было ему приказано,— получил от нее сколько-то денег и пошел на конный двор обедать. Манефа ушла в боковушу и там наедине прочитала письмо.

Если келейные матери в пору процветанья скитов, посредством таких «благодетелей», как Злобины, Сапожниковы, Зотовы, а после них Громовы и Дрябины, могли из самых высших мест узнавать обо всех делах, до них касающихся, не мудрено, что у них были проложены торные пути к столам губернских мест, где производились дела о раскольниках. Дарили они за правду, дарили за неправду, кому надо серебрили руки, чтоб помягче писали, кому надо золотом глаза порошили, чтоб кое-чего они не видели... На белом свете, опричь бога, ничего нет

---

[1] На другой день Петрова дня, 30 июня, празднуется двенадцати апостолам.

сильнее туго набитой мошны. Истиник[1] не угодник, а тоже чудотворец... Выложь денежки, в камне дыру провертят; возьми золотой молоток, и железны воро́та он прокует. Не диво, сунув нужному человеку барашка в бумажке, его к себе приручить. Золото хоть и веско, а тянет кверху, на воде даже всплывает оно, и где всплывает, там правда тонет. И в грех не ставили матери подкупать нужных людей... По-своему толковали они слова апостола: «Искупающе время яко дние зли суть»[2]. Совершенно были они уверены, что в злое, «гонительное время» сам бог повелевает покупать за деньги милости власть имущих. И покупали... Оттого и жили на полной свободе, в широком просторе, ровно орел в поднебе́сье, ровно щука в воде.

Письмо было из губернаторской канцелярии. Нужный и осторожный правитель ее через третьи руки уведомлял щедрую Манефу, что для осмотра Оленевских обителей едет из Петербурга особый чиновник, в генеральском чине, с большими полномочиями, и что к такому человеку апостольских повелений применять нельзя... В конце письма сказано, чтоб страшного гостя ждали на днях.

— Матушка Маргарита! — кликнула Манефа, не выходя из боковуши.— Пожалуй-ка сюда на словечко.

Вошла Маргарита. Манефа подала ей письмо.

— Читай-ка, матушка,— молвила.— Напасти-то какие по грехам нашим!

Пробежав письмо, всплеснула руками Маргарита и вскрикнула. Хоть давно знала, что грозного гостя скитам не миновать; но когда опасность еще далека, она не страшна так, как в то время, когда перед лицом прямо станет... Как громом оглушило Маргариту. Смертная бледность разлилась по лицу, подкосились старые ноги многоумной игуменьи и в бесчувственном изнеможенье тяжело опустилась она на скамейку... На ее крик пришла Юдифа и, узнав, в чем дело, заохала; Аксинья Захаровна с Ариной Васильевной прибежали, и те навзрыд зарыдали; одна Манефа осталась невозмутимою. Ни слезинки не выронила, не вырвалось из груди ее ни единого восклицания.

---

[1] *Истиник* — наличные деньги, капитал.

[2] К Ефесеям, V-16. В старом переводе: «зли» вместо «лукави».

— Власть господня!..— строго и холодно молвила.— Плачем да слезами делу не пособить, себя только расстроить. Лучше на́ бога положиться: во́время он наказует, во́время и милует... Не гневите, родные, царя небесного ропотом и отчаяньем!.. Грех!..

— Матушка!.. Каково же слышать-то это!..— голосом безнадежности, заливаясь горькими слезами и ломая руки, вскликнула Маргарита оленевская.

— Весть жданная, давно чаянная, не врасплох нас застала она,— молвила Манефа.

— Так, матушка, так,— проговорила Маргарита,— да ведь все мы знаем, что должны помереть, все смерти чаем, а пока она не предстала, нимало ее не страшимся, а как приспеет смертный час, всяк человек в ужас придет. То же самое и это...

— Все же надо спокойнее быть,— заметила Манефа.— Без малодушия гостя надо встречать, без суеты, без боязни... Твоя-то обитель после пожара ставлена?

— После, матушка, после,— ответила Маргарита.

— Вот совет мой тебе,— сказала Манефа,— поезжай поскорее домой... Хоть не водится отъездом гостей торопить, да дело такое, что медлить тебе не годится, да и мне не след тебя удерживать... Приедешь домой, тотчас святыню, котора в моленной поредкостней, в город вези. Отдай кому знаешь на похраненье. Я б на твоем месте весь деисус[1] вывезла. Хороших писем он у вас, древний... А на место его плохоньких бы образишков наставила. Не замай их печатает. Книги, особенно харатейные да старописьменные, все без остатку в город свези. Псалтыри оставь да часовники, да и то новой единоверческой печати. Пуще всего почаевские переводы[2] убирай, запретными их почитают. Письма, какие есть, подальше припрячь... Кто его знает, может, и обыски делать зачнет.

---

[1] *Деисус* — ряды икон ярусами, иконостас. В тесном смысле три иконы: спасителя, богородицы и Иоанна Предтечи.

[2] *Переводом* у старообрядцев называется новая перепечатка богослужебных книг слово в слово, буква в букву со старопечатными московской печати времен первых пяти патриархов. В конце XVIII столетия, за оскудением старопечатных книг, много переводов печаталось в посаде Клинцах (Черниговской губернии) в тайных типографиях. На этих переводах в выходах означалось, будто они печатаны в Почаеве, тогда еще не принадлежавшем России.

— И впрямь, матушка! Распоряжусь по твоему совету. Время-то есть,— молвила Маргарита.— Сию же минуту поеду, сегодня же за ночь из моленной все выберу, а завтра чуть свет сама к Полуехту Семенычу свезу... За полезный совет благодарю покорно,— прибавила она, низко поклонившись Манефе.

— Поезжай с богом, матушка, поезжай,— сказала Манефа.— Управляйся с божьей помощью, авось успеешь... И другим матерям посоветуй! Да потише бы дело вели, не огласилось бы. Не то до всего докопаются. Зря станете делать, недолго и сторонних в ответ привести. Не всем советуй, надежным только... Главное дело, было б все шито да крыто... А как царица небесная поможет тебе управиться, отпиши поподробнее.

В четверть часа собралась Маргарита. Горько было столь поспешно уезжать и Анне Сергеевне и кормившей горячими блинами Василья Борисыча Грушеньке. Но делать нечего, надо проститься с утехами, надобно ехать на плач да на горе.

В горенке у Фленушки самовар на столе. Кругом самовара семь девиц сидит: Дуня Смолокурова, Параша Чапурина, три белицы улангерские, сама Фленушка с Марьюшкой. Идут у них разговоры веселые про житье-бытье обительское, про гулянки с парнями за околицами, про гостей — молодых «благодетелей»,— приезжавших в скиты из разных городов. Всех веселей, всех речистей была Фленушка. На затейные рассказы — что на всякие проказы ее взять. Что ни скажет, девицы со смеху так и покатятся. Как ни скромна, как ни стыдлива была Авдотья Марковна, и у той от рассказов Фленушкиных нежное личико оживлялося, краска играла на свежих ланитах, и нежная, веселая улыбка с румяных губ не сходила. Как ни вяла, как ни сонлива Параша Чапурина, и та громко хохотала, махая Фленушке платком и приговаривая:

— Да ну тебя!.. Перестань!.. Уморишь!..

Вдруг под общий смех опрометью влетела Устинья Московка. Лицо бледное, головной платок нàбок, сама растрепанная, глаза красные, слезы в три ручья... С визгом и воплем подбежала к кровати, ринулась на постель и разразилась рыданьями... Все обступили ее, с участием расспрашивали, но, уткнувши голову в подушку, она ничему не внимала... Догадалась Фленушка, с чего Усти-

нья убивается, но не сказала ни слова, хоть не меньше других вкруг нее суетилась.

Через несколько времени отлегло на̀ сердце у канонницы. Подняла она голову, села на постель, мутным взо̀ром окинула стоявших девиц и, сложив на коленях руки, стала причитать в истошный голос:

— Каково-то мне горько в сиро́тстве жить, каково-то мне жить сиротой беззаступною!.. Натерпеться мне, сироте, всякой всячины: и холоду, и голоду, и горя-обиды великия!.. Зародила ты меня, матушка, на̀ горе, наделила меня участью горькою, что живу-то я, сиротинушка, во злой во неволюшке, со чужими людьми со безжалостными!..

— Да что такое?.. Что такое случилось с тобой? — участливо спрашивали ее девицы улангерские, Параша и Дуня Смолокурова. Не говорили ничего Фленушка с Марьюшкой.

— Посылают меня бедную в Казань на целый год, разлучают с местом любимым! — на тот же голос причитаний громко плакалась Устинья Московка.

— Чего ж убиваться-то? — весело молвила ей быстроногая Дуня улангерская.— Пошли-ка меня матушка Юдифа к хорошим людям на̀ год в канонницы, да я бы, кажется, с радости земли под собой не взвидела, запрыгала б, заплясала, а ты, бесстыдница, выть...

— Хорошо тебе, Авдотьюшка, эдак разговаривать,— жалобно, но с досадой ответила ей Устинья.— Суди бог того, кто обидел меня!.. Да не обрадуется она горькой обиде моей... Обижена сиротская слеза даром на̀ землю не капает; капнет слеза моя горькая горюче́й смолой на голову лиходейки-обидчицы!

— Да кто ж обидел тебя? Кого клянешь, на кого жалобишься? — усмехнувшись, спросила Устинью Фленушка.

Досадно ей было, что она нарушила веселую беседу девичью.

— Знаю я, матушка... знаю, Флена Васильевна!.. Все знаю!..— накинулась на нее Устинья.— Меня, сударыня, не проведешь. Сердце-то вещун: чует, от кого добро, от кого худо,— продолжала она, злобно косясь на Парашу.— Да нет, погоди, прежде времени не радуйся!.. Не на радость будет отъезд мой обидчице!.. Пришла пора и мне свою песенку спеть!.. Доводится и мне провести свою борозду!.. Так-то, сударыня!..

— Да что ты? Очумела аль совсем рассудком рехнулась? — крепко нахмурившись, с сердцем сказала ей Фленушка.— Вбежала, ровно бешена собака, смутила веселую нашу беседу да еще невесть какие слова говорит! Образумься, непутная, уйми свое глупое сердце!..

— Не тебя корят, так ты и молчи,— на всю горницу закричала Устинья Московка.— Знаю я, знаю, кому понадобилось из обители меня спехом услать!.. Знаю!.. Нечего ухмыляться-то, Прасковья Патаповна!.. Что богатого отца дочь, так думаешь, что перед тобой все молчать должны... Нет, сударыня, не на такую напала!.. Обожжешься!..

А Параша смотрит на нее широко раскрытыми глазами и понять не может, с чего она на нее такой поклеп понесла.

— Что ты, Устиньюшка! — молвила.— Окстись! Ничего я не знаю, не ведаю, ни до каких ваших обительских делов не дохожу...

Вскочила с кровати Устинья, затопала ногами и закричала в истошный голос.

— Узнаешь ты меня, змея подколодная!.. Весь век будешь помнить меня!.. Сейчас же пойду, про все доложу Аксинье Захаровне. Пущай порадуется, пущай полюбуется на свою дочку-скромницу!.. Пущай узнает, какими делами на богомольях она занимается.

Вспыхнула Параша, зарделась как маков цвет. Вспало ей на мысли, что Устинья от кого-нибудь выведала про ночное гулянье в Улангере и о нем грозится рассказать Аксинье Захаровне. «Что будет тогда? — думает Параша в сильной тревоге.— Пропадать моей головушке! Хоть заживо в гроб ложись!.. Житья не будет, заколотят тятенька с мамынькой до полусмерти».

— Что ты? Христос с тобой! — упавшим от страха голосом чуть слышно проговорила она Устинье, и горькие слезы задрожали на ресницах ее.

Дрожа со злости и ревности, выдвинулась вперед Устинья. Еще минута, и осрамила б она Парашу словами, побила бы, может статься, и руками. Фленушка стала меж них.

— Что ты здесь?.. Бунт подымать?..— строго, холодно, величаво сказала она Устинье, и в речи ее речь Манефы послышалась.— Вон!.. Духа твоего чтоб здесь не было!.. Не то сейчас позову матушку — насидишься

в погребе либо на цепи в келарне![1] Ступай отсель до греха!

— Не запугаешь меня, потаковница! Ничем не запугаешь!..— кричала Устинья.— За самой за тобой знаю кой-что... Допреже тебя дойду я до матушки — все, про все доложу ей... Запоешь тогда у меня другим голосом.

— Ах ты, бесстыжая! — проворчала Фленушка.

Она только побледнела. Других признаков гнева, что кипел в ее сердце от дерзких намеков обезумевшей с ревности канонницы, не видно.

— Марья! — холодно сказала она головщице.— Сходи к матушке, позови сюда.

Марьюшка вышла.

— Не больно-то я испугалась,— во все горло продолжала кричать Устинья Московка.— Сама обо всем доложу... Себя не пожалею, а все расскажу... Останетесь довольны!.. Будете меня поминать!.. Не забудете!..

Дверь широко распахнулась, и на пороге явилась Манефа. Строго и гневно было лицо ее, из-под нахмуренных бровей раскаленными угольями сверкали черные глаза.

— Это что? — ровным, невозмутимым голосом повелительно сказала она.— Свары заводить?.. Сейчас к Бояркиным!.. Кони готовы — ступай!

— Матушка... да я...— зачала было Устинья, но Манефа, отступя от порога в сторону, рукой показала ей дорогу и одно только слово промолвила:

— С богом!

Стихла Устинья, поникла головой и поклонилась игуменье в ноги, говоря обычные слова прощанья:

— Матушка, прости, матушка, благослови!

— Бог простит, бог благословит! — бесстрастно ответила Манефа и, пропустив мимо себя Устинью, подошла к Дуне Смолокуровой и ласково молвила ей:

— Не погневись, Дунюшка, что шальная дура буйство при тебе завела. Этакая, прости господи, вольница!.. Вот уж вольница-то!.. Ну, забавляйтесь, девицы, забавляйтесь, а я пойду — там у меня свои гости си-

---

[1] В старину в монастырях, как мужских, так и женских, за провинности сажали на цепь в поварне. В женских монастырях сажали на погреб. Эти наказания до последнего времени удерживались в старообрядских скитах, где твердо сохранялись всякого рода старинные обычаи.

дят... А ты, Фленушка, хорошенько подружек-то потчуй — варенья бы там, что ли, достала, орешков...

И вышла из горницы.

Через час из обители Бояркиных, на тамошних лошадях, поехала Устинья Московка. Как ни старалась она хоть на минуточку свидеться с Васильем Борисычем — не удалось.

Пять верст езды, лежа в кибитке, Устинья рвалась и металась. Другие пять верст, ровно мертвая, без памяти лежала. Остальную дорогу опомнилась, но ни слова ни с кем не сказала.

* * *

Ни словом сказать, ни пером описать того счастья, той радости, что почувствовал Василий Борисыч, узнав от пришедшего из обители Бояркиных Семена Петровича об отъезде взбалмошной Устиньи. Ровно гора с плеч свалилась. Очень боялся он, чтобы ревнивая до сумасбродства канонница, не жалея ни себя, ни его, под злой час не брякнула кому-нибудь о тайных их свиданиях. Накануне Петрова дня улучила времечко Устинья, поймала Василья Борисыча где-то за околицей и осыпала его попреками за то, что с Парашей ездил на Китеж. От укоров ее сильно смутился Василий Борисыч и в ответ ни единого слова не мог вымолвить и тем уверил Устинью, что во время богомольной поездки у них что-то было. Пригрозила она, что себя не пожалеет, а всю подноготную расскажет и матушке Манефе, и Патапу Максимычу, и Аксинье Захаровне, и по всей обители разблаговестит про шашни его с Прасковьей Патаповной... И очень опасался того московский посланник — ни днем, ни ночью не было спокоя на сердце его.

«С одной ноги колода долой,— думал Василий Борисыч, выслушав радостное известие.— Приведи-ка, господи, с другой-то как-нибудь... Чапурин — медведь как есть медведь. Все боятся его, на кого гневным оком ни взглянет, всяк дрóжма дрожит... На что мать Манефа — ума палата, старица властная, и свои и чужие все перед ней преклоняются, а и та не посмела воспретить ему бесчинства, что затеял вечор во святей обители... И грозён и страшóн, все в один голос так говорят. И никуда от него не уйдешь: долга рука — везде достанет... Ох, искушение!.. Попутал же меня окаянный с этой копной связать-

ся! Как есть дерево... Ох, не то, совсем не то, что Дунюшка Смолокурова!.. Ох, искушение!.. Как цветущая яблонь пред лесными деревьями, так она пред другими девицами: очи голубиные, волосы — янтарные волны, уста — червленые ленты, розовый шипок — ланиты ее... Уязвлен аз, грешный любовию! Ох, искушение!.. А она-то, моя ненаглядная — вертоград для меня, заключен, источник радостей для меня запечатлен!.. Кому повем печаль мою?.. Ох ты, горе мое, горе великое!.. А узнает Чапурин про гулянки в Улангере?.. Живой тогда в гроб ложись!.. Мало что жизни лишит, измучит всего, истязать начнет... Ох, господи, господи! изми мя из рук врагов моих!.. К себе зовет!.. Ох, искушение!.. Пойду ли к нему на погибель?.. Угораздило ж меня с этой Парашкой связаться!.. Пропадай она совсем, окаянная!.. Не видать бы ее глазам моим!.. На беду навела, на погибель... Ох, искушение!..»

Так размышлял Василий Борисыч, спешным шагом ходя взад и вперед по светлице, а Семен Петрович той порой у окна сидел. Глядя на работных белиц, что, подоткнув подолы, подмывали затоптанную накануне прихожими богомольцами паперть часовни, облюбовал было он здоровенные, ровно из слоновьей кости выточенные, ноги одной молодой трудницы. Остамел совсем... Глаз отвести не может. «Не то, что Марьюшка,— думает.— Того же сорта, да много повальяжнее!» Но обернулась лицом поломойка: корявая, скошенный лоб, нос расплылся, красные веки, рот до ушей... Отошел от окна саратовец, плюнул.

— Что задумался? — хлопнул он по плечу Василья Борисыча.— В каких царствах, в каких государствах вольными мыслями летаешь?

— Мало ль о чем мне думать доводится? — угрюмо ответил Василий Борисыч.— Вечор бабий собор не выгорел; приеду в Москву, скажут: «Ездил не по что, привез ничего!» Неприятности, остуда!.. Вот каково мое положение!.. Поневоле задумаешься... Ох, искушение!

— Не ври, Васютка, не ври! Меня, друг любезный, на бобах не проведешь. Кой-что сами знаем, а больше того смекаем... Не об Москве задумался, не там твои мысли летают, не московской остуды, другого боишься... Все по глазам твоим вижу, все,— с лукавой улыбкой говорил ему Семен Петрович.

— Лазил, что ли, ко мне в ум-от? — нехотя улыбаясь, спросил у него Василий Борисыч.

— Лазить не лазил, а знаю, что у тебя на уме,— молвил саратовец.

— Экой прозорливец какой выискался! — пошутил Василий Борисыч.

— Да ты не смейся. В самом деле я прозорливец,— молвил Семен Петрович.— Хочешь скажу, что будет с тобой?

— Ишь пророк какой! — отшучивался Василий Борисыч.

— Пророк не пророк, а отгадчик,— молвил саратовец.— Хочешь аль нет? Сейчас могу сказать, что по скорости будет с тобой.

— Что ж такое будет со мной?

— Быть тебе, Васенька, битому, быть тебе, голубчик, колоченному,— с усмешкой сказал Семен Петрович.— О том, как бить тебя станут, ты теперь и задумался... Правду аль нет говорю?.. Ну-ка, скажи, только смотри, уговор пуще денег, не вертись, не отлынивай, сказывай всю правду... Что у тебя на мыслях лежит?.. Побоев боишься?.. Трусишь?.. Так ли?..

Смутился Василий Борисыч, молвил про себя: «Ох, искушение!» Но не успел еще слова сказать, как саратовец молвил:

— А битому быть от Патапа Максимыча.

Побледнел Василий Борисыч, смутился, хотел что-то сказать, раскрыл рот, да так и остался. Не сходят слова̀ с языка.

— А битому быть за Прасковью Патаповну,— усмехаясь, продолжал Семен Петрович.

Не ответил московский посланник. Совсем у него на уме помутилось. Думает и не может придумать, откуда саратовец его тайну узнал...

— А что, Васенька? Хорошо с девицами на Китеж ездить? — прищурив глаза, с усмешкой спросил Семен Петрович.

Тот завертелся на стуле, кругом стал оглядываться, ровно что потерял.

— А весело, через болото по кладкам идучи, середь бела дня целоваться с девицами?

Впился глазами в саратовца Василий Борисыч, от изумленья слова не может сказать.

— Весело в Улангере ночью в лесочке гулять? — сказал, наконец, Семен Петрович, хлопнув по плечу приятеля.

— Ох, искушение! — только и мог промолвить обомлевший Василий Борисыч.

— Что скажешь?.. Умею пророчить?.. Узнал, что на мыслях?..— продолжал саратовец.

— Да с чего ты взял?.. Сорока, что ль, на хвосте вести тебе принесла?..— после недолгого молчанья сказал Василий Борисыч.

— Не сорока на хвосте принесла, верные люди сказали,— молвил Семен Петрович.— Нечего таиться, Васенька! Сам видишь, что знаю твои похожденья. Лучше сознайся, да вдвоем по-приятельски посудим-порядим, как поздоровей из беды тебе вылезть. Ум хорошо, а два лучше того.

— Да нет, нет...— заговорил вконец растерявшийся московский посланник.— Ты прежде скажи — как это?..

И не договорил.

— Ну что: «как это»? — спросил саратовец.

— Да как это?.. Ох, искушение! Да что ж это в самом деле?.. Скажи на милость, кто говорил?.. Скажи, Семенушка, пожалуйста скажи...

— Кто бы ни говорил,— молвил Семен Петрович.— Не в том сила, кто про твои похожденья мне сказывал, а в том, как пособить, что посоветовать, как бы полегче из беды выпутаться. Вот что. Патап-от Чапурин зверь зверем. Дойдут до него слухи, что с тобой он поделает?

— Медведь! — со вздохом и сердечным содроганьем промолвил Василий Борисыч.

— Истинно так,— подхватил саратовец.— А знаешь, как медведь в лесу дуги гнет? Гнет — не парит, переломит — не тужит. Так и он. Ты не смотри, что ласков он до тебя, не гляди, что возлюбил тебя. Разведает про дочку, мигнуть не успеешь — на другой салтык поворотит. Тогда держись только.

— Ох, искушение! — в сильной тревоге глубоко вздохнул Василий Борисыч.

— Знаешь что, Васенька? — сказал ему Семен Петрович.— По моему рассужденью, лучше б тебе как можно скорей повенчаться с Прасковьей Патаповной... Ей-

богу!.. Вот бы покаместь я не уехал да Самоквасов Петр Степаныч здесь... Валяй, Васютка, женись! Мы бы тебе помогли самокрутку сыграть... Живой бы рукой все обладили... После бы век не знал, как и благодарить нас... Право, подумай-ка, Васенька!

— Потчевали уж меня этим,— чуть слышно промолвил Василий Борисыч.

— А коли потчевали, так нечего и раздумывать,— сказал саратовец.— Благо же пост отошел, венчаться можно... Что по́пусту время тянуть?.. Давай-ка примемся за дело. Право, мы с Петром Степанычем разом бы тебя окрутили. А после с богатой женой стал бы ты жить-поживать да нас поминать. Не всякому, друг любезный, такое дерево удается склонить!.. То подумай, что одна дочь у отца. А денег-то у него да всякого именья, что у любого вашего московского туза. По времени все твое будет. Живи тогда во всякое свое удовольствие!

— Ох, Семенушка, и подумать-то страшно,— дрожащим голосом, чуть не со слезами промолвил Василий Борисыч.— Нешто ты думаешь спустит он, хоша и женюсь на Прасковье? Он ее, поди, за первостатейного какого-нибудь прочил... Все дело испорчу ему, замыслы нарушу... Живого в землю закопает. Сам говоришь, что зверь, медведь...

— Ну, в землю-то он тебя не закопает,— усмехнулся Семен Петрович.— Побить побьет — без этого нельзя, а после все-таки смилуется, потому что ведь одна у него дочь-то. Пожалеет тоже! Своя кровь, свое рожденье! Да и тебя, как видно, он возлюбил...

— Нет, этого, Семенушка, не говори! — сказал Василий Борисыч.— От Чапурина милости ждать мне нельзя. Ведь он как расходится да учнет лютова̀ть, себя, говорят, не помнит... А кулачище-то какой!.. Си́лища-то какая!.. А мне-то много ли надо?.. Сразу решит. Рукой махнет — мокренько от меня останется.

— А ты не больно пужайся. Тут брат, чем больше робеть, тем хуже. Такое тут дело, Васенька, что как сробел, так и пропал,— продолжал Семен Петрович.— Одно то возьми, что, когда грех венцом покроешь, тебе на калачи от тестя хоша и достанется, да все ж не столько, как если узнает он про ваши лесные гулянки... Тут уж пощады не жди — на̀смерть забьет. И не уйдешь тогда

от него — и в Москве тебя сыщет и в Питере,— где хочешь, сыщет. Ему что?.. Человек богатый — что задумал, то и сделал... Мой бы совет, Васенька, скорей валять самокрутку... Что в самом деле?.. Невеста молодая, из себя красива, а богатства-то сколько?.. Клад тебе в руки дается — бери не зевай. Дурак будешь, коли не возьмешь...

— Боязно,— тоскливо отозвался Василий Борисыч.

— Полно пустое городить! Слушать даже тошно тебя, ей-богу,— продолжал Семен Петрович.—Слушай: побоев тебе не миновать, без них не обойдешься. Но ведь и побои побоям рознь: от одних побоев синяки только бывают, от других смерть... Каких желаешь?.. Расчет, братец, верный: либо биту быть, либо смерть принять... Побои поболят да перестанут, а до смерти уложит — не встанешь. А хоша и не забьет тебя до смерти, так разве лучше, как пустит калекой век доживать?.. Подумай, рассуди — человек ты умный... Скажи, дело ль я говорю?

— Ох, уж, право, не знаю, что мне и думать,— жалобно промолвил Василий Борисыч.— Дело-то, как ни поверни, со всех сторон никуда не годится... Попутал меня окаянный!.. Да и то скажу я тебе, Семенушка, по душе скажу, как старинному другу, надежному приятелю, только уж не выдай ты меня...

— Охота пустяки-то говорить! «Не выдай!» Жид, что ли я, Иуда-предатель?.. Кажись, не первый день знакомы? — сказал Семен Петрович.— Говори, коли начал. Зачинай, дружище, зачинай — раскошеливайся!

— Не по душе она мне, Семенушка,— молвил Василий Борисыч.

— Кто?

— Да Прасковья-то.

— Скоренько ж, брат, откидываться вздумал,— лукаво усмехнулся саратовец.— Неделя-то прошла ли?

— Сам не знаю, как это случилось,— сказал Василий Борисыч.— Лукавый подвел! И теперь так она мне опротивела, так опротивела, что как только вспомню про нее, тошнехонько станет!.. Как же после того век-от с ней links вековать?.. Подумай, что за жизнь у нас будет?.. Маета одна.

— Про это надо бы, Васенька, прежде было подумать, допреж улангерского лесочка. А теперь, как дело уж сделано, на увертки поздно идти,— молвил Семен

Петрович.— Нет, дружище, дело твое теперь вот какое: либо женись да принимай от тестя небольшие побои, либо брось и на погибель иди, смертного часа жди.

— Ох, господи, господи! — тосковал Василий Борисыч, хватая себя за волосы.

— Нечего пожиматься-то,— подхватил саратовец.— Жениться — горе, не жениться — вдвое. Решайся, раздумывать нечего. Долго думать — тому же быть... Состряпать, что ли, самокрутку?.. Уж я постарался бы!

— Убегу я, Семенушка! — после недолгого молчания молвил Василий Борисыч.

— Куда? — спросил Семен Петрович.— От Чапурина, брат, не ухоронишься, со дна морского достанет.

— Я бы за рубеж, к некрасовцам,— вполголоса сказал Василий Борисыч.— Там у меня много знакомцев — не выдадут. Долга рука у Чапурина, а туда не дохватит.

— А по-моему, разве только на том свете от него ты укроешься,— молвил Семен Петрович.— У тебя за рубежом знакомцы, а у него деньги в кармане. Что перетянет?.. А?.. За границу уедешь... Да ведь граница-то не железной стеной огорожена. Сыщет тебя Чапурин и там. Не забудет дочернего позора, не помрет без того, чтоб не заплатить тебе за ее бесчестье...

— А может, не узнает,— промолвил Василий Борисыч.

— Не узнает?.. Как же?.. Разве такие дела остаются втайне? — сказал Семен Петрович.— Рано ли, поздно ли — беспременно в огласку пойдет... Несть тайны, яже не откроется!.. Узнал же вот я, по времени также и другие узнают. Оглянуться не успеешь, как ваше дело до Патапа дойдет. Только доброе молчится, а худое лукавый молвой по народу несет... А нешто сама Прасковья станет молчать как ты от нее откинешься?.. А?.. Не покается разве отцу с матерью? Тогда, брат, еще хуже будет...

— Ох, искушение!.. Право, не знаю, что и делать!— с отчаяньем молвил Василий Борисыч.

— Велеть нам с Петром Степанычем самокрутку ладить скорей, вот что надобно делать,— подхватил Семен Петрович.— Мы бы с ним зàраз. Шапки с головы ухватить не успеешь, как будешь повенчан... Что же?.. Решай!..

— Подумать надо,— молвил Василий Борисыч и крепко задумался. Дуня Смолокурова с ума не сходила.

«Неужель придется нàвек расстаться с ней?» — думал московский посол.

— Ах ты, господи! — вскрикнул с досады Семен Петрович.— Ну, чего тут думать-то?.. Чего передумывать?.. За пазуху, что ли, голову-то спрячешь, как Чапурин ухватит тебя?.. Ну, Василий Борисыч, умный бы ты был человек, кабы не дурак!.. Вот уж истинно: ни рыба ни мясо, ни кафтан ни ряса... Ты ему дело, а он чепуху, ты ему вдоль, а он поперек!.. Вот уж как есть ни санà, ни манà...[1] Так леший же побери тебя, не хочу и вступаться... Пущай с тебя Чапурин шкуру с живого сдерет. Вспомянешь меня под его кулаками, вспокаешься, что не хотел слушать меня.

— Ну, уж ты и осерчал! — жалобным голосом проговорил Василий Борисыч.— Сказать ничего нельзя!.. Право... Чем бы посоветовать, потужить со мной, а он браниться! А еще приятель...

— Да как же на тебя не серчать-то? — с досадой ответил Семен Петрович.— Все дело ему как на ладóнке кажут, а он: «Подумаю!..» Нечего думать-то, коли цел хочешь быть. Венчайся, и делу конец!.. Экая мямля, прости господи!.. Эдакий чурбан!.. Вот уж настоящий пень лесной!.. Право!..

— Тебе бы только ругаться,— еще жалобней проговорил Василий Борисыч.

— Не стóишь разве?..— перебил саратовец.— Драть тебя надо, коли сам своей пользы не видишь. Все тебе рассказано, все тебе доказано; сам понимаешь, что одно спасенье тебе — жениться скорей. Не женишься — пиши письма к родным, за упокой поминали бы...

— Ин вот что,— начал было Василий Борисыч, но вдруг остановился и задумался.

После короткого раздумья, с живостью схватив Семена Петровича за руку, молвил он:

— Пойдем на всполье, Семенушка, за Каменный Вражек. Там на вольном воздухе дельней потолкуем. А здесь ты вон на всю обитель кричишь — услышать могут... Пойдем!

— Пожалуй, пойдем,— небрежно молвил саратовец.— Только, признаться, не жду, чтоб и там вышел ка-

---

[1] Выражение, употребляемое в Поволжье, взято от татар: «ни тебе, ни мне».

кой толк из наших с тобой разговоров. Потому — дурак, пользы своей не понимаешь...

Пошли, но только поравнялись с домиком Марьи Гавриловны, как глядевший из окна Патап Максимыч стал их к себе закликать:

— Ну что?.. В голове не трещит ли?.. Заходите к нам чайничать!

Пытался было Василий Борисыч отговориться недосугами, но Патап Максимыч так решительно сказал ему, чтоб тотчас же шел к нему, что смущенный московский посланник ослушаться не посмел. Как провинившийся перед хозяином пес, поджав хвост и понурив морду, робко и послушно идет на повелительный зов, так Василий Борисыч пошел в домик Марьи Гавриловны на зов Патапа Максимыча.

Саратовец не пошел. Он направил путь свой в обитель Бояркиных к будущему хозяину.

* * *

Четверо за чаем сидело, когда в уютные горенки Марьи Гавриловны вступил совсем упавший духом Василий Борисыч. Кроме Патапа Максимыча, были тут Марко Данилыч, Михайло Васильич да кум Иван Григорьич. Вчерашнего похмелья на них и следов не осталось. Чинно, степенно сидели они, дельные речи вели, о торговых делах толковали. Про волжские низовья, про астраханские рыбные промыслы шла у них речь. Марко Данилыч был знатоком этого дела. Был он один из главных поволжских рыбных торговцев.

— Садись-ка, Василий Борисыч, да слушай,— сказал Патап Максимыч, когда тот, помолясь богу и отдав каждому из сидевших по особому поклону, молча подсел к самовару.

— Поэтому выходит, что вся, значит, тамошняя рыбная часть нашими местами держится? — сказал Иван Григорьич Марку Данилычу.

— От большого возьми до малого, все здешнее. Все здешним народом работàется,— говорил Смолокуров.— Лодки ли взять, все до единой в Черноречье [1] рублены: и морские, и кусовы́е, и ловецкие, и живодные, и ре́юшки

[1] *Черноречье* — по левому берегу низовья Оки в Балахонском уезде.

с бударками, и косные[1]. Что за́ зиму их ни нарубят, все по весне на Низ плавят!.. Проволочная уда̀ из Безводного, ко́ванцы на кусовые самоловы тоже в здешних местах по Волге куют; дель на ставные сети и на плавные из Ягодного; бечева — горбатовская, лоцмана́ из Татинца да из Кадниц[2], ловцы тоже все почти из наших мест, да и промышленников взять, так здешних-то — больше половины. Исстари так повелось. Еще в те поры, как ловили рыбу «безданно, безъявочно», на рыбных промыслах ватаги[3] бывали все нижегородские... И когда московские пошлины на рыбу старыми царями были положены, сбирали их у Старого Макарья, для того что все промышленники вокруг того места проживали[4]. Самим ни́зовцам без нашего брата ввек бы с рыбой не управиться... Говорят же, что в стары годы, когда нашего брата на Низу еще не было, астраханцы заместо белой рыбицы кобылятину в Новгород слали... Значит, рыбы от кобылы отличить не могли. И до сих пор астраханцев тем дразнят. И не любят же они того присловья!

Захохотал Патап Максимыч.

— Употчевали, значит, постников калмыцкой маханиной[5],— говорил он.

---

[1] *Кусова́я морская* — длиной от 10 до 13 сажен, поднимает до 25 тысяч пудов, *ловецкая* от 3 до 4 сажен, *живодна́я* — прорезь с садком для пойманной рыбы. В ней возят живую воблу, употребляемую при ловле белуг на «кус», то есть на приманку. *Ре́юшка* — малая кусовая лодка для морского промысла, длиной 7 сажен, без закроя (палубы), с косыми парусами. При ней ходит *бударка* — узкая, с длинным носом и косым парусом. *Эмбенка* — при кусовой морской, длиной две-три сажени, без закроя. *Косная* — легкая лодка, для разъездов промысловых приказчиков и т. п., длиною от полутора до двух сажен, шестивесельная или восьмивесельная, с двумя косыми парусами.

[2] Село Нижегородского уезда на Волге. *Ко́ванец* — большой рыболовный крюк для ловли больших рыб. *Кусовой самолов* — кованцы, подвешенные на хребтине (веревка с поводцами, к коим прикреплены ко́ванцы), для ловли большой красной рыбы. *Дель* — конопляная ручная пряжа, из нее вяжут ловецкие (рыболовные) сети для промыслов в Ягодном, Княгининского уезда, и по окрестным селениям. *Ставные сети* — на красную рыбу стоят как тенета на одном месте во все время лова. *Плавна́я сеть* — подвижная, плывущая по течению реки. В Горбатове делают бечеву для ловецких снастей. *Татинец* и *Кадницы* — приволжские села Макарьевского уезда Нижегородской губернии.

[3] Место для неводного залова рыбы.

[4] *Старый Макарий* — город Макарьев на Волге, где до 1817 года бывала нынешняя Нижегородская ярмарка.

[5] *Маханина* — конина.

— Теперича на рыбных ватагах саратовцы в силу пошли, отбивают у нас рыбную часть,— продолжал Смолокуров.— Потому-то всякому здешнему тысячнику и советовал бы я этим делом заняться, поднять бы да поддержать дедовские промысла̀, не отдавать их саратовцам... Да и выгодно. Что вы, Патап Максимыч, на́ это скажете?

— Нельзя мне по разным делам разбиваться, Марко Данилыч,— ответил Чапурин.— И без того у меня их немало, дай бог и с теми управиться! Нет, уж зачем же мне лишнюю обузу брать на себя.

— Хоть для пробы ма́ленько дельце завели бы, небольшую бы ватажку на откуп взяли,— продолжал Смолокуров.— После за совет мне спасибо сказали бы. Лиха беда начать, а там все как по маслу пойдет. Право, подумайте — барыши хорошие, дело вести можно.

— Хозяйский глаз для̀ того нужен, Марко Данилыч,— молвил Чапурин.— Самому в такую даль ехать мне не приходится, а верного человека не предвидится. Знающего ведь надо.

— Конечно, знающего,— ответил Смолокуров.— Без знающих людей рыбного дела нельзя вести. Главное, верных людей надо; их «разъездными» в косных по снятым водам рассылают наблюдать за ловцами... У нас, я вам скажу, дело вот как ведется. Снявши воды, ловцам их сдаем. Искать ловцов не надо, сами нагрянут, знай, выбирай, кому отдать. Народ бедный, кормиться тоже надо, а к другим промысла́м непривычен. И как много их сойдется, сдача пойдет наперебой. Один перед другим проценты набавляет.

— Как проценты набавляет? — спросил Чапурин.

— А вот как,— стал объяснять Смолокуров.— Пишется «ловецкий контракт», без того нельзя: ряда не досада, а уговорец — нашему брату кормилец. Выговаривают, чтоб ловцы всю рыбу, что ни наловят, сдавали съемщику со скидкой десяти аль двенадцати копеек с рубля. А как пойдет у них наперебой, по двадцати да по двадцати по пяти копеек они и скидывают. Нашему брату барыш в руку и лезет...

— Понимаю теперь! — молвил Патап Максимыч.

— А кроме того, икра да вязига хозяину даром,— продолжал Марко Данилыч.— Тут-то вот ловкие разъездные и нужны, потому что ловцы — народ вор. Из

плута кроены, мошенником подбиты, с ними не зевай, во всяко время ухо востро держи.

— А что? — спросил кум Иван Григорьич.

— Да вот, к примеру сказать, как они, окаянные, раз меня самого провели,— продолжал Марко Данилыч.— Еду я в косной, навстречу другая, гляжу — наши. Разъездной, как водится, тотчас в лодку, щупом везде пробует — нет ничего. А тут баба с ребеночком, кричит сердечный, так и заливается, есть хочет, а у матери-то молока, видно, мало. Пододвигает она к себе кринку, разъездной было за нее, а баба таково жалобно говорит: «Молочко маленькому в кринке-то». Разъездной не внемлет, хочет кринку раскрыть. Жалко мне стало ребеночка, не велел трогать. Что ж... сударь мой? После узнаю — в кринке-то икра была.

Захохотал во все горло Патап Максимыч, засмеялись и его собеседники.

— Ловка же бабенка,— молвил удельный голова.— Говорится же пословица: «Хитра, мудра баба казанская, похитрей ее астраханская»...

— Да это что? — смеялся Смолокуров.— Другая баба еще вороватей перехитрила меня. Вхожу раз на косную — тоже баба с ловцами была. Сидит, грудью младенца кормит, укачивает его. Разъездной к ней; одеялишко-то на ребенке раскрыть хочет. «Бога ты не боишься,— так тихо да покорно, чуть не со слезами говорит ему бабенка,— младенчик-от у меня хворенькой, только что зака́чала его — потревожишь бедненького». Велел я бабу в покое оставить... А после слышу, каки-то ловцы диковинную стерлядь продали, фунтов в двадцать весом, от пера до глаза больше полутора аршин. Редкостная рыбина, в кои-то веки такая попадет... Что же ты думаешь? Самую ту ры́бину та бабенка у груди-то и держала... Вот тут и поди с ними!

— Ловкий народец! — молвил Патап Максимыч.— На какие, однако, хитрости ловцы-то у вас подымаются.

— Всех ихних мошенничеств ни пересказать, ни переписать,— сказал Смолокуров.

— А думается мне,— сказал Патап Максимыч,— что меньше от них плутовства-то было бы, когда бы ря́ду повыгодней для них писали. Сами посудите, много ль ловцу при таких порядках останется? Лодка-то ведь в лето сот на семь целковых рыбы наловит?.. Так ли?

— Так точно,— ответил Смолокуров.

— А велика ль на лодке артель?

— По-нашему, то есть «ватага»,— молвил Марко Данилыч.— Какова лодка... По пяти, по шести работников, и больше.

— Ну, положим теперь, что заработают они семьсот рублев на серебро,— продолжал Патап Максимыч.— Скинь двадцать пять процентов, пятьсот двадцать пять рублей останется, по восьмидесяти по семи с полтиной на брата... Не великие деньги, Марко Данилыч. И подати заплати, и семью прокорми, и оденься, и обуйся, да ведь и снасти-то, поди, ихние...

— Ихние,— подтвердил Смолокуров.

— Так вы и разочтите, много ль ему, сердечному, останется,— сказал Патап Максимыч.— Дивить ли после того, что у вас бабы стерлядей грудью кормят да в кринках икру заместо молока возят. Плуты они, мошенники!.. Так ли, Марко Данилыч? Не на́вык к плутовству, нужда доводит. Как ловцу по чести жить? И честь ведь не в честь, коли нечего есть! Нет, Марко Данилыч, не пущусь я в ваши промыслы. Бог с ними!

— Напрасно,— проговорил Смолокуров.— Барыши хорошие, лучше, чем от горянщины.

— Зато мои токари да красильщики богу на меня не пожалуются,— молвил, нахмурясь, Чапурин.— Больших барышей мне не надо. Будет с меня и маленьких. На рубль полтора наживать не хочу... Грех!

— Да кто ж на рубль полтора наживает? — вспыхнул Смолокуров.— А что, если вы за ловцов заступаетесь, так посмотрел бы я на вас, когда б у самих у вас рыбные промыслы были!.. Опять же и то сказать, не нами началось, не нами и кончится.

— Ну и будь по-вашему, а рыбой промышлять мы не согласны,— сказал Патап Максимыч.— И своими делами довольны.

Замолчал Смолокуров. Маленько обиделся он словами Патапа Максимыча.

— Ну что́, Василий Борисыч. Как же наше-то дело пойдет? — обратился Патап Максимыч к посланнику, чтобы только покончить про рыбны промысла́.

— Что́ наши дела? — мрачно отозвался Василий Борисыч.— Мои-то дела, что сажа бела.

— Это ты про скитские да про архиерейские?..— молвил Патап Максимыч.— Что мне до них... Про наши с тобою говорю.

Молчал Василий Борисыч.

— Поезжай-ка в Москву-то поскорее, управляйся там да поспешай обратно. Прямо в Осиповку приезжай,— сказал Патап Максимыч, кладя руку на плечо Василья Борисыча.

«А что́, и в самом деле? — сверкнуло в уме московского посланника.— Сам посылает. Не скажет после, что бежал, его испугавшись. Уехать до беды, в самом деле!»

— Я бы, пожалуй, не прочь хоть сейчас отселе,— сказал он Чапурину.— Чего еще ждать?.. Матушка Манефа не хотела вечор меня поддержать. Ну и бог с ней!.. А после этого здесь делать мне нечего.

— Рад слушать умные речи,— молвил Патап Максимыч, дружески хлопнув по плечу Василья Борисыча, и веселая улыбка озарила лицо его.— Когда ж в путь-дорогу?

— По мне хоть сейчас,— махнув рукой, сказал Василий Борисыч.

И вспади тут на память ему и Груня оленевская, со сковородником в руках за блинами в Маргаритиной келарне, и нежная Домнушка, которую сам оттолкнул от себя, и Устинья Московка, и Параша, и надо всеми ними в недоступной высоте восставал в его воспоминаниях светлый, чистый образ Дуни Смолокуровой с ее нежной, чарующей улыбкой, с ее глубокими, думчивыми очами!.. И жаль стало Василью Борисычу лесов керженских, чернораменских, где жилось ему так привольно и весело.

— Я отсюда сегодня же,— молвил Патап Максимыч,— вечерком по холодку поеду. Значит, здесь простимся. Так ты уж, пожалуйста, Василий Борисыч, не медли ни отъездом, ни возвратом. Что бы тебе завтра же отсюда бы выехать?..

— Постараюсь, Патап Максимыч, всячески постараюсь,— торопливо ответил московский посланник, а у самого на уме: «И от него схоронюсь и свадьбы избуду... Пособи, господи, от всех передряг подобру-поздорову отделаться!»

— Главное дело, назад скорее. Великое дело есть до тебя... Удивлю, обрадую... Хотел теперь же сказать, да лучше обожду, как воротишься,— прищурив глаза и весело улыбаясь, говорил Патап Максимыч.

А сам на уме: «И тому не хотел я сказать, как на Ветлугу его посылал, и вон какое дело вышло... Не было б и теперь чего?.. Не сказать ли уж лучше до отъезда?.. Да нет, нет!.. Тот был сорви-голова, а этот смиренник, тихоня, водой его не замутишь... Лучше после... Опять же как-то и не приходится самому дочь сватать... Обиняком бы как-нибудь. Подошлю-ка я к нему Никитишну!.. Да успеем еще!.. Это дело не волк — в лес не уйдет!»

— Денег на дорогу-то не надо ли? — спросил он у Василья Борисыча, вызвав его потихоньку в другую горницу домика.

— Своих достаточно,— ответил Василий Борисыч, смутясь от его предложенья.

— То-то, ты не ломайся. Нужны, так говори,— сказал Патап Максимыч.— Чиниться со мной теперь нечего.

Пуще прежнего смутился Василий Борисыч. Не знает, что говорить, не знает, как и отделаться от Чапурина. Совесть заговорила. «Вон ведь добрый какой! — думает он.— Зачем же я так оскорбил его, зачем так смёртно обидел?.. Подтолкнул лукавый!.. Ох, искушение!»

Распрощался с ним Патап Максимыч. Ровно сына родного трижды перекрестил, крепко обнял и крепко расцеловал. Слезы даже у старика сверкнули.

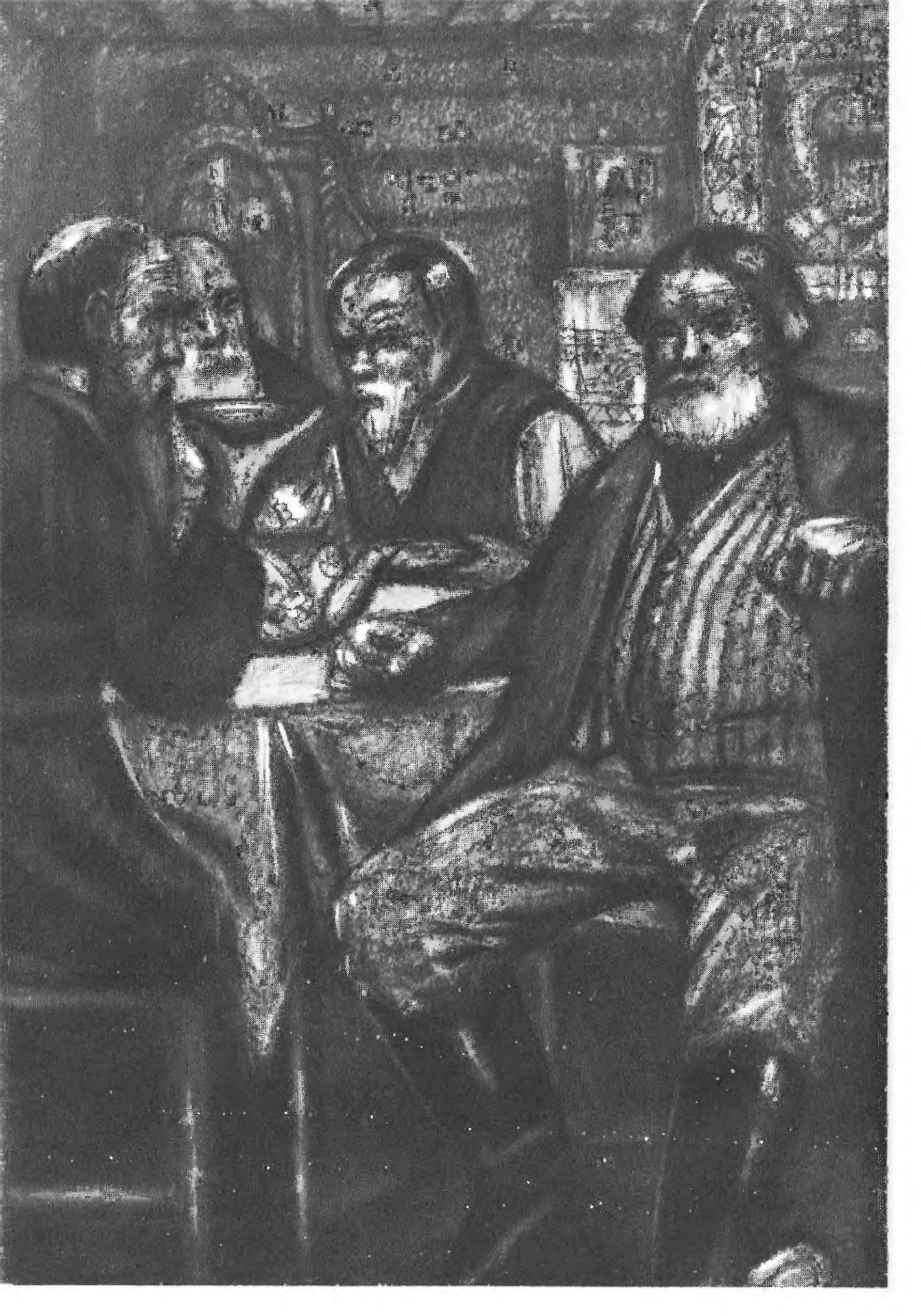
— Храни тебя господь!.. Бог на дорогу, Никола в путь! — сказал Чапурин оторопевшему Василью Борисычу.— Ворочайся, голубчик, скорее... Не томи!.. Пожалуйста, поскорее!..

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

После того как Манефа спровадила Устинью Московку из Фленушкиных горниц, веселье не вдруг воротилось в девичью беседу. Всем было как-то не по себе, особенно Дуне. Непривычна была она к тому, что́ видела и слышала. Когда девочкой росла она в Манефиной обители, ничего подобного она не видела и немало дивилась теперь, отчего это завелись в обители такие девицы.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Глава VIII



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Глава X

По скорости пришла на беседу Аграфена Петровна с развеселой, говорливой Дарьей Никитишной.

— Ну что, кра́сны девицы? Чем время коротаете? — весело спрашивала Никитишна.— Чем забавляетесь, про какие дела речь-беседу ведете?

— Да так,— ответила Фленушка.— Особым ничем не занимаемся... переливаем себе из пустого в порожнее.

— А вы бы песенку спели,— сказала Никитишна.— Мирскую нельзя, так пса́льму бы. Ты, Марьюшка, что́ так сидишь... Чего не поешь?.. Мастерица ты пса́льмы-то петь... Опять же и ты, Варюша, знаю, голубка, что у матушки Юдифы пение тобой держится... Пойте-ка, деви́цы!.. Не то сказочку какую рассказали бы... Это, чать, за грех в обителях не ставят? Аль и сказочку-то грешно сказать?

— Не водится,— молвила Фленушка.

— Ну, не водится так не водится,— продолжала Никитишна.— Да постой, Фленушка, постой!.. Ты у меня не таранти! Что сбиваешь старуху? Разве здесь одни обительские девицы? Есть и мирские. Сем-ка спрошусь я у матушки, не дозволит ли сказку вам рассказать.

И вышла и, воротясь вскоре, молвила:

— Позволила... Слушайте!

Тесным кругом окружили Никитишну девушки. Одна Аграфена Петровна одаль осталась. Села у открытого окна к пяльцам Фленушки и принялась вышивать бисером.

Зачала Никитишна:

— В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, а у царя сын Иван-царевич, из себя красавец, умный и славный, про него песни пели, сказки сказывали, красным девицам он во снях снился. Вздумалось Ивану-царевичу по белу́ свету поездить, людей посмотреть, себя показать, и пошел к батюшке царю просить родительского благословенья, государского соизволенья — ехать по белу́ свету странствовать, людей смотреть, себя казать. И дал ему царь свое благословенье и позволенье, и поехал Иван-царевич в путь-дорогу. Ездил он, ездил по разным царствам, по разным государствам — скоро сказка сказывается, не скоро дело делается — и приехал в чужедальнее государство. В том государстве за темными лесами, за зелеными лугами, за быстрыми реками, за крутыми берегами, в чистом поле,

на широком раздолье, белокаменны палаты стоят, а во тех во палатах, в высоко́м терему, у косящата окна, три девицы, три сестрицы, три красавицы сидят, промеж себя разговаривают. Иван-царевич коня осадил, стал прислушиваться. Старшая сестра говорит: «Когда б на мне Иван-царевич женился, напряла б я пряжи тонкие, наткала полотна белого, сшила бы царевичу рубашку, какой на свете досель не бывало». Середняя сестра говорит: «Когда б на мне Иван-царевич женился, выткала б я ему кафтан становой чиста се́ребра, кра́сна золота, и сиял бы тот кафтан как жар-птица». А меньшая сестра говорит: «Я ни ткать, ни прясть не горазда, а когда б на мне Иван-царевич женился, народила б я ему сынов-соколов: во лбу солнце, на затыле месяц, по бокам часты звезды, по́ локоть руки в красном золоте, по колена ноги в чистом се́ребре...»

— Знаем, знаем, что́ дальше будет,— в один голос закричали девицы.

— Чур, сказку не перебивать, а кто перебьет, тому змея в горло заползет,— с притворной досадой молвила Никитишна и так продолжала: — Иван-царевич с девицами не опознался, им не показался, поехал домой. Приходит к царю-батюшке, молит, просит родительского благословенья, государского позволенья — закон свершить, честен брак принять, на меньшой девице-сестрице жениться. И дал ему царь-батюшка родительское свое благословенье, государское позволенье — закон свершить, честен брак принять, с меньшой девицей-сестрицей побрачиться...

— Да знаем же мы эту сказку, все знаем,— в один голос опять закричали девицы.

И опять нахмурилась Никитишна, опять сказала с притворной досадой:

— Сказка от начала зачинается, до конца читается, в середке не перебивается. Слушайте, кра́сны девицы, что́ дальше было!

— Да знаем мы, всю до конца ее знаем,— веселыми криками перебивали девицы Никитишну.— Ну, Иван-царевич женился, жена народила ему сыновей, сестры позавидовали, щенятами их подменили, царевну в бочку посадили, бочку засмолили, по морю пустили...

— А коль знаете, так сами сказывайте, а я буду слушать,— молвила Никитишна.

— Да мы не умеем,— говорили ей.

— Не умеете про царевен, про королевен, так про себя поведите речь,— улыбаясь, сказала Никитишна.

— Как же так про себя? — спросила Фленушка.

— А вот как,— молвила Никитишна.— Вы девицы, хоть не родные сестрицы, зато все красавицы. И вас не три, а целых семь вкруг меня сидит — Груню в счет не кладу, отстала от стаи девичьей, стала мужней женой, своя у ней заботушка... Вот и сидите вы теперь, девицы, в высоком терему, у косящата окна, а под тем окном Иван-царевич на коне сидит... Так, что ли?

Засмеялись девицы.

— Поглядеть в самом деле, не сидит ли у кельи Иван-царевич на сивке, на бурке, на вещей каурке...— сказала чернобровая Варя улангерская.

Проходя мимо открытого окна, Фленушка заглянула в него... Как в темную ночь сверкнет на один миг молния, а потом все, и небо, и земля, погрузится в непроглядный мрак, так неуловимым пламенем вспыхнули глаза у Фленушки, когда она посмотрела в окно... Миг один — и, подсевши к столу, стала она холодна и степенна, и никто из девиц не заметил мимолетного ее оживленья. Дума, крепкая, мрачная дума легла на высоком челе, мерно и трепетно грудь поднималась. Молчала Фленушка.

— Сто лет во все окна глаза прогляди, никакого царевича здесь не увидишь,— брюзгливо промолвила Марьюшка в ответ на слова Вари улангерской.

— Ну его к богу, Ивана-царевича,— добродушно улыбаясь, сказала девицам Дарья Никитишна.— Пусть его ездит под светлым месяцем, под белыми облаками, под частыми звезда́ми. Сказывай, де́вицы, по́ ряду одна за другой, как бы каждая из вас с мужем жила, как бы стала ему угождать, как бы жизнь свою с ним повела?

— Что это вы, Дарья Никитишна! — усмехнувшись, молвила Варя, головщица улангерская.— Аль забыли, что мы Христовы невесты? В кельях живем, какие женихи к нам посватаются?

— К примеру, милая, молвится! — возразила Никитишна.— А и то сказать: здесь не одни девицы обительские; есть и такие, что, поди, зачастую про женихов с подушкой беседуют... Дунюшка, Параша, правду аль нет

говорю? — усмехнувшись, прибавила она.— Нуте-ка, девицы, зачинайте... Да смотри у меня, говорите правду, без хитростей. Котора что́ думает, без утайки, как на ладо́нке передо всеми думы свои выкладывай... А я, старуха, вас послушаю да после того каждой правду-матку скажу, котора из вас будет лучше всех. Начинай, Варюша,— обратилась она к бойкой, веселой, голосистой чернобровке улангерской, малым чем уступавшей по красоте Дуне Смолокуровой, по демественному пению Марьюшке головщице.

Долго чинилась Варя, не сразу ответа добилась от нее Никитишна. Стыдно было ей первой говорить... Облокотясь на стол, склоня хорошенькую головку на́ руку и закрывая пол-лица пышным миткалевым рукавом, долго и много она отнекивалась. Наконец, общие просьбы девиц и неотступные убежденья Никитишны развязали Варе язык.

— Когда б судьба моя не такая была, когда б не в кельях, а в миру я жила, волею замуж я не пошла бы,— так, подняв го́лову, начала говорить чернобровая смуглянка, и яркий багрянец разлился по лицу ее.— Дивлюсь я девицам, что охотой замуж выходят! Что̀ за неволя менять девичью волю на замужнюю долю? А если б по родительскому приказу была я замуж выдана, мужа бы я почитала, во всем бы воле его покорялась, всем бы ему угождала. Жирные щи он бы хлебал, кашу ел бы крутую, рассыпчатую, блины, пряженцы каждое утро пекла бы ему, все бы на нем я зашила, все бы ему зачинила, в доме добрый порядок во всем повела.

— Ладно, Ва́рюшка, хорошо ты сказала, красавица,— молвила Дарья Никитишна.— Хорошо... Добрая из тебя вышла б хозяйка, если б судьба велела тебе замужем быть. Твоя очередь, Дуня,— обратилась она к развеселой, болтливой Дуняше улангерской.

— Сама бы волей своей замуж я не пошла, как и Варя,— так зачала Дуняша, и глаза у ней загорелись, брызнув огнем искрометным.— А если б супротив воли выдали замуж меня, мужа бы я под свой салтык подвела. Ни ткать я, ни прясть не горазда, стряпать, варить не умею, горазда была бы я песенки петь. Была б у меня на муже рубашка изорванная, одежа была б у него незаплатанная, ел бы не пышно, ложился бы спать натощак. Зато веселехонько жизнь бы наша пошла: с ранней зари

муж за гудок, я бы за песенки. То-то пошло бы житье развеселое!

Все засмеялись, даже стыдливая Дуня Смолокурова. Сама Аграфена Петровна улыбнулась на затейные речи Дуняшины

— Король-девка! — вскликнула Дарья Никитишна.— Только знаешь ли, что скажу я тебе нá это, Дунюшка? Живучи с такою женой, муж-от не вытерпел бы, не гудок, а плеть в руки взял бы— запела б песню другим голосом, как раз-другой обошел бы он тебя дубо́вым корешком.

— Встарь таки дела бывали, что жен мужья бивали, а теперь сплошь да рядом живет, что жена мужа бьет, особенно как пьяненький по́д руку попадет,— подхватила Дуняша.

Так и покатились все со́ смеху.

— Ах ты, шальная!.. Ах ты, озорная!..— сама смеясь, говорила Дарья Никитишна.— Ухарь-девка, неча сказать! Хорошо, Дуняша, что в Христовы невесты угодила: замуж пошла бы, и нá печи была бы бита, и о́ печь бита, разве только печью не была бы бита... От такой жены мужу одно: либо шею в петлю, либо в омут головой.

— А туда ему и дорога! — махнув рукой, шаловливо засмеялась Дуняша.

И пуще прежнего все захохотали. А Дуняша им:

— Так уж и быть, пусть бы его уж побился, только бы сам утопился.

— Безумная!.. Что́ говоришь-то?.. Экое слово ты молвила! — вскликнула Дарья Никитишна.

— А как же, по-твоему? — сказала Дуняша и бойким, задорным взором обвела всю беседу.— Нешто лучше, как муж жену бьет, а сам топиться нейдет?..

Громкий хохот покрыл затейную речь.

— Ну, понесла!.. Пошла городить!.. Будет с тебя, довольно!.. Других надо слушать, не ты одна в нашей беседе,— молвила Дарья Никитишна.— За тобой черед,— обратилась она к сидевшей рядом с Дуняшей маленькой, беленькой Домнушке.

Заревом вспыхнуло миловидное личико нежной Домнушки, зарделось оно, ровно маков цвет. Заискрились умные очи, и ровно застыли, смежились дотоле весело смеявшиеся уста. Молчала она.

— Говори же. Что беседу задерживать? — молвила ей Дарья Никитишна.— Все говорят, все должны говорить, не тебе же одной в молчанки играть.

Собралась с духом Домнушка. Стыдясь и потупя глаза, стала она говорить:

— Не была б я самовольная, жила бы покорливо, почитала бы мужа, как крест на главе, и все по хозяйству справляла б, как следует... А попался б на горе-несчастье непутный какой и заел бы век мой, зла ему не помыслила б, сло́ва супротивного ему не молвила бы... А не стало бы силы терпеть, сама б на себя руки я наложила.

Смолкла, и все замолчали. Ни слова не молвила Дарья Никитишна, не сказала, каково показалось ей задушевное слово маленькой Домнушки.

— Марьюшка, тебе говорить,— обратилась она к головщице.

Ровно осенняя ночь, нахмурила Марьюшка брови и мрачно на беседу взглянула. С недовольным видом брюзгливую речь повела.

— Не нам бы, бессчастным, не нам, бесталанным, про брачное дело, про мирское житье разговоры водить. Мы, скитские белицы, все едино что отпетые, только в землю не закопанные мертвецы... Нет у меня ни роду, ни племени, не видала я родной матушки, про отца и не слыхивала... Бессчастная, безродная, подневольная!.. А была б я дочь отецкая, да жила б я в миру, у хороших родителей, не выдали б они меня замуж, разве сама бы охотой пошла. А вздумали б выдавать меня за постылого, нелюбимого — камень на шею да в воду бы кинулась. Кто полюбился, за того охотой пошла бы, а не стали б отдавать, убежала бы с ним, самокруткой свенчалась, поймали бы — петлю на шею. А любимого мужа всячески б стала беречь я и холить. И была бы ему я верна, не осрамила б его головы, не нанесла покора ни на род, ни на племя его... Да что пустое говорить!.. Дело нестаточное!

Все промолчали. Сказала Никитишна Фленушке:

— Твой черед.

Начала Фленушка:

— Мне про мужа гадать не приходится — сызма́льства живу я в обители. С раннего детства спозналась я с жизнью келейною. Не знаю, что и сказать тебе, Дарья Никитишна.

— Что на разуме лежит, то по правде, без утайки и сказывай,— молвила Никитишна.

— То-то и есть, что с разумом собраться не могу... Вздору, пожалуй, наплету,— сказала ей Фленушка.

— Не у попа на исправе, не на́ дух пришла исповедоваться,— заметила Дарья Никитишна.— Не для́ ради дела, ради забавы беседу ведем. И вздору наплетешь, денег с тебя за то не возьмем. А ты сказывай, не отлынивай, остальных не задерживай, черед за тобой.

— Не таковская я, чтоб отлынивать,— с живостью, высоко подняв голову и гордо оглядев круг девичий, молвила Фленушка.— Ничего не потаю, все по правде выскажу, все по истине. Слушайте!

И, закинув голову, еще раз окинула вызывающим взором беседу и так начала:

— Захотела б я замуж идти — вышла б и отсюда, могла бы бежать из обители. Дело не хитрое, к тому же бывалое. Мало разве белиц из скитов замуж бегает?.. Что ж?.. Таиться не стану — не раз бродило в голове, как бы с добрым мо́лодцем самокрутку сыграть... Да не хочу... Матушку не хочу оскорбить — вот что. А впрочем, и дело-то пустое, хлопот не сто́ит...

— Ай-ай, Фленушка! — головой покачала Никитишна.— Уж ты наскажешь, послушай только тебя.

Скитские девицы с усмешкой друг с дружкой переглянулись. На́земь опустила светлые взоры Авдотья Марковна, и стыдливый румянец облил нежное ее личико. Подняв голову от пялец, строгим, пытливым взглядом поглядела на Фленушку Аграфена Петровна, но не сказала ни слова.

— Муж жене должен быть голова, господин, а мне такого ни в жизнь не стерпеть,— не глядя ни на кого, продолжала речь свою Фленушка.— Захотел бы кто взять меня — иди, голубчик, под мой салтык, свою волю под лавку брось, пляши, дурень, под мою дудочку. Власти над собой не потерплю — сама власти хочу... Воли, отваги душа моя просит, да негде ей разгуляться!.. Ровно в каменной темнице, в тесной келье сиди!..

— Полно, Фленушка!.. Опомнись, что́ говоришь! — молвила Дарья Никитишна.

Но не слушала слов ее Фленушка и так продолжала:

— И кому б такая блажь вспала в голову, чтоб меня взять за себя?.. Не бывать мне кроткой, послушной же-

ной — была б я сварливая, злая, неугодливая!.. На малый час не было б от меня мужу спокою!.. Служи мне как извечный кабальный, на шаг из воли моей выйти не смей, все по-моему делай! А вздумал бы наперекор, на все бы пошла. Жизни не пожалела б, а уж не дала бы единого часа над собой верховодить!..

— Ну что ты в самом деле плетешь на себя? Зачем небылицы на себя наваливаешь? — пыталась уговаривать ее Никитишна.

Не сдержать табуна диких коней, когда мчится он по широкой степи, не сдержать в чистом поле буйного ветра, не сдержать и ярого потока речей, что ливнем полились с дрожащих, распаленных уст Фленушки. Брызжут очи пламенем, заревом пышет лицо, часто и высоко поднимается пышная грудь под тонкой белоснежной сорочкой.

— Слушай, беседа, что я говорю! — громко вскликнула Фленушка в ответ на уговоры Никитишны и так продолжала: — Сердце у меня, девицы, неуклончивое, никому покориться оно не захочет — такая уж я на свет уродилась. Мужа лады со мной не возьмут. Так уж лучше мне в девках свой век вековать, лучше в келье до гроба прожить, чем чужую жизнь заедать и самой на мученье идти... А может, кто из вас подумает: «Это-де она только хвастает, попусту только похваляется», так слушайте, что́ стану вам говорить: захотела б я замуж, сегодня ж могла бы уходом уйти. Не слово сказать, глазом мигнуть — жених хоть сейчас предо мной, как лист пред травой. Молод, разумен, богат и удал, а с лица — мало таких красавцев земля родила. И любит меня беззаветно — слово скажу, в огонь и в воду пойдет...

— Безумная!.. Окстись... Какие ты слова говоришь?.. — с негодованьем вскликнула Никитишна.

— Ты на речь навела, а я речь завела, теперь тебе слушать, а речь твоя впереди,— отрезала Фленушка.— В свахи, что ли, пошла, Дарья Никитишна?.. Так посватай меня!.. Ну-ка, попробуй, сыщи такого, чтобы смог меня покорить, сделал бы из меня жену боязливую, покорную да послушную .. Ну-ка, попробуй!.. Не трудись напрасно, Никитишна! Весь свет обойди, такого не сыщешь! Нет по мне человека, таков на бело́м свету и не раживался!.. Наврала на себя я, девицы, что могла б хоть сегодня же свадьбу уходом сыграть. Есть такой, да

нет его здесь. Хоть не за морем, за океаном, не за синими реками, не за высокими горами, а где-то далеко, сама не знаю я, где... А была б у нас сказка теперь, а не дело,— продолжала Фленушка взволнованным голосом и отчеканивая каждое слово,— был бы мой молодец в самом деле Иваном-царевичем, что на сивке, на бурке, на вещей каурке, в шапке-невидимке подъехал к нам под окно, я бы сказала ему, всю бы правду свою ему выпела: «Ты не жди, Иван-царевич, от меня доброй доли, поезжай, Иван-царевич, по белому свету, поищи себе, царевич, жены по мысли, а я для тебя не сгодилась, не такая я уродилась. Ищи себе другую, ищи девицу смирную, тихую, покорливую, проживешь с нею век припеваючи...» А когда б Иван-царевич сюда пришел, показала б я ему на тебя, Авдотья Марковна. Ты — водой не замути. Тому ли, другому ли будешь ты женой богоданною, сама будешь сча́стлива и муж твой счастли́в будет. Таково мое слово, девицы, и слово мое крепко!

И когда кончила Фленушка, все молчали. Ни слова не сказала и Дарья Никитишна. Мало повременя, молвила она Прасковье Патаповне:

— Тебе, Параша, теперь говорить.

Долго не отвечала Параша, как бы сбираясь с мыслями, наконец, промолвила:

— А я бы день-деньской отдыхала.

— Что-оо? — спросила Никитишна, глядя с удивленьем на Прасковью Патаповну.

— Отдыхала бы, говорю,— ответила Параша.— Спала бы, дремала, не то бы и так полежала.

И сладко зевнула, закрывшись платочком.

— А в доме хоть трава не расти? — слегка покачав головой, спросила Никитишна.

— Зачем же? — сказала Параша.— По́ дому дела работницы справляли бы... Неужто самой?..

— А с мужем-то как бы жила? — оставив работу и устремив пытливый взор на Парашу, спросила Аграфена Петровна..

Покраснела Параша и, закрывая лицо батистовым рукавом рубашки, сказала ей:

— Стыдно сказать, сестрица...

Все засмеялись, кроме Аграфены Петровны и Дуни Смолокуровой. Одна с укором поглядела на Парашу и, молча покачав головой, опять принялась за вышиванье,

другая, опустив голову и потупив глаза, молча, спокойно сидела.

— Чему смеяться-то? — быстро подняв голову и обводя беседу удивленными глазами, громко сказала Параша.— Известно, что бы делала, чай бы с мужем пила, обедала бы с ним, гуляла. Он бы из городу гостинцы привозил, платками да платьями дарил меня. Еще-то чего?..

Не сказав ни слова Параше, обратилась Никитишна к Дуне Смолокуровой:

— За тобой черед, Дунюшка. Изволь раскрыть мысли, как другие девицы их раскрывали.

Подняла белокурую головку Дуня, ясным взором, тихо и спокойно обвела круг девушек и стала говорить нежным, певучим своим голоском. Чистосердечная искренность в каждом слове звучала, и вся Дуня добром и правдой сияла.

— Замуж пойду за того, кого полюблю... Батюшка-родитель воли с меня не снимает. Неволей меня не отдаст. Кого по мысли найду, за того и пойду, и буду любить его дóвеку, до последнего вздоха,— одна сыра земля остудит любовь мою... И он будет любить меня, за иного я не пойду. А разлюбит, покинет, на другую сменяет — суди его бог, а жена мужу не судья. И хотя б разлюбил он меня, никому бы я не пожалобилась, все бы горе в себе затаила, никто бы про то не узнал... А что буду делать я замужем, как стану с мужем жить — того я не знаю. Знаю одно: где муж да жена в любви да совете, по добру да по правде живут, в той семье сам господь живет. Он и научит меня, как поступать...

Еще не кончила Дуня Смолокурова, как переставшая вышивать и с любовью во взоре глядевшая на говорившую девушку Аграфена Петровна, заслышав легкий шорох снаружи, выглянула в окно.

— А у нас под окном и в самом деле Иван-царевич сидел на завалинке,— сказала она, улыбаясь.

Бросились к окнам. По обительскому двору, закинув руки за спину и думчиво склонив голову, тихими шагами удалялся от Манефиной кельи Петр Степаныч Самоквасов.

* * *

Мать Юдифа вздумала побывать у знакомых игумений Комаровского скита. Кликнула Варю, Дуняшу и

Домнушку, с ними пошла. Аксинья Захаровна тоже вздумала посетить матерей, живших у Бояркиных и Жжениных, и взяла с собой Парашу. Марьюшку позвала по какому-то часовенному делу уставщица Аркадия, Фленушку — мать Манефа. Остались в горницах Аграфена Петровна с Дуней Смолокуровой.

— Хорошо говорила ты, Авдотья Марковна,— нежно целуя ее, молвила Аграфена Петровна.— Жаль, что этот Самоквасов помешал договорить тебе мысли свои. Хорошие мысли, Дунюшка, добрые!.. Будешь людям мила, будешь богу угодна; коль всегда такой себя соблюдешь, бог не оставит, счастья пошлет.

Тихой радостью вспыхнула Дуня, нежный румянец по снежным ланитам потоком разлился. Дóроги были ей похвалы Аграфены Петровны. С детства любила ее, как родную сестру, в возраст придя, стала ее всей душой уважать и каждое слово ее высоко ценила. Не сказала ни слова в ответ, но, быстро с места поднявшись, живо, стремительно бросилась к Груне и, крепко руками обвив ее шею, молча прильнула к устам ее маленьким аленьким ротиком.

Нацеловавшись с Дуней, Аграфена Петровна рукой обвила ее стан и тихо спросила:

— Давеча ты говорила, что Марко Данилыч воли с тебя не снимает... Заходили разве у вас речи про женихов и замужество?

— Заходили,— спокойно ответила Дуня.— Великим постом на мои именины, как я с батюшкой поутру поздоровалась, подарил он мне платье шелковое, серьги алмазные, жемчугу, шубку соболью. Поговорили мы, уйти я хотела, а он говорит: «Обожди, Дуня, надо мне с тобой словечко сказать, давно этого я дня дожидался». Посадил он меня с собой рядышком, сафьянную коробочку из стола вынул и подал мне: «Вот, говорит, тут кольцо обручальное, отдай его, кому знаешь; только, смотри, помни отцовский завет — чтоб это кольцо не распаялось, то есть чтоб с мужем тебе дóвеку жить в любви и совете, как мы с покойницей твоей матерью жили». И тут покатились у него слезы, и долго не мог он сказать мне ни слова. Я тоже заплакала... «С небесных высот она смотрит на нас, слышит голубушка, что мы теперь с тобой говорим... Не во власти ее голосок свой умильный подать, но, живучи с ней, не слыхивал я от нее никогда су-

противного слова. Что мои мысли, что ее мысли, завсегда бывали одни. И теперь, что стану тебе говорить, знай и верь, что это и мать твоя тебе говорит. Так и понимай мои речи». И опять залился слезами, и опять заплакала я. Обнял меня батюшка крепко и над головой моей выплакался. «Слушай же,— зачал опять,— сегодня восемнадцать лет тебе минуло — совсем невеста стала, хоть сейчас под венец. Доселева про эти дела я с тобой не говаривал — мала была, неразумна, полного смысла в головушке еще не было. А теперь, как восемнадцать исполнилось, девятнадцатый пошел — пришла тебе пора своим разумом жить. Слушай же, Дуня: ни мать твою, ни меня родители венцом не неволили. И я неволить тебя не стану... дал я тебе кольцо обручальное, отдай его волей тому, кто полюбится. А прежде чем отдать, со мной посоветуй — отец я тебе, кровь ты моя — худа не присоветую, а на ум молодую волю, пожалуй, добром наведу. Запрета тебе не кладу никакого — выбирай мужа по мысли, но без совета со мной колечка никому не давай». После того у нас речи о том не бывало.

— Добрый он у тебя, добрый и рассудливый,— молвила Аграфена Петровна.— Что ж, Дуня, придумала ль, кому колечко отдать? — прибавила она с ясной улыбкой.

— Нет еще, не придумала,— с детской простотой ответила Дуня.

— Никто не приглянулся? — продолжала Аграфена Петровна.

— Нет еще, покаместь никто,— улыбнулась Дуня такой улыбкой, что за эту улыбку любой молодец в огонь и в воду пошел бы.

— Не ищи, Дуня, красоты, не ищи ни богатства, ни знатности,— сказала ей Аграфена Петровна,— ума ищи, а пуще всего добрую душу имел бы, да был бы человек правдивый. Где добро да правда, там и любовь неизменна, а в любви неизменной все счастье людей.

— Сама тех же мыслей держусь,— молвила Дуня.— Что красота! С лица ведь не воду пить. Богатства, слава богу, и своего за глаза будет; да и что богатство? Сама не видала, а люди говорят, что через золото слезы текут... Но как человека-то узнать — добрый ли он, любит ли правду? Женихи-то ведь, слышь, лукавы живут —

тихим, кротким, рассудливым всякий покажется, а после венца станет иным. Вот что мне боязно...

— Богу молись,— сказала на то Аграфена Петровна.— Ты вот как делай, Дуняша. Если кто тебе по мысли придется и вздумаешь ты за него замуж идти — не давай сначала тем мыслям в себе укрепляться, стань на молитву и богу усердней молись, молись со слезами, сотворил бы господь над тобой святую волю свою. И ежели после молитвы станет у тебя на душе легко и спокойно, прими это, Дуня, за волю господню, иди тогда безо всякого сомненья за того человека,— счастье найдешь с ним. Если ж душа у тебя после молитвы не будет спокойна и сердце станет мутиться, выкинь из мыслей того человека, старайся не видеть его и больше богу молись — избавил бы тебя от мыслей мятежных, устроил бы судьбу твою, как святой его воле угодно.

— Стану так делать,— тихо, чуть слышно молвила Дуня, глядя с любовью на Аграфену Петровну.— Вот и теперь, как я поговорила с тобой, стало у меня на душе и светло и радостно, мысли улеглись, и на́ сердце стало спокойней...

— А что?.. Мысли-то, видно, бродили? — с кроткой улыбкой тихо спросила ее Аграфена Петровна.

— Немножко... Чуть-чуть...— опустив глаза, прошептала Дуня.

— Чего ж таиться? Мне-то ведь можно сказать,— молвила Аграфена Петровна, пристально взглянув на покрасневшую Дуню.

— Да нет... не сто́ит про то говорить... Так, одни пустые мысли... с ветру,— молвила Дуня и, припав к лицу Аграфены Петровны, поцелуями покрыла его.— Зачем это давеча Фленушка про меня помянула?..— тихо прошептала она.

— Молись, Дуня, молись! — говорила, лаская ее, Аграфена Петровна.

* * *

Когда Фленушка вошла в келью Манефы, та показала ей на стол, где уж лежала бумага и стояла чернильница. Манефа сказала:

— Пока гостьи ходят по обителям, напиши-ка нужные письма. Садись. К матушке Таифе пиши наперед.

Покуда Фленушка писала обычное начало письма́, Манефа стояла у окна и глядела вдаль. Глубокая дума лежала на угрюмом и грустном челе величавой игуменьи.

— Кончила,— вполголоса молвила Фленушка, подымая от письма голову.

— Пиши,— приказала Манефа и стала ходить по келье, сказывая: — «Обительский праздник святых, славных и всехвальных, верховных апостол Петра и Павла, по милости божией и за молитвы пресвятыя богородицы и всех святых, провели мы благополучно. Гостей было довольно, изо всех скитов приезжали, одних игумений было двадцать четыре, я сама двадцать пятая. После трапезы было в келарне собрание: советовали насчет архиепископа да насчет належащих нам по скорости напастей, сиречь выгонки из скитов, о чем самые верные получены известия. Об архиепископе единогласно все согласились до поры до времени обождать принятием, понеже человек неизвестен и в правой вере учинился не в давнем времени, а до того был в беспоповых, от чего и подает немалое сомнение насчет крепости в вере. Зело опасно, не осталось ли в нем кваса фарисейска, сиречь беспопового духа. И тебе бы, мать Таифа, ради всеобщего покоя порадеть — будучи на Москве, поподробну осведомись об оном Антонии, чего ради перешел из беспоповой секты в нашу истинную веру, не ради ли архиерейския почести, или каких иных житейских корыстей. И справедливы ли слухи, яко бы он до беспоповства пребывал в великороссийской и после того на Преображенском кладбище перекрещивался. Если сие справедливо, то немалую вину он к сомнению подает, меняя одну веру на другую и ругаясь святому крещению его повторением. Опять же сказывают, яко бы он двоеженец: сначала-де в великороссийской приял браковенчание, а потом, овдовев, будучи уже в беспоповых, жил немалое время с другою, нарицаемою своею женою. Когда же и сие справедливо, то никак невозможно прияти его: по апостолу бо подобает епископу быти единыя жены мужу, а двоеженцы ни в какой духовный чин, не токмо на превысокую степень архиерейства, поставляемы быть не должны. Насчет же предстоящей выгонки из скитов, хотя и предлагала я бывшим на собрании, которые к нашему городу приписаны, теперь же, не дожидаясь выгонки, перевез-

ти туда кельи, однако согласных на то не явилось. Но хотя согласных со мною и не было, однако же я от своего намерения не отступлю, и после Ильина дня расположила кельи ломать и перевозиться. Потому прошу тебя, матушка, и ради бога умоляю, поспеши ты своим прибытием —без тебя не знаю, как к чему и приступить. Святыня, которую раздала ты по Москве, пускай остается у христолюбцев впредь до утишения наших обстоятельств... А так как Василий Борисыч в скором времени возвратится в Москву и по всей чаянности станет укорять нас, что не хотели послушать его уговоров и принять того Антония, о чем он всеусердно старался, так ты и в Питере и будучи в Москве предвари и всем благодетелям нашим возвести, что не приняли мы того Антония не ради упорства и желая с ними раздора, но токмо осмотрительного ради случая; общения же ни с кем не разрываем и по-прежнему желаем пребывать в согласии и в единении веры. Потому, сама ты посуди, матушка, если мы теперь при нынешних наших обстоятельствах и по случаю выгонки из святых обителей, при тесном нашем обстоянии, да еще лишимся помощи наших благодетелей, то и жить чем, не знаем. И потому, слезно молю тебя, потолковее со всеми поговори, чтоб они гнева своего на нас не держали за временное наше, а не всегдашнее, несогласие, но, снисходя к нам, убогим, при таких налегающих на нас бедах, помогли бы своим вспоможением, сколько им господь на́ сердце положит. А говорить бы тебе им пожалостнее и сколь возможно поумильнее, дабы в сердцах своих восчувствовали к нам, сиротам, сострадание — настоит-де теперь великая нужда помочи нам, убогим, за мир христианский бога молящим. За сим, прекратя сие писание...» Обычно дописывай,— молвила Манефа,— шли прощение и благословение.

Кончила Фленушка, и Манефа, перекрестясь, подписала письмо, а потом сказала:

— К Полуехту Семенычу пиши.

Полуехту Семенычу было писано, чтоб закупил он кирпичу да изразцов для печей, а если нет готового кирпича, заказал бы скорей на заводе, а купчию бы крепость на все дома и на все дворовые места писал на ее одно Манефино имя, а совершать купчие она приедет в город сама после Казанской на возвратном пути из Шарпана.

— Так-то будет вернее, да и мне спокойней,— молвила Манефа, подписав письмо.— Помру, все тебе достанется, если на мое имя купчие совершим...

Ничего не ответила Фленушка.

— Опять я к тебе с прежними советами, с теми же просьбами,— начала Манефа, садясь возле Фленушки.— Послушайся ты меня, Христа ради, прими святое иночество. Успокоилась бы я на последних днях моих, то́тчас бы благословила тебя на игуменство, и все бы тогда было твое... Вспомнить не могу, как ты после меня в белицах останешься — обидят тебя, в нуждах, в недостатках станешь век доживать беззащитною... Послушайся ты меня, Фленушка, ради самого создателя, послушайся...

— Ах матушка, матушка! — вскликнула Фленушка и вдруг смолкла, задумалась.

— Для тебя же прошу, для твоей же пользы,— продолжала Манефа.— Исполнишь мое желание, до́веку проживешь в довольстве и почете, не послушаешь — горька́ будет участь твоя. Ты уж не махонькая, разум есть в голове: обсуди, обдумай все хорошенько... Ну скажи по чистой совести, отчего не хочешь ты меня послушаться, отчего не хочешь принять иночество?

— Не снести мне, матушка!.. Молода еще я — не могу за себя поручиться,— взволнованным голосом ответила Фленушка, и тревожные слезы послышались в упавшем ее голосе.

— Ну хорошо, не снесешь...— полушепотом сказала ей Манефа.— Что ж из того?.. Тайно соделанное тайно и судится; падение же очищается слезами и покаянием... Гласного соблазну только бы не было... А то,— вздохнув, прибавила Манефа,— все мы люди, все человеки, все во грехах, яко в блате, валяемся... Един бог без греха...

— Ах! Не знаю, что и сказать тебе, матушка! — с отчаяньем во взоре и с порывистым движеньем молвила Фленушка.

— Одумайся, сберись с мыслями! Говори, что у тебя на уме,— сказала Манефа.

Не ответила Фленушка.

— Слушай,— вдруг пораженная новой, не приходившей дотоле ей мыслью, сказала Манефа.— Не хочешь ли в мир уйти?

Зарыдала Фленушка и припала головой к плечу игуменьи.

— По мысли кого не нашла ли? — шептала ей Манефа.

— Не разрывай ты сердца моего, матушка!..— едва слышно промолвила Фленушка.

— Господи, господи!.. Вот не ждала-то я, не чаяла,— встав с места, всплеснула руками Манефа и обратила слезящий взор свой к иконам.

Наклонив голову и закрыв лицо руками, безмолвно сидела у стола Фленушка. Горько она рыдала.

Манефа тоже села. Она была в сильном волненье. Сильная краска выступила на смугло-желтом лице.

— Ни укора, ни попрека от меня не услышишь,— сдерживая порывы волнения, она говорила.— Скажи только всю истинную правду... Все, говори все, ничего не утай... Во всем покайся... все прощу, все покрою материнской любовью!

— Матушка!.. Поверь ты мне!.. Как перед богом скажу,— рыдая и ломая руки, говорила Фленушка.— Молода еще — кровь во мне ходит. Душно в обители, простору хочет душа, воли!

— Счастье не в воле, а в доле,— тихо и нежно сказала Манефа.— Неволя только крушит, а воля человека губит... Да и на что же ты ропщешь? Не в темнице живешь, за затворами за запорами?.. Разве нет тебе воли во всем?.. Говори скорей, не томи меня, всю правду скажи. Слюбилась, что ли, с кем?

Подняла Фленушка на Манефу светлый, искренний взор и сказала:

— Видит бог, что телом чиста я, как сейчас из купели.

— А душой? — спросила Манефа.

— Мутится душа, сердце горит, разрывается... Воли мне хочется!..— в сильном волненье говорила Фленушка.— Не совладать мне с собой, матушка!..

— Полюбила, что ли, кого?..— чуть слышно спросила ее Манефа, опуская на глаза креповую наметку.

Замолкла Фленушка. Долго не было от нее ответа, градом текли горькие слезы по бледному лицу девушки, и слышны были судорожные, перерывчатые рыданья.

— Нет, матушка, нет!.. Теперь никого не люблю... Нет, не люблю больше никого...— твердым голосом, но от сильного волненья перерывая почти на каждом слове речь свою, проговорила Фленушка.— Будь спокойна, ма-

тушка!.. Знаю... ты боишься, не сбежала бы я... не ушла бы уходом... Самокруткой не повенчалась бы... Не бойся!.. Позора на тебя и на обитель твою не накину!.. Не бойся, матушка, не бойся!.. Не будет того, никогда не будет!.. Никогда, никогда!.. Бог тебе свидетель!.. Не беспокой же себя... не тревожься.

— Ах, Фленушка, Фленушка! — вскликнула Манефа, горячо прижав к груди своей голову рыдавшей девушки. И слезы, давно не струившиеся из очей старицы, окропили бледное лицо Фленушки.

— Ты плачешь, матушка!..— сквозь слезы лепетала, прижимаясь к Манефе, Фленушка.— Вот какая я злая, вот какая я нехорошая!.. Огорчила матушку, до слез довела... Прости меня, глупую!.. Прости, неразумную!.. Полно же, матушка, полно!.. Утоли сердце, успокой себя... Не стану больше глупых речей заводить, никогда из воли твоей я не выйду... Вечно буду в твоем послушанье. Что ни прикажешь, все сделаю по-твоему...

— Фленушка!.. Знаю, милая, знаю, сердечный друг, каково трудно в молодые годы сердцем владать,— с тихой грустью и глубоким вздохом сказала Манефа.— Откройся же мне, расскажи свои мысли, поведай о думах своих. Вместе обсудим, как лучше сделать — самой тебе легче будет, увидишь... Поведай же мне, голубка, тайные думы свои... Дорога́ ведь ты мне, милая моя, ненаглядная!.. Никого на свете нет к тебе ближе меня. Кому ж тебе, как не мне, довериться?

— Повремени, матушка,— отирая слезы, молвила Фленушка.— Потерпи немножко. Скоро, скоро все расскажу. Все, все. А теперь... Вон матушка Юдифа идет,— прибавила она, взглянув в окошко.— Как при ней говорить... Погоди немножко, всю душу раскрою тебе...

И, поцеловав руку Манефы, тихо пошла вон из кельи. Молча глядела игуменья на уходившую Фленушку, и когда через несколько минут в келью вошла Юдифа, величавое лицо Манефы было бесстрастно. Душевного волнения ни малейших следов на нем не осталось.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Простившись с Патапом Максимычем, Василий Борисыч к Манефе пошел. Он не видался еще с нею после собора.

— Ну, что порасскажете, любезный мой Василий Борисыч? — слегка улыбнувшись, спросила его игуменья после обычного нача́ла и метаний.— Хорошо ль отдохнули после вчерашних трудов?

— После вчерашнего не скоро отдохнешь, матушка!

— Про то поминаешь, что до солнышка-то? — усмехнулась Манефа.

— Нет, матушка, не с того похмелья у меня голова болит... Вы вечор меня употчевали,— с укором сказал ей Василий Борисыч.

— Про обед говоришь?

— Не про обед, а про то, что после обеда-то было,— сказал московский посол.— Про собранье говорю, матушка, про собранье... Таково вы меня угостили, что не знаю теперь, как в Москву и глаза показать.

— Что ж делать, любезный Василий Борисыч? — вспыхнула немного Манефа.— Сам был очевидцем, сам был и послухом. Слышал, как матери приняли ваше московское послание. У всякого свой ум в голове, Василий Борисыч, у всякого свое хотенье... Всех под свой салтык не подведешь... Так-то!

— Захотели б вы, матушка, все могли бы обделать,— сказал Василий Борисыч.— Они вас во всем слушаются. Это малому даже ребенку видно. Приняли же совет ваш. Что вы сказали, то и уложили.

— А ты думаешь, так бы и послушались, если б я стала возносить вашего Антония?.. Как же!..— говорила Манефа.— Нет, Василий Борисыч, не знаешь ты наших соборов, да и людей-то здешних мало, как вижу я, знаешь. Не то что по такому великому делу, какого двести лет не бывало, по пустяшным делам, по хозяйству либо по раздаче присылок без большого шума у нас никогда не бывает. Тут, сударь, у всякой пташки свои замашки, у каждой птички свой голосок. Ум на ум не приходится, да и друг дружке покориться не хочется. Глафириных аль Игнатьевых взять, либо Нонну гордеевскую. У них на разуме: «Кто-де как хочет, а я как изволю». С такими советницами какое дело поделаешь? Грех один. И за то спасибо скажи, что наотрез не отказали тебе.

— Да разве это не отказ? — недовольным голосом сказал Василий Борисыч.

— Не отказ,— ответила Манефа.— Тебе сказали: «Повремени — подумаем». Как же ты хочешь, чтоб в та-

ком великом деле сразу согласились? То размысли, любезный Василий Борисыч: жили мы, почитай, двести годов с бегствующими попами, еще деды и прадеды наши привыкли к беглому священству. Вот мы и век доживаем, а того же сызмальства держалися. И вдруг завелись свои архиереи, свои попы, своя иерархия!.. До кого ни доведись, всяк призадумается. Не испытавши доподлинно, кто согласится принять?.. Дело душевное, великое дело!.. Ведь если что не так в вашем архиерействе окажется — навеки души-то погубим, если, хорошенько не испытавши, примем, по приказу москвичей, епископа. Когда затевали это дело, спросились ли они нас?.. Известили ль кого из наших хоть малым писанием?.. Нука, скажи.

— Как же, матушка, не спросились? — возразил Василий Борисыч.— На московском соборе от вас было двое послов: старец Илия улангерский да отец Пафнутий, керженского благовещенского монастыря строитель и настоятель.

— Несодеянные речи говоришь ты, Василий Борисыч...— молвила Манефа.— Отец-от Илия без малого двадцать лет помер, да и отцу Пафнутию больше десяти годов как преставился,— молвила Манефа.

— Про тот собор говорю я, матушка, что на Рогожском кладбище был в седьмь тысящ триста сороковом году [1], на другой год после первой холеры,— сказал Василий Борисыч.— Тогда ото всех обителей Керженских и Чернораменских предъявлено было согласие искать архиерейство и утвердить владычный стол в коем-либо зарубежном граде.

— Что б уж тебе, Василий Борисыч, про Ноев ковчег вспомянуть,— усмехнулась Манефа.— Тому делу, что сказываешь, двадцать лет минуло. Неужто во столько времени ваши московские не могли изобрать времени, чтоб о столь великом деле во всей подробности известными сделать нас?.. Сами же вы, сиречь Рогожского кладбища попечители, покойницу матушку Екатерину, мою предместницу, извещали, что деяние московского собора триста сорокового года яко не бывшее вменили. Цела у нас та московская грамота — хочешь, сейчас перед тобой выложу? После того как вновь затеяли дело,

---

[1] В 1832.

отчего ж не потребовали нашего согласья?.. Василий Борисыч! Керженец в нашем христианстве что-нибудь да значит — не деревушка какая, не городишко захолустный! Можно бы, кажется, было почтить наши святые места хоть бы самым кратким писанием. Не безвестные мы какие! Керженца имя двести годов высоко по всему христианству держалось,— как бы, кажись, его позабыть?

— Не посетуйте, матушка, что скажу я вам,— молвил Василий Борисыч.— Не забвение славного Керженца, не презрение ко святым здешним обителям было виною того, что к вам в нужное время из Москвы не писали. Невозможно было тогда не хранить крепкой тайны происходившего. Малейшее неосторожное слово все зачинание могло бы разрушить. И теперь нет ослабы христианству, а тогда не в пример грознее было. Вот отчего, матушка, до поры до времени то дело в тайне у нас и держали.

— Не к тому я молвила, чтоб жалобы тебе приносить,— сказала Манефа.— Московскими благодетелями мы очень довольны. Дай им, господи, доброго здравия и душам спасения!.. К тому говорю я, Василий Борисыч, что невозможно было вчерась от здешних матерей требовать, чтоб они, ничего не видя, так тебе вдруг и согласились на принятие архиепископа... Он же, как сам говоришь, в недавнем лишь времени к истинной вере от беспопового суемудрия обратился. А мы к тому слышали еще, о чем вчера на собранье я промолчала, якобы твой Антоний еще прежде беспоповства пребывал в великороссийской церкви, а потом перекрещеванцом стал и якобы был двоеженец. По правилам, в столь сомнительных случаях подобает все испытати подробно... Как же нас укорять, что мы испытать желаем, да не впадем в сеть ловчу?.. Сам посуди. А общения с приемлющими его не разрываем, держим только себя опасно.

— Очень неприятно это будет в Москве,— молвил Василий Борисыч.

— Мы, государь мой, не Москве, а господу богу работаем,— с важностью сказала Манефа.— Не человеческой хвалы, спасения душ наших взыскуем. Не остуды московских тузов страшимся, а вечного от господа осуждения... Вот что скажи на Москве, Василий Борисыч!

— Однако ж, матушка...— начал было Василий Борисыч, но одумался, не договорил.

— Что «однако ж»? Договаривай, коли начал,— спокойно сказала Манефа.

— Нет, я так...— смешался московский посол.

— Договаривай, договаривай,— настаивала Манефа — Ведь мы не насчет гулянок с Патапом беседуем, о деле великой важности толкуем... Скажи, что хотел говорить?

— Я было хотел сказать, что и батюшке Ивану Матвеичу, и матушке Пульхерии, и Мартыновым, и Гусевым и всем главным лицам нашего общества ваше решение станет за великую обиду. Они старались, они ради всего христианства хлопотали, а вы, матушка, ровно бы ни во что не поставили ихних стараний, не почтили достойно ихних трудов, забот и даже опасности, которой от светского правительства столько они раз себя подвергали.

— А!.. Вот что!..— с желчной раздражительностью воскликнула Манефа.— Им бы хотелось, чтоб мы по их приказу стадом баранов, сломя голову метнулись, куда им угодно?.. Нет, Василий Борисыч, на Керженце этого никогда не бывало, да никогда и не будет... Тельцу златому не поклонимся!.. Мы люди лесные, простые, московских обычаев не ведаем. У вас на Москве повелось, что в духовные дела миряне вступают,— мы того не допустим. Так и скажи им, Василий Борисыч!.. Не нам мирских богачей слушаться, по духовному делу они должны нас послушать... Они Христовой церковью, как лавками либо конторами своими, вздумали править... Этого мы не потерпим. Хотя б общенье пришлось разорвать, хотя б ото всех благодетелей оставлены были, хоть бы нам с голоду пришлось помирать, божией церкви не продадим.

— Жестоки слова ваши, матушка,— молвил сильно смущенный Василий Борисыч.— Не поскорбите на меня, а доложу я вам, что такое ваше мнение насчет попечителей и старейших членов нашего общества весьма несправедливо... Позвольте разъяснить все дело, как оно было доселе и как теперь идет.

— Будем слушать,— холодно промолвила Манефа, сложив руки на коленях и склонив голову.

Начал Василий Борисыч:

— Когда воспрещено было нашим христианам при молитвенных храмах дозволенных попов содержать, тогда по малом времени всюду настало «великое оскудение священства». Великая духовная нужда налегла повсеместно, и многие древлеблагочестивые христиане, не имея освящающих и будучи лишены церковных таин, в беспоповское суемудрие впадали, иные ж «сумленных попов» принимали — беглых солдат, либо других шатунов каких. Великое от того нестроение было, и не столько в Москве, сколько по местам отдаленным, хоть бы ваше место к примеру взять. В Москве на Рогожском кладбище доживали свой век последние дозволенные попы, и оттого нам нужды такой еще не настояло, какая вас постигла. Тогда, не о себе заботясь, а больше всего о вас, иногородных, болезнуя и сострадая словесным овцам, пастыря неимущим, первостатейные из нашего общества: Рахмановы, Соколовы, Свешниковы и многие иные, не чести ради или какого превозношения, но единственно христианского ради братолюбия и ради славы церкви Христовой, подъяли на себя великий и опасный труд — восстановить позябший от двухсотлетнего мрака корень освящения, сиречь архипастырство учредить и церковь Христову полным чином иерархии украсить... По благословению батюшки Ивана Матвеича и многих нарочито прибывших тогда в Москву отцов: Силуяна иргизского, Симеона Лаврентьева монастыря с Ветки, Рафаила Покровского монастыря, Сергия и Ипполита Никольского монастыря из слобод Стародубских, отцов Илии и Пафнутия керженских и с общего совета присланных ото всех старообрядских обществ совещателей; единогласно приговорили и, конечно, уложили: искать епископа, да проистечет от него навеки неиссякаемый источник освящения. В Питер дали знать о том, и там первостатейные лица нашего согласия стали тому делу весьма усердны: Громовы, Дрябины, Боровков и другие. Когда же милостию божиею тому делу начало было положено и приисканы люди для искания архиерея во иных державах, то дело в великой тайне оставили, опасаясь могущих возникнуть препон, каковые впоследствии оказались. И дело то происходило немалое время, и лишь только через двенадцать лет после первого Рогожского собора в зарубежной Белой Кринице водворился митрополит всех древлеправославных христиан кир Амвросий, от него же

корень епископства произыде... Не то чтобы призвать вас и других христиан, по отдаленным местам живущих, к исканию архиерейства было невозможно, но паче таить обо всем надлежало, да не разрушено было бы наше предприятие в самом начале. И теперь, по устроении священной иерархии, первостатейные наши лица всячески стараются и не щадят никаких иждивений на процветание за рубежом освященного чина, труды подъемлют, мирских властей прещения на себя навлекают, многим скорбям и нуждам себя подвергают ни чего ради иного, но единственно славы ради божией, ради утверждения святой церкви и ради успокоения всех древлеправославных христиан древлего благочестия, столь долгое время томимых гладом, не имея божественныя трапезы тела и крови Христовой.

— Кончил? — спросила Манефа, когда Василий Борисыч приостановился.

— Что ж, матушка, разве неправду говорю? — молвил он ей в ответ.

— Правда не речиста, Василий Борисыч, много слов на нее не надо, а ты сколь наговорил? — улыбнулась Манефа. — Что усердствовали московские, за то им честь и великая благодарность. А что властвовать задумали, паче меры захотели выситься над нами, то им в стыд, во срам, в позор и поношенье!.. Гордыня обуяла их, божиим делом стали кичиться и тщеславно в заслугу себе поставлять, что господь их руками устроил... Нет, Василий Борисыч, приедешь в Москву, скажи всем: «Беден, мол, и немощен старый Керженец, и дни его сочтены, но и при тесном обстоянии своем мирским людям он по духовному делу не подчинится». Вспомнили бы словеса Григория Богослова: «Почто твориши себя пастырем, будучи овцою, почто делаешися главою, будучи ногою?» Скажи им, что мы свято храним правила вселенских соборов и святых отец, а в шестьдесят четвертом правиле шестого собора что сказано? «Не подобает мирянину брати на себя учительское достоинство, но повиноватися преданному от господа чину». А что́ есть преданный от господа чин? Первее — чин освященный: епископы, пресвитеры, диаконы, за сим чин иноческий, тоже освященный... Так аль нет?.. Освященный ведь?.. Стало быть, не нас учить, не нами властительски повелевать московским мирским людям довлеет, а от нас поучаться, нам

повиноваться... Сам ты тверд в писании, лучше других знаешь. Правду аль нет говорю?.. И тебе бы, Василий Борисыч, не повеления мирян пребывающим в иноческом чину передавать, не грозить бы нам, убогим, их остудой, а их бы поучать от божественного писания, да покорятся освященным и да повинуются святей божией церкви...

— Матушка! Да какие ж от наших московских бывали к вам повеления?.. Какое властительство?.. Помилуйте! — оправдывался Василий Борисыч.— Вам только предлагают церковного ради мира и христианского общения принять архиепископа, а власти никакой над вами иметь не желают. То дело духовных чинов. Примете архиепископа — его дело будет...

— Сумнителен,— молвила Манефа.— И прежде я не раз говорила тебе, что насчет этого дела мы пока еще ни на что не решились, колеблемся... По времени увидим, что за человек ваш хваленый Антоний. А не увидим, так услышим об его действиях. Чего доброго, такой же еще будет, что Софрон. Таких нам не надо.

— Какой же ответ будет от вас? Что прикажете на Москве доложить? — после долгого молчания спросил Василий Борисыч.

— А то и ответ: желают-де повременить. Да я сама к Петру Спиридонычу письмецо с тобой пошлю, подробно опишу все наши обстоятельства и все наши сомнения. Когда думаешь отправляться?

— Да по мне чем скорее, тем лучше,— ответил Василий Борисыч.

— В Шарпан не поедешь?

— Что мне там делать? Дело мое на Керженце кончено,— сухо, недовольным голосом ответил московский посланник.

— Богородице помолился бы, чудной иконе ее поклонился бы, поглядел бы на дивную нашу святыню,— молвила Манефа.— Опять же и матушка Августа очень звала тебя — старица почтенная, уважить бы ее надо. Собрание же будет большое — еще бы потолковал с матерями. А впрочем, как знаешь: свой ум в голове.

— Нечего мне больше толковать с матерями, все было протолковано,— сказал Василий Борисыч.

— Все бы лучше съездить, а то, пожалуй, зачнут говорить: со злом-де на̀ сердце поехал от нас,— сказала

Манефа.— Мой бы совет съездить, а там мы бы и держать тебя больше не стали. А впрочем, как знаешь: мне тебя не учить.

— Не знаю, что сказать вам на̀ это, ма̀тушка,— отвечал Василий Борисыч.— Вот теперь хоть насчет бы Москвы — как приеду туда, как покажусь? Поедом заедят. Жизни не рад станешь. А ведь я человек подначальный.

Молчала Манефа.

— Разве уж к Патапу Максимычу в самом деле в приказчики идти? — молвил Василий Борисыч, думая кольнуть тем Манефу.

— Твое дело,— сухо промолвила она, глядя в окошко.

Опять замолчали.

— Счастливо оставаться, матушка,— сказал, наконец, Василий Борисыч.— Прости, матушка, благослови.

И по чину сотворил уставные метания.

— Бог простит, бог благословит,— проговорила про́щу Манефа, и Василий Борисыч медленно вышел из кельи.

* * *

Жалко стало Василью Борисычу, что на прощанье маленько поразладил он с матерью Манефой. Полюбил он умную, рассудливую старицу и во время житья в Комарове искренно к ней привязался... И вдруг на последних-то днях завелась ссора не ссора, а немалая остуда.

Обошел он знакомую обитель по всем закоулкам, на окна больше посматривал, не увидит ли где ненаглядную Дуню Смолокурову. Не удастся ль хоть глазком на нее взглянуть. Но никого, кроме Марьи головщицы, не встретил. Говорит ей Василий Борисыч:

— Домой сбираюсь, Марьюшка. Прощайте, не поминайте лихом. А не попеть ли нам на прощанье?.. Скликай девиц.

— Что мало погостил?.. Аль соскучился? — спросила Марьюшка.

— Пора и честь знать, не век же гостить,— ответил Василий Борисыч.

— А я думала, что вам от нас и повороту не будет,— вскинув на него лукавыми глазками, с легкой усмешкой промолвила Марьюшка.

— Почему ж так? — спросил Василий Борисыч.

— Так уж я догадалась,— молвила Марьюшка.

— Да с чего ж догадалась-то?.. С чего? — приставал Василий Борисыч.

— Да уж так! У меня свои приметы есть,— улыбаясь, молвила Марьюшка.

— Какие приметы?

Но сколько ни приставал Василий Борисыч, ничего больше ему не сказала:

«Ох, искушение!.. Не заметила ль и она чего в Улангере»,— подумал про себя Василий Борисыч.

«Поскорей надо Фленушке про это сказать»,— подумала Марья головщица.

— Ступайте в келарню, Василий Борисыч! Давайте в самом деле споем что-нибудь... Может статься, в остатный разок,— сказала Марьюшка.— Мигом скликну девиц.

Василий Борисыч в келарню пошел, Марьюшка к Фленушке в горницу.

* * *

Пласто́м лежала на постеле Фленушка. В лице ни кровинки, губы посинели, глаза горят необычным блеском, высокий лоб, ровно бисером, усеян мелкими каплями холодного пота. Недвижный, утомленный взор устремлен на икону, что стояла в угольной божнице.

«Все ли слышал, все ли мои речи выслушал ты, друг мой сердечный, Иван-царевич ты мой?.. Наговорила я и невесть чего... Только б остуде быть в тебе!.. Только покинул бы ты меня, горькую, забыл бы про меня, бесталанную!.. А уж как бы я любила тебя, как бы жалела, берегла тебя!.. День бы деньской и ночью во сне об одном о тебе бы я думала, во всем бы угождала другу милому, другу моему советному... Нельзя!.. Матушка!.. Во гроб ее сложишь!.. Я же бедная, а он богач — из его рук пришлось бы смотреть, его милостями жить... Да и что ему за жена келейница? Стыдно б ему было и в люди меня показать!.. Живи, мой сердечный, живи, живи с другой в счастье, в радости... Не загублю я жизни твоей... Вот бы ему в самом деле Дуня Смолокурова!.. Ох, милый ты, милый, сердечный ты мой!.. Матушка опять говорила про иночество... Пропадай моя жизнь!..» — Так

думала сама с собой Фленушка, недвижно, почти бездыханно лежа на постеле.

Вдруг влетела в горницу Марья головщица.

— Что ты, Марьюшка? — слабым голосом спросила ее Фленушка

— Я было к тебе... Да чтой-то с тобой?.. Аль неможется? — спрашивала головщица.

— И то неможется,— ответила Фленушка. тихо поднимаясь с постели.— Голова что-то болит.

— А я было с весточкой,— прищурив глаза и слегка мотнув головой, молвила Марьюшка.

— Что такое? — встав с постели и сев у окна, возле пялец, спросила Фленушка.

— Ехать сбирается,— сказала Марьюшка.

— Кто?

— Василий Борисыч.

Вскочила Фленушка с места. Мигом исчезла бледность в лице ее.

— Кто сказал? — быстро спросила она.

— Сам говорил,— молвила Марьюшка.— Певчую стаю в келарню сбирает, в останный раз хочет с нами пропеть... В келарню пошел, а я к тебе побежала — сказать...

— Врет! — топнув ногой, вскрикнула Фленушка и быстрыми шагами стала ходить взад и вперед по горнице.— Не уехать ему!.. Не пущу!.. Жива быть не хочу, а уж он не уедет!.. На Казанскую быть ему венчану... Смерти верней!..

— Да как же ты остановишь его?.. Не подначальный он нам, захочет уехать — уедет,— говорила Марьюшка.

— Так ли, этак ли, а его не пущу... Придумаю!.. Ступай, Марьюшка, сбирай девиц, пойте, да пойте как можно подольше... Слышишь?.. До сумерек пойте... А я уж устрою... Во что бы ни стало устрою!..

Вышла из горницы Марьюшка, а Фленушка по-прежнему взад да вперед по горнице быстро ходила... «Надо Параше здесь остаться». Так она придумала.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Вчерашний именинник, Петр Степаныч Самоквасов, после шумной пирушки спал долго и крепко. Проспал бы он до полден, да солнце мешало. Заглянуло в окошко

большой светлицы Бояркиных, облило горячими лучами лицо черствого именинника [1] и так стало припекать его, что, вскочив как сумасшедший и смутным взором окидывая светлицу, не сразу понял, где он. Во рту пересохло, голова как чугунная, в глазах зелень какая-то. Вспомнил, что важно справил свои именины. Взглянул на часы — стали, плюнул, выбранился, стал одеваться. Едва успел кончить, в светлицу вошла мать Таисея с чайным прибором на тагильском подносе, за ней толстая дебелая Варварушка, с боку на́ бок переваливаясь, несла кипящий самовар.

— С добрым утром поздравляю, с черствыми именинами! — с лукавой усмешкой сказала игуменья, ставя на стол поднос с чашками.

Петр Степаныч чин чином: сотворив два метания, простился, благословился.

— Никак вечор до солнышка вплоть? — по-прежнему улыбаясь, спросила мать Таисея.

— Было дело, матушка,— отрезал Самоквасов.— Признаться сказать, не помню, как и до светлицы доволокся... Шибко зашибли!

— Ах вы, греховодники, греховодники! — шутливо говорила игуменья.— Выдумают же такие дела во святой обители чинить! Что ни стоят скиты, а такого дела ни у нас, ни по другим местам не бывало... Матушка-то Манефа, поди-ка, чать, как разгневалась...

— Что мы у нее посуды переколотили! — махнув рукой, усмехнулся Самоквасов.

— Посуда-то чем провинилась? Ах вы, озорники, озорники! Ну, да уж не диви бы на вас, молодых, старики-то, старики-то туда же! Чем бы унимать молодых, а они сами! — говорила мать Таисея.

— И зачинщиками-то они были... Мы бы разве посмели? — сказал Петр Степаныч.

— Так и я думала,— молвила Таисея.— А всем затеям корень, поди, чай, Патап Максимыч. Буен во хмелю-то. Бедовый! Чуть что не по нем, только держись.

— Он, матушка, все и затевал. И Марко Данилыч тоже, и голова Михайло Васильич,— отвечал Самоквасов.— А мы, что же? Молокососы перед ними... А дру-

---

[1] *Черствыми именинами* зовут день, следующий за днем ангела.

гое слово сказать, не отставать же нам от старших. Нельзя! Непочтительно будет. Старших почитать велено, во всем слушаться... Ну, мы и слушались.

— Вестимо, их вина,— сказала Таисея.— Как молодым старших учить, как супротив их идти? Ни в больших, ни в малых, ни в путных, ни в беспутных делах так не ведется... Выкушай-ка, сударь Петр Степаныч,— прибавила она, подавая Самоквасову чашку чаю.— А не то опохмелиться не желаете ли? Я бы настоечки принесла сорокатравчатой, хорошая настоечка, да рыжечков солененьких либо кисленького чего, бруснички, что ли, аль моченых яблочков. Очень пользительно после перепоя-то. Одобряют...

— Нет уж, матушка, лучше не стану. А то чего доброго: похмеляться зачнешь, да опять запьешь,— молвил, усмехаясь, Самоквасов.— Мы уж лучше ужо, на простинах со стариками.

— Нешто седни отъезжают? — с любопытством спросила мать Таисея.

— Вечером сбираются,— ответил Петр Степаныч.— Опять у вас по скиту тишь да гладь пойдет, опять безмятежное житие зачнется. Спасайтесь тогда себе, матушки, на здоровье. От нашего брата, от буяна, помехи вам больше не будет,— шутливо прибавил он.

— Какое наше спасенье! — смиренно вздохнула мать Таисея.— Во грехах родились, во грехах и скончаемся... Еще чашечку!.. Грехи-то, грехи наши, сударь Петр Степаныч!.. Грехи-то наши великие!.. Как-то будет их нести перед страшного судию, неумытного?.. Как-то будет за них ответ-от держать!.. Ох ты, господи, господи!.. Царь ты наш небесный, боже милостивый!.. Так и Марко Данилыч седни же едет?

— Сегодня хотел,— отвечал Самоквасов.

— И с дочкой?

— Должно быть, и с дочкой.

— Гм! А мы чаяли, что Дунюшка-то маленько погостит у матушки Манефы, на старом-то на своем пепелище. Здесь ведь росла, здесь и обучалась,— говорила мать Таисея.— Впервые после того навестила наш Комаров... Видел, какая раскрасавица?.. Вот бы тебе невеста, Петр Степаныч,— прибавила, немного помолчав, мать Таисея.— Право!.. Гляди-ка, краля какая! Пышная, здоровая, кровь с молоком. А нрава тихого, кроткая, разум-

ная такая да рассудливая... Опять же одна дочь у отца, а капиталы у него великие. К твоему-то богатству да ее-то бы...

— Никак, матушка, в свахи пошла? — засмеялся Самоквасов.— В каки идешь? В жениховы, в погуби-красу али в пуховые? [1]

— К слову пришлось, сударь ты мой, Петр Степаныч, к слову пришлось, потому и сказала,— умильно проговорила мать Таисея.— А в заправские свахи как чернице идти?.. Только вас почитаючи и вашего дядюшку Тимофея Гордеича, наших великих благодетелей, я по глупому своему разуму так полагаю, что, ищи ты, сударь мой, аль не ищи себе хорошей невесты по всему свету вольному, навряд такую найдешь, как Дуняша Смолокурова. Правду тебе сказываю. Девица по всему распрекрасная, кого хочешь спроси... Право, женись-ка на ней, Петр Степаныч! Не вспокаешься!

— Не в примету мне что-то она,— небрежно молвил Самоквасов и неправду сказал.

В часовне всю службу издали на нее зарился и после того не раз взглядывал на красавицу. Думал даже: «Не Фленушке чета, сортом повыше!» Но не заговори про Дуню мать Таисея, так бы это мимо мыслей его и пролетело, но теперь вздумалось ему хорошенько рассмотреть посуленную игуменьей невесту, а если выпадет случай, так попытать у ней ума-разума да приглядеться, какова повадка у красавицы.

— А как же насчет читалки-то? — спросил Петр Степаныч, желая свести Таисею на иной разговор.

— Дело слажено,— ответила мать Таисея.— Готова, сударь мой, готова, седни же отправляется. Так матушка Манефа решила... На отправку деньжонок бы надо, Петр Степаныч. Покучиться хоть у ней же, у матушки Манефы. Она завсегда при деньгах, а мы, убогие, на Тихвинскую-то больно поиздержались.

— Сколько надо? — спросил Самоквасов, раскрывая бумажник.

---

[1] На больших, богатых свадьбах бывают три свахи: *«женихова»* — которая сватает; *«погуби-красу»*, она же *«расчеши-косу»*, иначе *«невестина»* — что находится при невесте во время свадебных обрядов и расчесывает косу после венчанья; *«пуховая»*, или *«постельная»*,— которая отводит молодых на брачную постель, а поутру убирает ее.

— Да рубликов бы десятка полтора али два, а если милость будет, так и побольше. Надо справить девицу по-хорошему. Каков дом. такова и обрядня [1], а она вишь в какой дом-от поступает,— прищурясь и с сладкой улыбкой глядя на туго набитый бумажник Петра Степаныча, говорила мать Таисея. Так блудливый, балованный кот смотрит на лакомый, запретный кус, с мягким мурлыканьем хо́дя тихонько вокруг и щуря чуть видные глазки.

— Извольте получать,— сказал Самоквасов, положив на стол три красненьких и пододвинув их рукой к игуменье.

Быстро с места поднявшись и деньги приняв, отвесила низкий-пренизкий поклон мать Таисея.

— Благодарим покорно, родимый ты мой Петр Степаныч,— заговорила она сладеньким голосом.— Благодарим покорно за ваше неоставление. Дай вам, господи, доброго здравия и души спасения. Во́веки не забудем вашей любви, завсегда пребудем вашими перед господом молитвенницами.

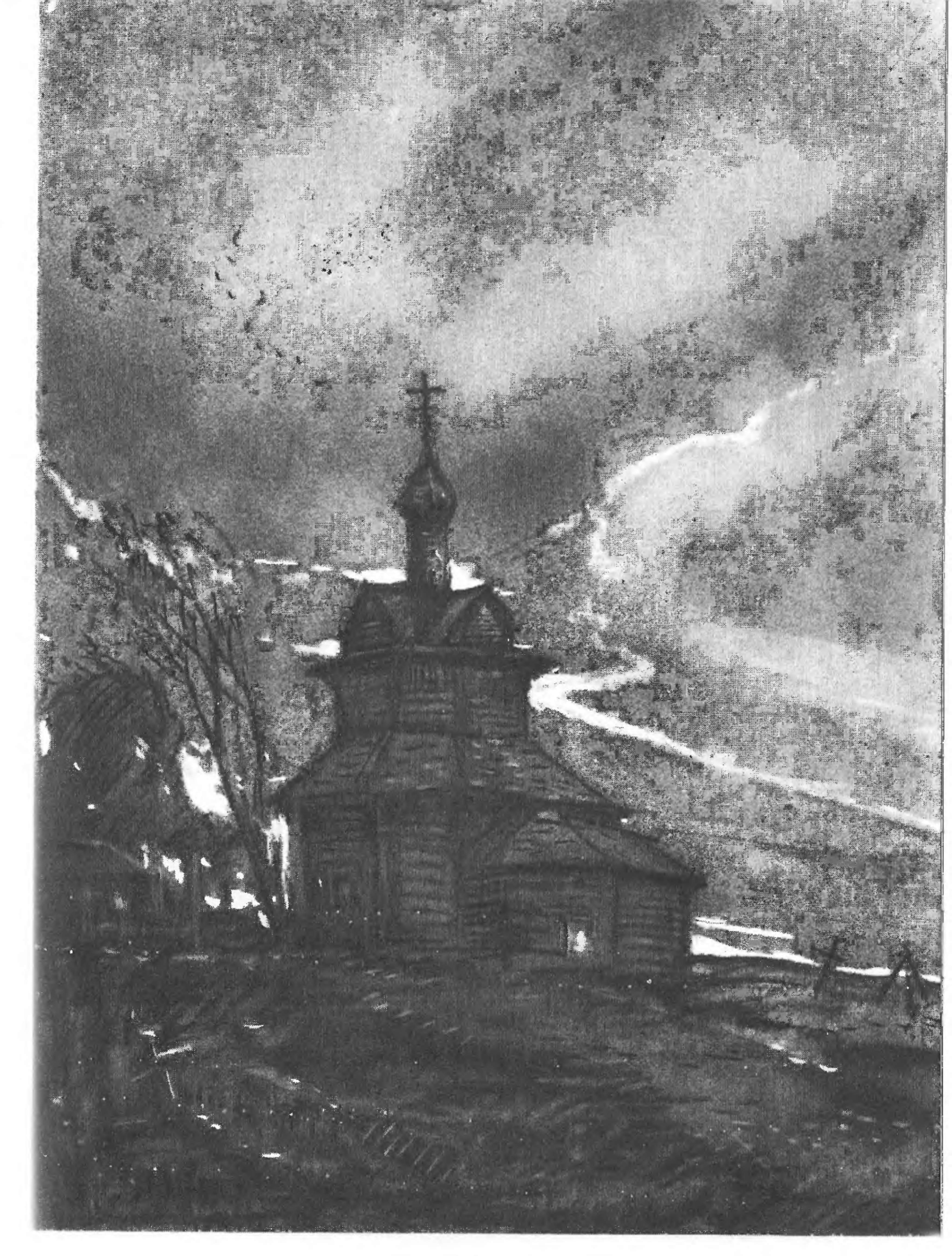
— Сегодня пошлете девицу-то? — спросил Петр Степаныч.

— Сегодня ж отправим,— ответила мать Таисея.— Я уж обо всем переговорила с матушкой Манефой. Маленько жар свали́т, мы ее и отправим. Завтра поутру́ сядет на пароход, а послезавтра и в Казани будет. Письмо еще надо вот приготовить и все, что нужно ей на дорогу. Больно спешно уж отправляем-то ее. Уж так спешно, так спешно, что не знаю, как и управимся...

— Кого отправляете? — спросил Самоквасов.

— А Устинью Московку, коли знаете у Манефиных,— отвечала мать Таисея.— Хорошая девица, искусная, завсегда в хороших домах живала, всякие порядки может наблюдать. Годов никак с пять в Москве у купцов выжила, очення довольны ею оставались. Худую к таким благодетелям, как вы, не пошлем, знаем, какую девицу к каким людям послать. И держит вокруг себя чистенько, и в беседе когда случится речистая, а насчет рукоделья ее тоже взять. А уж насчет псалтыря нечего и говорить — мало бывает таких читалок. Останетесь

[1] *Обрядня* — женское хозяйство, женский обиход — платье, белье и пр., также все до стряпни относящееся.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Глава XVI



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Глава XVIII

довольны, заверяю вас, Петр Степаныч, что останетесь довольны... Так и дяденьке отпишите: хорошую, мол, девицу мать Таисея в читалки к нам посылает.

— Бойка никак она? — заметил Самоквасов.

— Бойка, сударь, точно что бойка, потому что молода, не упрыгалась. Оттого и бойконька,— сказала мать Таисея.— Это уж завсегда так, до чего ни доведись... Возьми хоть телушку молоденькую — и та не постоит на месте, все бы ей прыгать да скакать, хвост подымя. А оттого, что молода!.. Так и человека взять, сударь ты мой, Петр Степаныч, молодость-то ведь на крыльях, старость только на печи!.. О-хо-хо-хо-хо!.. А вам бы на счет Устиньи, батюшка, не сумлеваться— отведет свое дело, как следует... Потому девушка строгая, ни до какого баловства еще не доходила, никаким мотыжничеством не занималась, а насчет каких глупостей — ни-ни. А молода, так это не беда — молодая-то сносливей да работнее. Старую послать не хитрое б дело, нашлось бы таких и в нашей обители, не стала б я чужим кланяться, да вам-то несподручно было бы с ней. Старому человеку надобен покой, потому что старые-то кости болят, ноют, а в старой крови и сугреву нет. Где старухе годову свечу выстоять. На всяку работу, каку ни возьми, Петр Степаныч, кто помоложе, тот рублем подороже. Так-то, сударь мой, так-то, родной!

— Да я ничего, я только так... К слову пришлось,— молвил Самоквасов.— По мне ничего, что бойка — на молодую-то да на бойкую и поглядеть веселее, а старуха что? Только тоску на весь дом наведет.

— Ой ты, ба́ловник, ба́ловник! — усмехнулась мать Таисея.— Не любишь старух-то, все бы тебе молодых! Эй, вправду, пора бы тебе хорошую женушку взять, ты же, кажись, мотоват, а мотоват да не женат, себе же в наклад. Женишься, так на жену-то глядючи, улыбнешься, а холостым живучи, на себя только одного глядя, всплачешься

— А воля-то молодецкая, матушка? Разве не жалко с ней расставаться? — бойко, уда́ло сказал Петр Степаныч.

— Холостая воля — злая доля,— молвила Таисея.— Сам господь сказал: «Не добро жити человеку единому». Стало быть, всякому человеку и надобно святой божий закон исполнить...

— А тебя, матушка, взять и всех ваших матерей и белиц... Не исполнили же ведь вы закону, не пошли замуж,— весело усмехаясь, подхватил Самоквасов.

— Наше дело, Петр Степаныч, особое,— важно и степенно молвила мать Таисея.— Мы хоша духом и маломощны, хоша как свиньи и валяемся в тине греховной, обаче ангельский образ носим на себе — иночество... Ангелы-то господни, сам ты не хуже нашего знаешь, не женятся, не посягают... Иноческий чин к примеру не приводи — про мирское с тобой разговариваю, про житейское...

— А может, и я постриг приму, может, и я кафтырь с камилавкой надену? — шутливо промолвил Самоквасов.

— Ох ты, инок! — засмеялась мать Таисея.— Хорош будешь, неча сказать!.. Люди за службу, а ты за те стихеры, что вечор с Патапом Максимычем пел.

— Остепенюсь! Не нарадуешься тогда, на такого инока глядючи,— с громким смехом молвил Петр Степаныч.

— А ты лучше женись да остепенись, дело-то будет вернее,— сказала на то Таисея.— Всякому человеку свой предел. А на иноческое дело ты не сгодился. Глянь-ко в зеркальце-то, посмотри-ка на свое облйчье. Щеки-то удалью пышут, глаза-то горят — не кафтырь с камилавкой, девичья краса у тебя на уме.

— Да ты, матушка, в разуме-то у меня глядела, что ли? — с веселой усмешкой промолвил Петр Степаныч.

— Глядеть, сударь, я в твоем разуме не глядела,— ответила мать Таисея,— а по глазам твои мысли узнала. До старости, сударик мой, дожила, много на своем веку людей перевидала. Поживи-ка с мое да пожуй с мое, так и сам научишься, как человечьи мысли на лице да в глазах ровно по книге читать... А вправду бы жениться тебе, Петр Степаныч... Что зря-то болтаться?.. Чем бы в самом деле не невеста тебе хоть та же Дуня Смолокурова? Сызмальства знаю ее, у нас выросла; тихая росла да уважливая; сыздетства по всему хороша была, а уж умная-то какая да покорная, добрая-то какая да милостивая!.. Право слово!.. Бывало, родитель гостинцев к празднику ей пришлет, со всеми-то она, белая голубушка, поделится, никого-то не забудет, себе, почитай, ничего не покинет, все подружкам раздаст. А как стала она подрастать, упросила родителя привозить ей с яр-

марки ситчику, холстиночки, платочков недорогих и всех-то, бывало, бедных сирот обделит. Да все ведь по тайности, чтоб люди не знали... Много за нее молельщиков перед господом было... Хорошая девица, хорошая!.. Таких только поискать!

Пришел Семен Петрович. Встал он задолго прежде назва́нного хозяина и успел уж проведать Василья Борисыча. Нашел его в целости: спал таким крепким сном, что хоть в гроб клади.

Мать Таисея, еще раз поблагодаривши Самоквасова за три красненькие, пошла хлопотать по о́тправке Устиньи Московки.

— Что, Сеня?.. Трещит в голове? — спросил Самоквасов.

— Совсем разломило,— ответил Семен Петрович.— Похмелье хуже лихоманки. Беда!.. С ног даже бьет.

— Не полечиться ли? — молвил Петр Степаныч, доставая из чемодана баклажку.

— Можно,— весело улыбнувшись и потирая руками, сказал Семен Петрович.

— Таисея потчевала меня сорокатравчатой... Дурака нашла, стану я пить ихнюю дрянь, как в баклажке есть еще померанцевая,— смеялся Петр Степаныч, наливая стаканчики.

Опохмелились. Немного погодя, еще пропустили померанцевой.

— Чаю не хочешь ли? — спросил Самоквасов.

— Чай мне не по нутру, было бы винцо поутру,— отшутился Семен Петрович.— Разве с постными сливками?

Постных сливочек из дорожного погребца достали и выпили по хорошему пуншику. Оправясь тем от похмелья, пошли из светлицы вон: Семен Петрович караулить Василья Борисыча, Самоквасов от нечего делать по честным обителям шататься, да на красных девушек глазеть.

Побывал у Глафириных, побывал и у Жжениных, побеседовал с матерями, побалясничал с белицами. Надоело. Вспало на ум проведать товарищей вчерашней погулки. Проходя к домику Марьи Гавриловны мимо Манефиной «стаи», услышал он громкий смех и веселый говор девиц в горницах Фленушки, остановился и присел под растворенным окном на завалинке.

Слушает — Никитишна сказку про Ивана-царевича сказывает. Слышит, как затеяла она, чтоб каждая девица по очереди рассказывала, как бы стала с мужем жить. Слышит, какие речи говорят девицы улангерские, слышит и Фленушку.

В жар его бросило, крупными каплями пот на лбу выступил... И наедине резко говаривала с ним Фленушка насчет замужества, но таких речей не доводилось ему слыхать от нее. «Так вот какова ты! — думает он сам про себя.— Да от этакой жены прямо в петлю головой!.. А хороша, шут ее побери — и красива, и умна, и ловка!.. Эх, Фленушка, Фленушка!.. Корнями, что ли, обвела ты меня, заколдовала, что ли, злодейка, красотой своей! И рад бы не думать про нее, да думается!.. Да не врешь ли ты, Фленушка?.. Из удали, из озорства не хвастала ли ты перед подругами?.. Да нет. Ведь и мне, хоть не теми словами, а то же в последний раз говорила. За шутку принимал, а выходит, то не шутка была... Ах, Фленушка, Фленушка!»

И в раздумье не слыхал он, что сказала Прасковья Патаповна.

Нежный, тихий говор, журчанью светлого ключа подобный, певучие звуки нежной девичьей речи вывели Самоквасова из забытья. С душевной усладой слушал он Дуню Смолокурову, и каждое слово ее крепко в душе у него залегло.

«Вот так девушка!» — подумал он. И вспомнились слова Таисеи.

Замеченный Аграфеной Петровной, быстро вскочил Самоквасов с завалины и еще быстрее пошел, но не в домик Марьи Гавриловны, где уж раздавались веселые голоса проснувшихся гостей, а за скитскую околицу. Сойдя в Каменный Вражек, ушел он в перелесок. Там в тени кустов раскинулся на сочной благовонной траве и долго, глаз не сводя, смотрел на глубокое синее небо, что в безмятежном покое лучезарным сводом высилось над землею. Его мысли вились вкруг Фленушки да Дуни Смолокуровой.

* * *

— Скучно тебе, моя милая,— говорила Аграфена Петровна Дуне Смолокуровой.— Все девицы разошлись, кто по гостям, кто по делам. Не пойти ль и нам на травке полежать, цветочков порвать?

С охотой согласилась Дуня, и обе, знакомой тропинкой спустившись в Каменный Вражек, пошли в перелесок. Выбрали там уютное место, по сочной траве платки разостлали и сели.

— Посмотрю на тебя я, Дунюшка, какая ты стала неразговорчивая,— так начала Аграфена Петровна.— А давно ль, кажется, как жили мы здесь у тетушки, с утра до́ ночи ты соловьем заливалась... Скажи по душе, по правде скажи мне по истинной, отчего такая перемена сталась с тобой? Отчего, моя милая, на слова ты скупа стала?

— В те поры, как жила я у матушки Манефы, была я дитя неразумное,— отвечала Груне Авдотья Марковна.— Одно ребячье было на уме, да и смысл-от ребячий был. А теперь,— со светлой улыбкой она промолвила,— теперь уж вышла я из подростков. Не чужими, своими глазами на свет божий гляжу...

— Что ж? — спросила Аграфена Петровна, когда Дуня вдруг оборвала́ речь.— Неужто белый свет успел надокучить тебе?

Помолчала Дуня и, припав лицом к плечу Аграфены Петровны, сказала:

— А вспомни-ка, что ты мне в ту́ пору часто говаривала. «В море туманы, в мире обманы» — таковы были речи твои. Не могла я тогда вместить твоих слов, а теперь каждый день тебя поминаю. Да, истину ты говорила мне: одни обманы на свете, правды в людях нет. Все на кривде: в торговом ли деле, в домашнем, или в другом каком. А на языке у каждого правда — всяк ее хвалит, да не всяк хранит, всяк ее ищет, а никто не творит... Претит душе моей неправда. Тяжело видеть, что вижу. А помочь ни силы нет, ни уменья. Зачнешь говорить, на́ смех подымут, ну и молчишь... Оттого малословна и стала я. Никому про то я не говаривала, тебе одной открылась. Пробовала тятеньке сказать — смеется. «Ты еще молода, говорит, поживешь подольше, уходишься».

Призадумалась Аграфена Петровна.

— Мир во зле лежит, и всяк человек есть ложь,— она молвила.— Что делать, Дунюшка! Не нами началось, милая, не нами и кончится. Надо терпеть. Такова уж людская судьба! Дело говорил тебе Марко Данилыч, что ты молоде́нька еще, не уходилась. Молодой-от

умок, Дунюшка, что молодая брага — бродит. Погоди, поживешь на свете, притерпишься.

— Что это за жизнь? И зачем родились мы на свет? — тихим голосом плакалась Дуня.

— Власть господня на то,— строго промолвила Аграфена Петровна.— Не нам судить о том, что небесный отец положил во власти своей и печатью тайны от нас запечатал! Грех великий испытывать создателя!

— Знаю это, знаю, сердечная моя, милая,— припадая к плечу Аграфены Петровны, говорила Дуня.— Да что ж делать-то мне? Не́хотя согрешишь. Тошненько в такой жизни!.. Измаялась я!

— Вот что скажу я тебе, Дунюшка,— улыбаясь светлой улыбкой, молвила Аграфена Петровна.— Знаю, отчего такие мысли бродят у тебя, отчего тошно тебе на свет вольный глядеть... Знаю и лекарство, чем исцелить тебя.

— Чем? — быстро откинувшись от плеча Аграфены Петровны, спросила Дуня.

— То колечко, что Марко Данилыч тебе подарил, надо отдать поскорее,—с улыбкой, полной любви, сказала Аграфена Петровна.

Спрятала Дуня запылавшее личико на груди ее. Ни слова сама.

— Скажи по правде, не утай от меня,— продолжала Аграфена Петровна, нежно целуя девушку в наклоненную головку.— Есть на примете кто?

— Ведь я же сказала тебе... Стану разве скрываться? Перед тобой раскрыта душа моя,— чистым, ясным взором глядя в очи Аграфены Петровны, молвила Дуня.— Были на минуту пустые мысли, да их теперь нет, и не стоит про них поминать...

— Молись же богу, чтоб он скорей послал тебе человека,— сказала Аграфена Петровна.— С ним опять, как в детстве бывало, и светел и радошен вольный свет тебе покажется, а людская неправда не станет мутить твою душу. В том одном человеке вместится весь мир для тебя, и, если будет он жить по добру да по правде, успокоится сердце твое, и больше прежнего возлюбишь ты добро и правду. Молись и ищи человека. Пришла пора твоя.

— Мудрены твои речи, Грунюшка, не понять мне их. Но ты любишь меня, а ложь никогда с языка твоего

не сходила. Верю тебе, верю, моя добрая, милая Грунюшка! — говорила Дуня, осыпая поцелуями Аграфену Петровну.

— Молись же! — молвила ей Аграфена Петровна.

— Буду молиться,— ответила Дуня.— И вот что... придется по мысли мне человек, без совета твоего за него не пойду... Ты больше меня знаешь людей, поглядишь на него и скажешь — таков ли он, какого мне надо... Скажешь?.. Скажешь, Грунюшка?.. Посоветуешь?..

— Ну, ладно, ладно,— с ясной улыбкой молвила Аграфена Петровна.— Пиши, нарочно приеду, а на свадьбе, пожалуй, и в свахи пойду.

— Не в свахи, а вместо матери,— перервала ее Дуня.— Не привел господь матушке меня вырастить. Не помню ее, по другому годочку осталась. А от тебя, Грунюшка, столь много добра я видела, столько много хороших советов давала ты мне, что я на тебя как на мать родную гляжу. Нет, уж если бог велит, ты вместо матери будь.

— Ладно, хорошо,— с горячим поцелуем ответила Аграфена Петровна.— А вот что, Дунюшка, как до свадьбы-то нас с тобой до костей перемочит?.. А?..— сказала она, взглянув на̀ небо.— За разговорами нам не в примету, что тучка набежала... Чу, гремит!.. Побежим-ка скорей, чтоб гроза не застала...

И спешным шагом пошли из лесочка.

* * *

Выпала же Петру Степанычу на черствые именины такая доля: целый день с утра до́ вечера Иваном-царевичем быть. Невзначай подслушав сокровенные речи девиц белоликих, ненароком узнал и тайные думы той, о которой стал призадумываться.

Фленушкины речи всеми сидевшими с нею приняты были за сущую правду. На завалине сидя, о́т слова до́ слова слышал их Самоквасов. Но как было угадать ему, что Фленушка нарочно взводит на себя небывальщину, заметя его под окном, с хитрою мыслью в нем любовь остудить? Ровно осенняя ночь, стало темно́ у него на душе. Но как иногда яркий солнечный луч проницает меж туч черно-сизых, так и теперь перед очами его омрачен-

ной души девственной прелести полный величаво вставал светозарный образ Дуни, и разумные, скромные речи ее слово за́ слово вспадали на память ему и, ровно целебный бальзам, капля за каплей в разбитое сердце лились...

На завалинке сидя, в первый раз услыхал он голос ее, и этот нежный певучий голосок показался ему будто знакомым. Где-то, когда-то слыхал он его и теперь узнавал в нем что-то родное. Наяву ли где слышал, во сне ли — того он не помнит. Сходны ли звуки его с голосом матери, ласкавшей его в колыбели, иль с пением ангелов, виденных им во сне во дни невинного раннего детства, не может решить Петр Степаныч.

Буря в душе закипела, когда Фленушкины речи коснулись слуха его, и вдруг будто ангел мирный, небесный крылом благодатным ту бурю покрыл... Дуни слова тихий покой на его разъяренную душу навеяли.

Полон дум придя в перелесок, долго лежал на траве благовонной, долго смотрел он на вечно прекрасную, никогда ненаглядную лазурь небосклона. Мысли менялись, роились. То с болью в сердце вспоминал обманную Фленушку, то чистую сердцем, скромную нравом Дуняшу...

Вдруг шорох в траве и шелест кустов. Кто-то идет в перелесок. Радостью о́блило сердце его, когда опознал он голоса́. Аграфена Петровна с Дуней сели от него недалеко, он притаился в кустах, лежал недвижим и безмолвен и от слова до слова выслушал весь разговор... И когда, грозы испугавшись, они удалились, Петр Степаныч долго еще лежал на траве... Ливмя лил дождь, шумно клонились вершины высокоствольных деревьев, оглушительный треск и раскаты громо́вых ударов не умолкали на небе, золотые, зубчатые молнии то и дело вспыхивали в низко нависших над землею тучах, а он недвижимо лежал на месте, с которого только что Дуня сошла, не слыша ни рева бури, ни грома, ни шума деревьев, не чувствуя ливня, не видя ярко блещущих молний...

Быстро промчалась гроза, солнце вновь засияло в безоблачной тверди небесной, деревья, кусты и трава оживились, замолкшие птички громко запели в листве древесной, а Петр Степаныч все лежал на мокрой траве в перелеске, вспоминая каждое слово пленительной Дуни.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Гости один за другим разъезжались... Прежде всех в дорогу пустился удельный голова с Ариной Васильевной. Спешил он пораньше добраться домой, чтоб на ночь залечь во ржах на любимую перепелиную охоту. Поспешно уехал и Марко Данилыч с дочерью. Поехал не прямо домой: ожидая с Низовья рыбного каравана, решил встретить его на пристани, кстати же в городе были у него и другие дела.

Пока на прощанье пили чай у Манефы, Самоквасов сидел у окна рядом с Марко Данилычем и угодничал перед ним, стараясь ему полюбиться. В том он успел. Еще поутру Марко Данилыч, говоря с Патапом Максимычем, много хвалил вчерашнего именинника. Теперь Самоквасов свел разговор с Смолокуровым на дела свои, рассказал, сколько у них всего капиталу, сколько по смерти затворника-прадеда надо ему получить, помянул про свое намеренье вести от себя торговлю по рыбной части и просил не оставить его добрым советом. Рад был Марко Данилыч и подробно стал объяснять ему рыбное дело. Внимательно слушал его Самоквасов, впиваясь глазами в красавицу дочку, что сидела напротив отца, рядом с Аграфеной Петровной.

Видя, как почтительно, с каким уваженьем ведет себя перед Марком Данилычем Самоквасов, замечая, что и родитель говорит с ним ласково и с такой любовью, что редко с кем он говаривал так, Дуня почаще стала заглядывать на Петра Степаныча, прислушиваясь к речам его. Слышит — он говорит про наследство.

— Я один, как перст, а у дяди куча детей, ему деньги нужнее. Одна голова не бедна, а бедна, так одна. С меня и четверти дедова именья достаточно, пусть другая четверть двоюродным сестрам пойдет. Девушки они хорошие, добрые. Мне одному всего не изжить.

«Он добрый»,— подумала Дуня и с удвоенным вниманьем слушала его речи.

— Что не дело, то не дело,— молвил в ответ Петру Степанычу Смолокуров.— Деньгами зря не сорят... Самому пригодятся... Не век одиноким вы проживете, и вам пора-время придет...

Говоря о рыбном промысле, Марко Данилыч, как и поутру, заметил, что с астраханскими рабочими надобно ухо держать востро.

— Мошенник народ,— сказал он.— Много уменья, много терпенья надобно с ними иметь! С одной стороны — народ плут, только и норовит обмануть хозяина, с другой стороны — урезный пьяница. Страхом да строгостью только и можно его в руках держать. И не бей ты астраханского вора дубьем, бей его лучше рублем — вычеты постанови, да после того не спускай ему самой последней копейки, всяко лыко в строку пускай. И на того не гляди, что смиренником смотрит. Как только зазнался который, прижми его при расчете.

— Простите вы меня, Марко Данилыч,— вспыхнув немного, сказал Самоквасов.— Откуда же правде в народе быть, когда мы станем неправдой его обижать?

— Поживете, сударь мой Петр Степаныч, с мое, узнаете ихнюю правду! Вор народ, одно слово вор... Страху не стало, всякий сам себе в нос подувает,— сказал Смолокуров, отирая лоб от крупного пота после пятой или шестой чашки чая.

«И добрый и за правду стоит!» — блеснуло в голове Дуни, и склонилась она к плечу Аграфены Петровны и что-то тихонько сказала ей; ясной улыбкой улыбнулась Аграфена Петровна и пристально поглядела на Петра Степаныча.

Речь зашла о прадеде Самоквасова. По спросу Марка Данилыча, рассказал Петр Степаныч, что знал про него, как был он атаманом разбойников, а потом строгим постником и как двадцать годов не выходил на свет божий из затвора.

— Мутит мне душу это наследство,— промолвил он, кончая рассказ.— Как подумаешь, что взято оно с разбою, полито кровью, боязно станет его получать...

— Да ведь это было давно,— молвил Марко Данилыч.— Восемьдесят лет, коли не больше,— восемь давностей, значит, прошло.

— У бога давностей нет,— сказал Петр Степаныч.— Люди забыли — господь помнит... Если б мне ведать, кого дедушка грабил, отыскал бы я внуков-правнуков тех, что им граблены были, и долю мою отдал бы им до копейки.

Ласкающим взором взглянула на Самоквасова Дуня, вспыхнув от родительских слов.

— Напрасно,— сказал Смолокуров.— На деньгах меток нет... Хоть и знаемы были б наследники, отдавать им не след.

— Про то говорю я, Марко Данилыч, как по божьей правде надо бы сделать, а вестимо теперь некому их мне отдавать... Поневоле владей,— сказал Петр Степаныч.

Довольное время и после того вели они разговоры о разных делах. И Петр Степаныч Смолокурову очень понравился.

Приветным, ласковым поклоном простилась Дуня с Петром Степанычем. Марко Данилыч звал его в гости и сказал, что, будучи в Казани, непременно у них побывает.

Нежно простилась Дуня с девицами, но крепче всех обнимала, всех горячей целовала Аграфену Петровну. На́ людях прощались, нельзя было по́ сердцу, по душе в последний разок перемолвиться им, но две слезинки на ресницах Дуни красней речей говорили, о чем она думала на прощанье.

Меж тем Василий Борисыч в келарне с девицами распевал. Увидав, что с обительского двора съезжает кибитка Марка Данилыча, на половине перервал он «Всемирную славу» и кинулся стремглав на крыльцо, но едва успел поклониться и мельком взглянуть на уезжавшую Дуню. Смолокуров отдал ему степенный поклон и громко крикнул прощальное слово. Она не взглянула. Как вкопанный стал на месте Василий Борисыч. Давно из виду скрылась кибитка, а он все глядел вслед улетевшей красотке...

* * *

Вечерком по холодку Патап Максимыч с Аксиньей Захаровной и кум Иван Григорьич с Груней по домам поехали. Перед тем Манефа, вняв неотступным просьбам Фленушки, упросила брата оставить Парашу погостить у нее еще хоть с недельку, покаместь он с Аксиньей Захаровной будет гостить у головы, спрыскивать его позументы. Патап Максимыч долго не соглашался, но потом позволил дочери остаться в Комарове, с тем, однако, чтоб Манефа ее ни под каким видом в Шарпан с собой не брала.

— Спа́сенница, что ли, она разъезжать-то по вашим праздникам! — говорил он сестре.— Слава богу, девка не стрижена, не стать ей по вашим бабьим соборам ша-

таться... Здесь дело другое, у тетки в гостинах, а в Шарпане незачем быть.

Согласилась Манефа. Параша осталась.

Перед самым отъездом Патап Максимыч вышел из Манефиной кельи поискать Василья Борисыча. Нашел его в светелке. Мрачен и грустен сидел московский посол; стоя перед ним, помалчивал Семен Петрович.

— Напелся ли с девками-то?.. Без мала целый день голосил... Как это у тебя горла-то не перехватит? — сказал Чапурин, войдя в светелку и подсаживаясь к столику.

— Сегодня не оченно много пели,— ответил Василий Борисыч.— Надо ж на прощанье попеть... Хоша матушка Манефа меня и обидела, а все-таки я, поминаючи, каково ласково она приняла меня и всячески у себя в обители упокоила, готов послужить ей, чем только могу.

— Аль побранились? — с усмешкой спросил Патап Максимыч.

— Браниться не бранились, а вчерашнее оченно мне оскорбительно,— ответил московский посол.— Сами посудите, Патап Максимыч, ведь я на матушку Манефу, как на каменну стену, надеялся. Сколько времени она делом тянула и все время в надежде держала меня. Я и в Москву в таком роде писал. А как пришло время, матушка и в сторону. В дураки меня посадила.

— А ты про одни дрожди не поминай трожды. Про то говорено и вечор и сегодня. Сказано: плюнь и вся недолга́,— говорил Патап Максимыч.— Я к тебе проститься зашел, жар посвалил, ехать пора... Смотри ж у меня, ворочай скорей, пора на Горах дела зачинать... Да еще одно дельце есть у меня на уме... Ну, да это еще как господь даст... Когда в путь?

Зорко глянул Семен Петрович на Василья Борисыча, ожидая, что-то ответит он. Василий Борисыч сказал:

— Медлить не стану, как исправлюсь, так и поеду.

— А ты бы завтра,— молвил Патап Максимыч.

— Завтра исправлюсь, завтра и поеду. Нечего мешкать. Как знают матери, так пущай себе и делают. Мое дело теперь сторона,— ответил Василий Борисыч.

— Говорить нельзя с тобой,— с нетерпением вскликнул Чапурин.— Через каждое слово либо посконный архиерей, либо чернохвостая скитница!.. Не поминай ты мне этих делов!.. Терпеть не могу!

— Ох, искушение!..— Чуть слышно проговорил Василий Борисыч. И громко промолвил: — Когда разделаюсь, тогда и поминать не стану, а теперь нельзя умолчать, потому что еще при том деле стою.

— Конечно, так, да слушать-то больно противно,— сказал Патап Максимыч.— Дён через пять в город я буду. Ежели к тому времени подъедешь, побывай у меня. К Сергею Андреичу Колышкину зайди, к пароходчику, дом у него на горке у Ильи пророка — запиши для памяти. Он тебе скажет, где меня отыскать.

— Очeнно хорошо, Патап Максимыч,— сказал московский посол и записал в памятную книжку, где Колышкин живет.

— Ну, ин прощаться давай, ехать пора,— вставая со стула, сказал Чапурин.— Ох, ехать бы тебе со мной, Васенька, у меня же в кибитке и место есть. Прасковью здесь покидаю, а кибитка у меня на троих. Мы бы с тобой у Михайлы Васильича погостили, с позументами хорошенько б поздравили его, в Городец бы съездили, там бы я останну горянщину сплавил, а ты бы присмотрелся к тому делу, на краснораменски мельницы свозил бы тебя, а оттуда в город. Пожили б там денек-другой, а там и в Москву с богом. Сбирайся-ка, поедем вместе.

— Не успеть мне так скоро собраться, Патап Максимыч. Тоже надо с матерями проститься,— молвил Василий Борисыч.

— Плюнь!.. Стоят они того, чтобы с ними прощаться!.. Право бы, вместе поехали! То-то бы весело было!

— Нельзя не проститься,— молвил Василий Борисыч.— Не водится так, сами посудите.

— Ну, быть по-твоему, делай, как знаешь,— сказал Чапурин.— А в городу́ у Колышкина понаведайся... Для того больше и зашел я к тебе... Ну, прощай!.. А не то пойдем вместе к Манефе.

— Не знаю как,— замялся было Василий Борисыч.

— Чего не знаешь?.. Идти-то как?.. А ты переставляй ноги-то одну за другой — дойдешь беспременно — хмельной не дойдешь, а трезвый ничего...— засмеялся Патап Максимыч.— Ну, пойдем же. Чего еще тут?

Не больно хотелось Василью Борисычу после утренней размолвки идти к Манефе, но волей-неволей пошел за Патапом Максимычем.

Без хлеба, без соли не проводины — без чаю, без закуски Манефа гостей со двора не пустила. Сидя у ней в келье, про разные дела толковали, а больше всего про Оленевское. Мать Юдифа с Аксиньей Захаровной горевали, Манефа молчала, Патап Максимыч подсмеивался.

— Вот запрыгают-то!..— трунил он, обращаясь к Василью Борисычу.— Ровно мыши в подполье забегают, когда ежа к ним пустишь! Поедем, Василий Борисыч, смотреть на эту комедь. У Макарья за деньги, братец мой, такой не покажут, а мы с тобой даром насмотримся.

Не ответил Василий Борисыч.

— Полно тебе греховодничать-то! — плаксиво вступилась Аксинья Захаровна.— Людям беда, разоренье, ему одни смехи! Бога ты не боишься, Максимыч.

— Ты уж пойдешь!.. Нельзя и шутку сшутить!..— едва нахмурясь, молвил с малой досадой Чапурин.— В ихнем горе-беде, бог даст, пособим, а что смешно, над тем не грех посмеяться.

— Попомни хоть то, над чем зубы-то скалишь? — продолжала мужа началить Аксинья Захаровна.— Домы божии, святые обители хотят разорять, а ему шутки да смехи... Образумься!.. Побойся бога-то!.. До того обмиршился, что ничем не лучше татарина стал... Нечего рыло-то воротить, правду говорю. О душе-то хоть маленько подумал бы. Да.

— Авось как-нибудь да спасемся,— продолжал свои шутки Патап Максимыч.— Все скиты, что их ни есть, найму за себя бога молить, лет на десять вперед грехи отмолят... Так, что ли, спа́сенница? — обратился он к сестре.

— Праздные слова говоришь, а всякое праздное слово на последнем суде с человека взыщется,— сухо молвила Манефа.

— Без тебя знают, нечего учить-то меня! — подхватил Патап Максимыч.— А ты вот что скажи: когда вы пустяшных каких-нибудь грехов целым собором замолить не сумеете, за что же вам деньги-то давать? Значит, все едино, что псу их под хвост, что вам на каноны...

— Да ты ума рехнулся! — быстро с места вскочив и подступая к мужу, закричала во весь голос Аксинья Захаровна.— Смотри у меня!..

— Заершилась! — шутливо молвил Патап Максимыч, отстраняясь от жены.— Слова нельзя сказать, то́т-

час заартачится!.. Ну, коли ты заступаешься за спасенниц, говори без бабьих уверток — доходны их молитвы до бога аль недоходны? Стоит им деньги давать али нет?

Плюнула Аксинья Захаровна чуть не прямо в лицо Патапу Максимычу, отвернулась и смолкла.

Покаместь Чапурин с женой перебранивался, Василий Борисыч молча глядел на Парашу... «Голубушка Дуня, как сон, улетела,— думал он сам про себя.— Не удалось и подступиться к ней... И Груня уехала — разорят Оленево, прости-прощай блинки горяченькие!.. И Устинью в Казань по воде унесло... Одна Прасковья... Аль уж остаться денька на четыре?.. Аль уж проститься с ней хорошенько?.. Она же сегодня пригожая!.. Что ж? Что раз, что десять, один ответ».

* * *

Проводив Патапа Максимыча и кума Ивана Григорьича, Фленушка с Парашей ушли в свою горницу. Василий Борисыч с глазу на глаз с Манефой остался. Стал он подъезжать к ней с речами угодливыми, стараясь смягчить утреннюю размолвку.

Так он начал:

— Какое горестное известие получили вы, матушка!.. Про Оленево-то!.. Признаться вам по всей откровенности, до сегодня не очень-то верилось мне, чтоб могло последовать такое распоряжение! Лет полтораста стоят скиты Керженские, и вдруг ни с того ни с сего вздумали их разорять! Не может этого быть, думал я. А теперь, когда получили вы такое известие, приходится верить.

— Да, Василий Борисыч,— вздохнула Манефа.— Дожили мы до падения Керженца.

— И ныне, как подумаю я о таких ваших обстоятельствах,— продолжал московский посланник,— согласен я с вами, матушка, что не время теперь вам думать об архиепископе. Пронесется гроза — другое дело, а теперь точно нельзя. За австрийской иерархией наблюдают строго, и если узнают, что вы соглашаетесь, пожалуй, еще хуже чего бы не вышло.

— То-то и есть, Василий Борисыч. А я-то что же тебе говорила? — молвила Манефа.

— Надивиться не могу вашей мудрости, матушка,— подхватил московский посол.— Какая у вас во всем про-

зорливость, какое во всех делах благоразумие! Поистине, паче всех человек одарил вас господь дарами своей премудрости...

— Полно лишнее-то говорить, Василий Борисыч, не люблю, как льстивы речи мне говорят,— молвила Манефа.— А тому я рада, что сам ты уверился, в какой мы теперь невозможности владыку принять. Приедешь в Москву, там возвести: таковы, мол, теперь на Керженце обстоятельства, а только-де гонительное время минет, тогда по скитам и решатся принять. А меж тем испытают, мол, через верных людей об Антонии. Боятся, мол, не вышел бы из него другой Софрон святокупец. Тем-де сумнителен тот Антоний, что веры частенько менял, опасаются, дескать, не осталось ли в нем беспопового духа, да к тому ж, мол, ходят слухи, что он двоежен... Разрешатся наши сомненья, примем его, не разрешатся — на Спасову волю останемся... Пусть он, сый человеколюбец, сам управит наши души... Так и скажи на Москве, Василий Борисыч. А на меня не посетуй, что давеча крутенько сказала... Прости Христа ради!

И низко поклонилась Василью Борисычу. А он тотчас ей два метания по чину сотворил, обычно приговаривая:

— Матушка, прости, матушка, благослови!

— Бог простит, бог благословит! — сотворила прóщу игуменья. И опять оба сели за стол и продолжали беседу.

— Когда в Москву-то думаешь ехать? — спросила Манефа.

— Поскорей бы надо, матушка,— ответил Василий Борисыч.— Что попусту-то здесь проживать? Да и то я подумываю,— не навлечь бы мне на вас какого подозренья от петербургских чиновников... Им ведь, матушка, все известно, про все они сведомы; знают и то, что я в Белу Криницу к первому митрополиту ездил... Как бы из-за меня не заподозрили вас.

— За себя нимало не опасаюсь я,— молвила спокойно Манефа.— Мало ль кто ко мне наезжает в обитель — всему начальству известно, что у меня всегда большой съезд живет. Имею отвод, по торговому, мол, делу приезжают. Не даром же плачу гильдию. И бумаги такие есть у меня, доверенности от купцов разных городов...

Коснулись бы тебя — ответ у нас готов: приезжал, дескать, из Москвы от Мартыновых по торговле красным товаром. И документы показала бы.

— А насчет других скитов, матушка? — сказал Василий Борисыч.— Я ведь гостил и в Оленеве и в Улангере два раза был. А по тем скитам в купечестве матери не пишутся. Там-то какой ответ про меня дадут?..

— Изо всех игумений точно что только у меня одной гильдейское свидетельство и другие бумаги торговые есть,— ответила Манефа.— И ты, друг мой, не рассказывай, каких ради причин выправляю я гильдию. Сам понимаешь, что такое дело надо в тайне хранить.

Помолчал Василий Борисыч и молвил:

— А еще уговаривали меня на Казанскую в Шарпан ехать.

— Пожалуй, что лучше не ездить,— подумав, сказала Манефа.— Хоть в том письме, что сегодня пришло, про Шарпан не помянуто, однако ж допрежь того из Петербурга мне было писано, что тому генералу и Шарпан велено осмотреть и казанскую икону отобрать, если докажется, что к ней церковники на поклонение сходятся. И сама бы я не поехала, да нельзя. Матушка Августа была у нас на празднике, нельзя к ней не съездить.

— Нельзя вам не ехать,— согласился Василий Борисыч.— Стало быть, так мы и сделаем: вы в Шарпан, а я в Москву.

— У меня-то погости, у меня опасаться тебе нечего,— сказала Манефа.— Лучше, как бы ты остался, пока это дело кончится. Насчет петербургского-то говорю. Что там будет, как нас решат, теперь никому неизвестно, а если бы ты остался у нас, после бы, как очевидец, все рассказал на Москве. В письмах всего не опишешь.

— Пора уж мне, матушка,— возразил Василий Борисыч,— и без того четыре почти месяца у вас проживаю.

— Как знаешь, держать тебя не власта́,— сказала Манефа.— А лучше б тебе это время у нас прожить. По крайности меня-то дождись, пока ворочусь из Шарпана. Там все будут, и Оленевские и других скитов, расскажут, что у них деется. С этими вестями и поехал бы в Москву.

Василий Борисыч согласился остаться в Комарове до возвращения Манефы из Шарпана.

* * *

Тихий прохладный вечер настал. Потускла высота небесная, и бледным светом заискрились в ней звездочки. На́ небе ни облачка, на земле ни людски́х голосов, ни птичьего щебета, только легкий, чуть слышный ветерок лениво шевелит листьями черемух, рябин и берез, густо разросшихся в углу Манефиной обители, за часовней, на кладбище и возле него. После промчавшейся грозы стало прохладно, но в то же время и душно. Запах скошенного сена и ночных цветов благовонными волнами разливался в воздухе и наполнял его сладостной истомой. Торжественно безмолвствует недосягаемая лазурь небесной тверди, и сладострастною негой дышит тихая ночь на земле.

Из кельи Манефы Василий Борисыч вышел на крылечко подышать чистым воздухом. Благоуханною свежестью пахнуло ему в лицо, жадно впивал он прохладу. Это не удушливый воздух Манефиной кельи, пропитанный благочестивым запахом росного ладана, деревянного масла и восковых свеч. В светелке, где жил московский посол, воздух почти был такой же.

Ни о чем не думая, ни о чем не помышляя, сам после не помнил, как сошел Василий Борисыч с игуменьина крыльца. Тихонько, чуть слышно, останавливаясь на каждом шагу, прошел он к часовне и сел на широких ступенях паперти. Все уже спало в обители, лишь в работницкой избе на конном дворе светился огонек да в келейных стаях там и сям мерцали лампадки. То обительские трудники, убрав коней и задав им корму, сидели за ужином, то благочестивые матери, стоя перед иконами, справляли келейное правило.

Слышится Василию Борисычу за часовней тихий говор, но не может ни смысла речей понять, ни узнать говоривших по голосу. Что голоса́ женские, это расслышал, и невольно его на них потянуло. Тихонько обошел он часовню, приблизился к чаще рябин и черемух. Узнал голоса: Фленушки с Парашей. Но ни слова расслышать не может, не может понять, о чем говорят.

— Ох, искушение! — молвил он сам про себя.

Взволновалась кровь, защемило у Василья Борисыча сердце, в голове ровно угар стал. И вспомнился ему Улангер, вспомнилась ночь в перелеске. Ночь тогда бы-

ла такая же, как и теперь,— тихая, прохладная, благовонная ночь. И пожалел Василий Борисыч о той ночи и с любовью вспоминал немые, холодные ласки Прасковьи Патаповны.

И неслышными стопами подошел он к девушкам... Не заприметили они сначала его, но, когда он перед ними как из земли вырос, обе тихонько вскрикнули.

— Можно разве так девиц пужать! — молвила Фленушка.— В самую пóлночь да возле кладбища!

— Невдогад мне было, Флена Васильевна. Простите великодушно,— молвил Василий Борисыч.— Услыхал ваши голоса, захотелось маленько ночным делом побеседовать.

— Так вам и поверили! — возразила Фленушка, отодвигаясь от Параши и давая возле нее место Василью Борисычу.— Не беседу с нами хотелось вам беседовать, захотелось подслушать, о чем меж собой девицы говорят по тайности. Знаем мы вас!

— И на ум не вспадало мне, Флена Васильевна,— уверял Василий Борисыч, но Фленушка верить ему не хотела.

Подсел на лужке возле Параши Василий Борисыч. Фленушка за темнотой не видала,— а и увидела, так в сторонку бы отвернулась,— как Василий Борисыч взял Парашу зá руку и страстно пожал ее. Параша тем же ему ответила.

Фленушка одна говорит. Тарантит, ровно сойка [1], бьет языком, ровно шерстобит струной. Василий Борисыч с Парашей помалчивают. А ночь темней и темней надвигается, а в воздухе свежей и свежей.

— Холодно что-то! — оборвав рассказ, молвила Фленушка.— Сем-ка пойду да надену платок шерстяной. И тебе, Параша, захвачу. Вы подождите, я тóтчас.

И убежала. А Василий Борисыч один под ночным покровом с Парашей остался.

Не казалось им холодно, хоть с каждой минутой ночь сильнее свежела.

Воротилась Фленушка с Парашиным платком не тóтчас, как обещала, а через добрые полчаса.

---

[1] *Сойка* — лесная птица. Corvus glandarius.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Накануне Казанской мать Манефа с уставщицей Аркадией и с двумя соборными старицами в Шарпан поехала. Старшею в обители осталась мать Виринея, игуменскую келью Манефа на Фленушку покинула, но для виду. не остались бы молодые девицы без призора старших, соборную старицу Никанору благословила у себя домовничать.

За день до отъезда Манефы Петр Степаныч Самоквасов ездил в ближний городок за каким-то делом. Как ни пытала любопытная мать Таисея, что за дела у него там объявились, не могла от гостя толку добиться. Перед тем как ехать ему, он, запершись в светелке, долго о чем-то толковал с Семеном Петровичем. Очень хотелось матушке Таисее подслушать их разговор, притаилась сбоку светлицы, но, сколько ни прикладывалась ухом к стене, ничего не могла расслышать. Только и слышен был раздававшийся по временам громкий, закатистый хохот Петра Степаныча. Когда он садился в тележку, Таисея не вытерпела, снова полюбопытствовала, заботливо спрашивая, за какими делами так спешно он снарядился, но не дождáлась ответа. Спросила, когда ожидать гостя обратно. «Завтра к вечеру буду»,— он отвечал.

Только что съехал с двора Самоквасов, Семен Петрович в Манефину обитель пошел и там весь день не разлучался с Васильем Борисычем, шагу не отступал от него.

* * *

Пóд вечер, накануне Манефина отъезда, в ее келье сидели за чаем, поджидая Василья Борисыча. Фленушка сказала Манефе:

— Ладно ль будет, матушка, Василий-от Борисыч без вас один с нами останется?

— А что? — спросила Манефа.

— Знаете, что за народ вокруг нас живет,— молвила Фленушка.— Чего не наплетут... Мне-то наплевать, ко мне не пристанет, а вот насчет Параши. Патап-от Максимыч не стал бы гневаться.

— И впрямь, Фленушка,— сказала Манефа.— Хоть ничего худого от того случиться не может, а насчет братца, подлинно, что это ему не гораздо покажется... Жа-

лует он Василья Борисыча, однако ж на это надеяться нечего... Как же бы нам это уладить?.. День-от пускай бы он и с вами сидел, ночевать-то куда бы?.. Разве в Таифину келью али в домик Марьи Гавриловны.

— Пожалуй, хоть к Марье Гавриловне, там же перед гостинами Патапа Максимыча все припасено для мужского ночлега,— молвила Фленушка.

— И хорошее дело,— согласилась Манефа.— Так и скажу ему. Человек он разумный, не поскорбит, сам поймет, что на́ эти дни ему в светелке у нас проживать не годится.

— А еще бы лучше на это время ему куда-нибудь в другую обитель перейти,— заметила Фленушка.— Тогда смо́тницы что ни благове́сти — веры не будет им. И насчет Патапа Максимыча было бы не в пример спокойнее.

— Так-то оно так,— сказала Манефа.— Да как же это сделать? Не к Рассохиным же его... Больно уж там пьяно́ — матушка-то Досифея с Петрова дня опять закурила... Разговелась, сердечная!.. Невозможно к ней Василья Борисыча!.. Оскорбится.

— Зачем к Рассохиным? Опричь Рассохиных, место найдется,— молвила Фленушка.

— Где найдется? — возразила Манефа.— Ведь его надо в хорошую обитель пристроить, не там, где гульба да пьянство, а на ужине, опричь хлеба куска, и на стол ничего не кладут...

— К Бояркиным,— подхватила Фленушка.— Матушка же Таисея в Шарпан не поедет. Чего лучше?.. И она бы с радостью, и ему б не в обиду...

— Места нет у Таисеюшки. У них всего-на́-все одна светелка, и в той гости теперь,— сказала Манефа.

— Эти дни можно там и Василью Борисычу жить,— ответила Фленушка.— Самоквасов куда-то уехал, один Семен Петрович остался, а он Василью Борисычу дружок. В тягость один другому не будут.

— Куда Петр-от Степаныч отправился? — спросила Манефа.— И не сказался ведь, не простился... Экой какой!.. А мне до него еще дельце есть, да и письмо бы надобно с ним отослать.

— На четыре дня, слышь, уехал,— молвила Фленушка.— В город никак. Вдруг, говорят, собрался, известье какое-то получил, на́спех срядился.

— Так ин в самом деле молвлю я Василью Борисычу,— сказала Манефа.— Да что это он нейдет чай-от пить... Евдокеюшка, сбегай, голубка, к Бояркиным, позови Таисею: матушка, мол, Манефа, чай пить зовет. Скорей приходила бы.

— Так-то дело и впрямь будет складнее,— говорила Манефа по уходе новой ключницы.— А то и впрямь наплетут, чего и во сне не приснится. Спасибо, Фленушка, что меня надоумила.

Во все время разговора Манефы с Фленушкой Параша молчала, но с необычной ей живостью поглядывала то на ту, то на другую. Марьюшка сидела, опустя глаза и скромно перебирая руками передник. Потом села у растворенного окна. высунулась в него до́ пояса и лукаво сама с собой усмехалась, слушая обманные речи Фленушки.

Василий Борисыч пришел, Семена Петровича привел. После не малых и долгих извинений объявила ему Манефа, что с Фленушкой она придумала, и Василий Борисыч нимало не оскорбился, сказал даже, не лучше ли ему совсем на́ эти дни из Комарова уехать; но Манефа уговорила его остаться до ее возвращенья. Маленько она опасалась, чтоб Василий Борисыч, заехавши в город, не свиделся там с Патапом Максимычем да по его уговорам не угнал бы то́тчас в Москву. Тогда ищи его, как же ему тогда рассказать, что будет на Шарпанском празднике.

Таисея не замедлила приходом. С радостью приняла она слова Манефы и уж кланялась, кланялась Василью Борисычу, поскорей бы осчастливил ее обитель своим посещеньем. Принять под свой кров столь знаменитого гостя считала она великою честью. По усиленным просьбам Василий Борисыч согласился то́тчас же к ней перебраться.

— Прискорбно, не поверишь, как прискорбно мне, дорогой ты мой Василий Борисыч,— говорила ему Манефа.— Ровно я гоню тебя вон из обители, ровно у меня и места ради друга не стало. Не поскорби, родной, сам видишь, каково наше положение. Языки-то людские, ой-ой, как злы!.. Иная со скуки да от нечего делать того наплетет, что после только ахнешь. Ни с того ни с сего насудачат... При соли хлебнется, к слову молвится, а тут и пошла писать.

— Не беспокойтесь, матушка,— уговаривал Манефу Василий Борисыч.— Дело к порядку ведется, к лучшему... Могу ль подумать я, что из вашей обители меня выгоняют?.. Помилуйте!.. Ни с чем даже несообразно, и мне оченно удивительно, что вы об этом беспокоитесь. Я, с своей стороны, очень рад маленько погостить у матушки Таисеи.

— Оченно благодарна вами, Василий Борисыч,— встав с места и низко поклонясь московскому посланнику, сказала мать Таисея.

— Смотри же, матушка Таисея,— пошутила Манефа,— ты у меня голодом не помори Василия-то Борисыча. Не объест тебя, не бойся,— он у нас ровно курочка, помаленьку вкушает... Послаще корми его... До блинков охоч наш гость дорогой, почаще блинками его угощай. Малинкой корми, до малинки тоже охоч... В чем недостача, ко мне присылай — я накажу Виринее.

— Полноте, матушка. Хоша обитель наша не из богатых, одначе для такого гостя у самих найдется чем потчевать,— молвила мать Таисея.— А какие блинки-то любите вы? — обратилась она к Василью Борисычу.— Гречневые аль пшеничные, красные то есть?

— Э, матушка, чем ни накормите, всем буду сыт, я ведь не из прихотливых. Это напрасно матушка Манефа так говорит,— молвил Василий Борисыч. И при вспоминанье о блинах вспала ему на память полногрудая Груня оленевская, что умела услаждать его своими пухленькими, горяченькими блинками.

— Да нет, отчего же? — сладко улыбаясь, говорила мать Таисея.— Нет, уж вы скажите мне, гость дорогой.

— Да не беспокойтесь, матушка,— возразил Василий Борисыч.— Ох, искушение!.. Я уж, сказать по правде, и не рад... Много вам беспокойства от меня будет.

— Какое же беспокойство, Василий Борисыч? — продолжала Таисея.— Никакого от вас беспокойства не может нам быть. Такой гость — обители по́честь... Мы всей душой рады.

И много еще приветных слов наговорила ему мать Таисея, сидя за чаем.

* * *

Поехала в Шарпан Манефа. Все провожали ее, чинчином прощались. Прощалась и Фленушка; бывшие при

том прощанье, расходясь по кельям, не могли надивиться, с чего это Фленушка так расплакалась — ровно не на три дня, а на тот свет провожала игуменью.

Постояла на крылечке игуменьиной стаи Фленушка, грустно поглядела вслед за кибитками, потихоньку съезжавшими со двора обительского, и, склоня голову, пошла в свою горницу. Там постояла она у окна, грустно и бессознательно обрывая листья холеных ею цветочков. Потом вдруг выпрямилась во весь рост, подойдя к двери, отворила ее и громким голосом крикнула:

— Марьюшка!

Мигом явилась головщица.

— Ну что? — быстро спросила у ней Фленушка.

— Да ничего,— брюзгливо ответила Марьюшка.

— Саратовец где?

— А пес его знает,— огрызнулась головщица.— Пришита, что ль, я к нему?.. Где-нибудь с Васькой шатается. К нему приставлен...

— Оба провожали матушку. Куда же теперь пошли? Поговорить надо,— молвила Фленушка.

— Ты все про то? — сквозь зубы процедила Марьюшка.

— Нешто покинуть? — с живостью вскликнула Фленушка.

— По-мóему, лучше бы кинуть. Ну их совсем!..— молвила головщица.

— Столько времени ждала я этого дня, да вдруг ни с того ни сего и покину... Эка что вздумала! — сказала Фленушка.

Пробурчала что-то головщица и села к окну.

— Так ты на попятный? — вскочив со стула, вскликнула Фленушка.— Про шелковы сарафаны забыла?.. Про свое обещанье не помнишь?..

— Ничего не забыла я ни на кáпелечку, а только боязно мне,— молвила Марьюшка.— Ты осóбь статья, тебе все с рук сойдет, матушка не выдаст, хоша бы и Патапу Максимычу... А мне-то где заступу искать, под чью властную руку укрыться?..

— И тебя не выдаст матушка,— молвила Фленушка.— Поначáлит, без того нельзя, да тем и кончит дело... А сарафан хоть сейчас получай. Вот он сготовлен.

И вынесла из боковуши шелковый Парашин сарафан,

всего раз надеванный, и, подавая его Марьюшке, с усмешкой примолвила:

— Невестины дары принимай.

Глаз не сводила с подарка головщица, но не брала его.

— Примай, не ломайся,— сказала Фленушка, суя сарафан Марьюшке на́ руки.

— Ох, уж право не знаю, что и делать мне,— колебалась головщица.— И сарафан-от вишь светлый какой, голубой... Где надену его, куда в таком покажусь?.. Нешто у нас в мирские цвета рядятся?..

— Придет твое время, и в цветном будешь ходить,— молвила Фленушка.— Что саратовец-от!.. Какие у вас с ним речи?

— Ну его ко псам окаянного! — огрызнулась Марьюшка.— Тошнехонько с проклятым! Ни то ни се, ни туда ни сюда... И не поймешь от него ничего... Толкует, до того года слышь, надо оставить... Когда-де у Самоквасова в приказчиках буду жить — тогда-де, а теперича старых хозяев опасается... Да врет все, непутный, отводит... А ты убивайся!.. Все они бессовестные!.. Над девицей надсмеяться им нипочем... Все едино, что квасу стакан выпить.

— Не горюй!— хлопнув по голому плечу головщицы, молвила Фленушка.— Только б поступить ему к Петрушке непутному, быть тебе на то лето за Сенькой замужем... Порукой я... Это пойми... Чего я захочу — тому быть... Знаешь сама.

— А у самой с Самоквасовым третье лето ни тпру ни ну,— молвила с усмешкой Марьюшка.

— Не вороши!.. Не твоего ума дело! — заревом вспыхнув, вскликнула Фленушка.— Наше дело иное... Тебе не понять...

— Мудрено что-то больно, Флена Васильевна,— промолвила головщица.

— А коль мудрено, так и речей не заводи,— сказала Фленушка и вдруг, ровно туча, нахмурилась, закинула за́ спину руки и стала тяжелыми шагами взад и вперед расхаживать по горнице. Глаза у нее так и горели.

— Что ж теперь делать? — после долгого молчанья спросила головщица.

Ровно ото сна пробудилась Фленушка. Стала на месте, провела рукой по лицу и, подсев к столу, молвила:

— Невесту сбирать, наряды и все добро ее в чемоданы класть... Самое позову, без нее нельзя. Петрушка вечор за делами поехал: в Свиблово попа повестить, в Язвицы лошадей нанять, в город на первы дни молодым квартиру сготовить. Завтра поутру воротится. Пообедавши с женихом да с твоим непутным саратовцем, в Ронжино навстречу ямщикам он поедет. Приданое туда отвезут, этой же ночью надо его передать... Мало погодя с Парашей на Каменный Вражек пойдем. Тут ее у нас отобьют неведомые люди... Смекаешь?.. Мы с тобой теми ж стопами домой... В набат ударим, содом поднимем — ухватили, мол, Парашу, люди незнаемые. Рожи-де в саже, шапки нахлобучены — не смогли признать, кто такие... Смекаешь?..

— Смекаю,— кивнув головой, сказала головщица.

— Ловко ль придумано? — после недолгого молчания спросила Фленушка.

— Ловко-то ловко, Флена Васильевна, да не было б нам за то колотушек? — молвила Марьюшка.— Да что колотушки? Беда еще не велика. Хуже бы не было...

— Ничего не будет, не проведают. Увидишь!.. Что я задумала, тому так и быть...— с страстным порывом молвила Фленушка.

— Надо бы старицу какую, при ней чтоб отбили. Больше веры будет тогда. А то заподозрят, пожалуй,— говорила Марьюшка.

— Дело!..— с живостью вскликнула Фленушка.— Спасибо, Маруха, за добрый совет. Так и сварганим... Только уж нашим ребятам тогда в самом деле сажей придется рожи-то мазать.

— Пущай их намажутся,— молвила в сердцах головщица.

— Можно будет двух либо трех стариц прибрать: матушку Виринею, Ларису, из девок кое-кого... Побольше бы только нас было. Чем больше, тем лучше,— сказала Фленушка.

— Правда,— сказала Марьюшка,— больше народу, меньше ответу.

Уладив дело с головщицей, позвала Фленушка Парашу.

— Ну. невеста наша распрекрасная! Давай приданое складывать,— молвила она, выдвигая середь горницы чемоданы.

Во все лицо улыбнулась Параша, вздохнула раза два и сказала:

— Боязно ему.

— Кому? — спросила Фленушка.

— Да Василью-то Борисычу,— ответила Параша.— Сейчас говорила с ним через огорожу Бояркиной обители. Оченно опасается.

— Дурак!..— молвила Фленушка.

И стала укладывать пожитки Парашины.

— Деньги есть при тебе? — спросила она Парашу.

— Есть.

— Много ль?

— Не больно чтоб много, двадцати рублев не найдется,— ответила Параша.

— Давай сюда,— молвила Фленушка.— Завтра надо в работницкой перепоить всех до отвалу... В погоню не годились бы.

Параша подала деньги.

Все прибрали, уложили, чемоданы замкнули, затянули. Подавая ключи Параше, Фленушка вскликнула:

— Из ума вон!.. Невесту-то величать позабыли!.. Без того не складно будет, не по чину, не по обряду. Подтягивай, Маруха!

Не шелко́ва ниточка ко стенке льнет —
Свет Борисыч Патаповну ко сердцу жмет:
— Ой, скажи ты мне, скажи, Парасковьюшка,
Не утай, мой свет Патаповна:
Кто тебе больше всех о́т роду мил?
— А и мил-то мне милешенек ро́дной батюшка,
Помилей того будет ро́дна матушка.
— А и это, Прасковьюшка, не правда твоя,
Не правда твоя, не истинная.
Ой, скажи ты мне, скажи, Парасковьюшка,
Не утай, мой свет Патаповна:
Кто тебе всех на свете милей?
— Я скажу, молоде́нька, всю правду свою,
Всю правду свою, всю-то истинную:
Нет на свете милей мне света Васильюшки,
Нет на вольном свету приглядней Борисыча.

— Ай, батюшки! Совсем позабыла!..— вскликнула Фленушка, внезапно перервав песню.— Спишь все,— обратилась она к задремавшей под унылую свадебную песню Параше.— Смотри, дева, не проспи царства небесного!.. А еще невеста!.. Срам даже смотреть-то на тебя!

— Тебе что? — вяло спросила Параша.

— Дело надо делать... Несколь времени осталось!— с досадой прикрикнула на нее Фленушка.— Кольцо с лентой из косы отдала ему?

— Не давывала,— ответила Параша.

— Как же так? Нельзя без того... Надо обряд соблюсти. Спокон веку на самокрутках так водится,— говорила Фленушка.— По-настоящему надо, чтобы он силой у тебя их отнял... Да куда ему, вахлаку? Пентюх, как есть пентюх. Противно даже смотреть на непутного.

— Отдам, коли надо,— лениво промолвила Параша.— Седни же отдам... Гулять-то во Вражек пойдем?

— После венца нагуляешься,— резко ответила Фленушка.— Не до гульбы теперь, без того хлопот по горло... Наверх ступай, в светелку, Ваську пришлю туда... Да не долго валандайтесь — могут приметить, и то Никанора суетиться зачала... Молви, Маруха, саратовцу,— напоил бы опять ее хорошенько.

— Так я наверх пойду,— процедила сквозь зубы Параша и пошла из горницы.

Только что вышла она, Фленушка глянула в окошко. Василий Борисыч с саратовцем через обительский двор идут.

— Беги к ним, Марьюшка,— торопко сказала она головщице.— Сеньке насчет Никаноры молви,— поил бы, а Ваську ко мне.

Пошла головщица из горницы, вскоре Василий Борисыч пришел.

— Что, непутный?.. Шатаешься, разгуливаешь?.. А того нисколько не понимаешь, что тут из-за тебя беспокойство? — такими словами встретила московского посланника Фленушка.

— Ох, искушение!..— глубоко вздохнул Василий Борисыч, отирая платком распотевшее лицо, и сел на диван.

— Ну, что скажешь? — став перед ним и закинув за́ спину руки, спросила Фленушка.

— Не знаю, что́ и сказать вам, Флена Васильевна,— жалобно ответил Василий Борисыч.— В такое вы меня привели положение, что даже и подумать страшно...

— Что ж, ты на попятный, что ли? — скрестив руки на груди и глядя в упор на Василья Борисыча, вскликну-

ла Фленушка.— Назад ворочать?.. Нет, брат, шалишь!.. От меня не вывернешься!..

— Ох, искушение!..— едва слышно промолвил совсем растерявшийся Василий Борисыч.

— Отлынивать? — громче прежнего крикнула на него Фленушка.

— Да нет,— робко отвечал Василий Борисыч.— Нет. Куда уж тут отлынивать... Попал в мережу, так чего уж тут разговаривать!.. Не выпрыгнешь... А все-таки боязно, Флена Васильевна.

— Речи о том чтобы не было. Слышишь? — повелительно крикнула Фленушка.— Не то знаешь Самоквасова? Справится... Ребер, пожалуй, не досчитаешься!..

Вздохнул Василий Борисыч.

— Наверх ступай, невеста ждет. Возьми у нее кольцо да ленту из косы. Силой-то посмеешь ли взять?

— Как же это возможно, Флена Васильевна? Вдруг силой!..— робко проговорил Василий Борисыч.

— Ну, ступай, ступай,— крикнула Фленушка и протолкала вон из горницы оторопевшего московского посланника. Он не отвечал, вздыхал только да говорил свое:

— Искушение!

* * *

Петр Степаныч совсем разошелся с Фленушкой. Еще на другой день после черствых именин, когда привелось ему и днем и вечером подслушивать речи девичьи, улучил он времечко тайком поговорить с нею. Самоквасов был прямой человек, да и Фленушка не того десятка, чтоб издалека да обходцем можно было к ней подъезжать с намеками. Свиделись они середь бела́ дня в рощице, что подле кладбища росла. Встретились ненароком.

Стал Самоквасов перед Фленушкой, сам подбоченился и с усмешкой промолвил ей:

— А вечорашний день каких див я наслушался!

— А ты лишнего-то не мели, нечего нам с тобой канителиться [1]. Не сказывай обиняком, режь правду прямиком,— смело глядя в глаза Самоквасову, с задором промолвила Фленушка.

---

[1] *Канителить* — длить, волочить, медлить делом. Иногда — ссориться, браниться.

— Вечор, как Дарья Никитишна сказки вам сказывала, я у тебя под окном сидел,— молвил Петр Степаныч.

— Знаю,— спокойно промолвила Фленушка.

— А когда свои речи вела, знала ли ты, что я недалёко? — спросил Самоквасов.

— Нет, не знала.

— Значит, не то чтобы в пòсмех, от настоящего сердца, от души своей говорила?

— От всего моего сердца, ото всей души те слова говорила я,— ответила Фленушка.

— Значит, что же?

— Сам разбирай.

Призадумался Петр Степаныч. Оба примолкли.

— Не чаял этого, не думал,— сказал он, наконец.

— Никогда не таила от тебя я мыслей своих,— тихо, с едва заметной грустью молвила Фленушка.— Всегда говорила, что в мужья ты мне не годишься... Разве не сказывала я тебе, что буду женой злой, неугодливой? Нешто не говорила, что такова уж я на свет уродилась, что никогда не бывать мне кроткой, покорной женой? Нешто не говорила, что у нас с тобой будет один конец — либо сама петлю на шею, либо тебе отравы дам?..

— Бахвáлилась [1],— сказал Самоквасов.

— Не из таковских я, не бахвáлка,— перервала его Фленушка.— Прямое дело говорила. Вольно было не слушать речей моих.

— Зачем же столько времени ты проводила меня? — с жаром спросил ее Петр Степаныч.

— Чем же я проводила тебя? — вскинув пылающими глазами на Самоквасова, спросила Фленушка.

— Как чем? Обнимала, целовала, в перелеске под кустиком до утренней зари, бывало, вместе с тобой мы просиживали, тайные, любовные речи говаривали...— с укором говорил ей Петр Степаныч.

— Со скуки,—пожав плечами, холодно молвила Фленушка.

— Так как же?.. Расставаться?..— подумав немного, сказал Самоквасов.

— Самое лучшее дело,— молвила Фленушка.— Каждому свой путь-дорога, друг другу в тягость не будем...

---

[1] *Бахвáлиться* — хвастаться, самохвальничать.

Побáловались — шабаш... Ищи себе невесту хорошую.., А я!.. Ну, прощай!..

— Не чаял я этого!..— в раздумье сказал Самоквасов.

— Мало ль чего мы не чаем, мало ль чего мы не ждем?..— грустно молвила Фленушка.— Над людьми судьба, Петр Степаныч... Сýпротив судьбы ничего не поделаешь.

— Прощай, Флена Васильевна,— тихо проговорил Самоквасов и хотел идти.

— Прощай,— едва слышно промолвила Фленушка, вся покраснев и низко склонив голову.

И не сделал он пяти шагов, как, закинув назад голову, громким смеющимся голосом Фленушка ему крикнула:

— Стой, Петя, погоди!.. Обещанья не забудь!..

— Какого обещанья? — спросил Самоквасов.

— Забыл? — с усмешкой молвила Фленушка.— Коротка ж, парень, у тебя память-то.

— Да ты про что? — в недоуменье спрашивал ее Петр Степаныч.

— А насчет Василья-то Борисыча,— сказала Фленушка.

— Окрутить-то?.. Небойсь, окрутим. Сказано — сделано. От своих слов я не отретчик.

— Ладно.

И разошлись. Бойко прошел Самоквасов в обитель Бояркиных, весело прошла пò двору Фленушка, но, придя в горницу, заперлась на крюк и, кинувшись ничком в постелю, горько зарыдала.

И то было еще до отъезда Манефы на праздник в Шарпанский скит.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Середи болот, середи лесов, в сторону от проселка, что ведет из Комарова в Осиповку, на песчаной горке, что желтеет над маловодной, но омутистой речкой, стоит село Свиблово. Селом только пишется, на самом-то деле «погост» [1].

---

[1] Населенная местность, где церковь с кладбищем, но домов, кроме принадлежащих духовенству, нет.

Возле ветхого бревенчатого мостика, перекинутого через речку, ветшает бедная деревянная церковь. Высокая, обширная паперть, вдоль северной стены крытые переходы, церковные подклеты, маленькие высоко прорубленные окна, полусгнившая деревянная черепица на покачнувшейся главе, склонившаяся на́бок колокольня с выросшею на ней рябинкой, обильно поросшая ягелем крыша,— все говорит, что не первое столетие стоит свибловская церковь, но никому в голову еще не приходило хоть маленько поправить ее. Кругом бедное могилами, но обильное сеном кладбище. В стороне, вдоль венца горки, три домика; между ними «сады», где, кроме объеденной червями черемухи да пары рябин, иных деревьев не росло. Гряды с луком, с редькой, с морковью и другими овощами тянулись по «садам», и на каждой грядке красовались яркие цветы маку и высоко поднимавшие золотые свои шапки подсолнечники... Ближний к церкви домик был просторней и приглядней двух остальных: по лицу пять окон с подъемными рамами и зелеными ста́внями, крылечко выведено на улицу, крыша на четыре ската, к углам ее для стока воды прилажены крылатые змеи из старой проржавевшей жести. В окнах миткалевые занавески и горшки с бальзамином, капуцином и стручковым перцем. В том домике с толпой чад и домочадцев жил-поживал свибловский батюшка, отец Родион Харисаменов. В других домиках волочили горемычную жизнь свою дьячок Игнатий да пономарь Ипатий, оба страстные голубятники, постоянно враждовавшие из-за какого-нибудь турмана либо из-за чернокрылого чистяка. Кроме того, в церковной караулке сторожем жил одинокий старый солдат. Поповы ребяты Груздком его прозвали, так это прозванье за ним и осталось.

Родитель отца Родиона звался Свиньиным и с законной гордостью говаривал, что он старинного дворянского рода, что предки его литовские выходцы, у царей и великих князей на разных службах бывали. Ссылался на печатную родословную книгу, показывал родовые бумаги, и в речах его правда была. Но владыка рассудил ина́че. Когда Родиона Свиньина сдали в семинарию, он рек: «Не подобает служителю алтаря именование столь гнусного животного носить», и родословного Свиньина перекрестил в Харисаменова, прозванье очень хорошее по-гречески, но которого русский простой человек с морозу,

пожалуй, не выговорит, а если выговорит, то непременно скажет: «харя самая», что не раз и случалось с отцом Родионом. Когда отец Родион прибыл на паству, паства его не взлюбила, не по мыслям пришелся он ей. Народ прозвал его Сушилой и вот почему. По кладбищу много травы росло, и отец Родион решил: «Это сено мое, Игнатью с Ипатьем вступаться в сию часть не подобает». И по четыре стога́ хорошего лугового сена с кладбища каждое лето накашивал. Иной раз сено-то, бывало, раскидают, а набежит тучка, отец Родион тотча́с в церковь его. Там и сушит... Оттого и прозвали его Сушилой.

Про Свиблово говорят: стоит на горке, хлеба ни корки, звону много, поесть нечего. В приходе без малого тысяча душ, но, опричь погощан [1], и на светлу заутреню больше двадцати человек в церковь никогда не сходилось. Почти сплошь да на́голо всё раскольники. Не в обиду б то было ни попу, ни причетникам, если б влекущий племя от литовского выходца умел с ними делишки поглаже вести.

Почти все раскольники были «записные». Деды их, прадеды церкви чуждались, в старые годы платили двойные оклады. С таких попу взятки гладки, доходов не жди, отрезан ломоть. Разве ину́ пору можно такого доносцем пугнуть, устроил-де в доме публичну моленну, совращает-де в раскол православных, но это не всегда удается. Зато «не записные» попу сущий клад. Только б их не тревожили, только б у них на дому треб не справляли, вдвое, втрое больше дадут, чем самый усердный церковник за исправление треб. Барином мог бы Сушило век свой прожить, да гордость его обуяла, думал о себе, что умней самого архиерея, и от каждого требовал, чтоб десницу его лобызали. Оттого и не взлюбили его прихожане. По-ихнему руку у попа целовать — все едино что старой веры отречься. А доносить — отец Родион доносил на них редко: знал, что его же карману невыгодно будет. Если и доносил, всегда по велению свыше. Консисторским да благочинному тоже пить-есть надо, не ангелы во плоти, не манной небесной питаются. Бывало, долго нет от Сушилы доносов, внушают ему отечески: «Надо тебе, отец Родион, доносить почаще, ведь начальству известно, что раскольников в твоем приходе достаточно; не ста-

---

[1] Жители погоста.

нешь доносить, в потворстве и небрежении ко святей церкви заподозрят, не успеешь оглянуться, как раз под суд угодишь». И посылал отец Родион «репорты» — нечего делать — своя рубашка к телу ближе. А это умножало остуду прихожан. Оттого Сушило и жил небогато. А семья, что ни год, прибавлялась — многочадием господь благословил. Сначала ничего, божье благословенье под силу приходилось Сушиле, росли себе да росли ребятишки, что грибы после дождика, но когда пришло время сыновей учить в семинарии, а дочерям женихов искать, стал он су́против прежнего не в пример притязательней. На «записных» даже стал доносить. Раза два удалось: попа похвалили, скуфью обещали, но цену заломили невместную...

И в скуфье пощеголять охота, и сыновей на квартире получше устроить, и дочерей замуж повыдать, а концов с концами не может свести. Нужда человека до чего не доводит?

Богаче Чапурина во всем приходе никого не было, а он хоть «записной», но жил с церковным попом в ладах и никогда не оставлял его. То крупчатки мешок с Краснораменской мельницы пришлет, то рыбки либо другого чего, иной раз и денег даст. Об одном только каждый раз просил Сушилу Патап Максимыч: «Не ходи ты, батюшка, ко мне на́ дом, не смущай ты мою старуху. Что делать? Баба так баба и есть: волос долог, ум короток, больно не жалует вашего брата... Да никому еще, пожалуйста, не сказывай, что от меня получаешь, жизни буду не рад, как жена взбеленится: «Опоганил, дескать, дом наш честной неверным попом своим»... Что делать, отче?.. Баба!.. Ты уж не поскорби». Так, бывало, говорит Патап Максимыч, и поп Сушило ничего, только ухмыляется да бородку пощипывает либо ястребиный свой носик с красными прожилками пальчиком потирает.

Не Аксиньи Захаровны Чапурин боялся, а того, чтоб не разнеслась по народу молва, что он церковному попу помогает. Завопят староверы, по торговле доверия могут лишить... Бывали примеры!

Аксинья Захаровна, бог ее знает какими судьбами, каждый раз узнавала, что Патап Максимыч попу гостинец послал.

— Бога не боишься,— зачнет, бывало, ворчать.— Совсем измиршился!.. Как у тебя рука не отсохла!.. Ни-

какими молитвами этого греха не замолишь... Как попу-еретику подавать!.. По писанию все едино, что отступить от правыя веры.

— И поп человек,— ответит, бывало, Патап Максимыч,— и он пить да есть тоже хочет. У него же, бедного, семьища поди-ка какая! Всякого напой, накорми, всякого обуй да одень, а где ему, сердечному, взять? Что́ за грех ближнему на бедность подать? По-моему, нет тут греха никакого.

— Какой он тебе ближний? — вскрикнет, бывало, Аксинья Захаровна.— Поп смущенныя церкви — все одно что идольский жрец!.. Хоть у матушки Манефы спроси.

— Нечего мне у Манефы расспрашивать, а ты, коли хочешь, спроси ее, отчего, мол, это в житиях-то написано, что святые отцы даже сарацинам в их бедах помогали?.. Что, мол, те сарацины, бога не знающие, святей, что ли, свибловского-то попа были?

Плюнет Аксинья Захаровна, то́тчас из горницы вон и хлопнет дверью что есть мочи. А Патап Максимыч только улыбнется.

Когда захотелось Сушиле скуфьи, а пуще того гребтелось, как бы домашние нужды покрыть, повстречал он на пути Патапа Максимыча.

— Мир-доро́га! — приветливо крикнул ему Чапурин.

— Здравствуйте, сударь Патап Максимыч,— ответил Сушило, снимая побуревшую от времени и запыленную в дороге широкополую шляпу.

— С ярмарки, что ль? — Чапурин спросил.

— Какая нам ярмарка? Не такие карманы, чтоб по ярмаркам нам разъезжать,— ответил Сушило.

— Зачем же в город-от ездил?

— Ребят в семинарию свез. Да в консисторию требовали,— сказал поп Сушило.

— Что за требованье?.. Аль беду́шка какая стряслась?..— с участьем спросил у него Патап Максимыч.

— Голову за вашего брата намылили,— промолвил Сушило.

— Как так за нашего брата? — с удивленьем спросил Патап Максимыч.

— Да так же,— ответил Сушило.— Говорят, уж больно много вам потачки даю. Раскольникам-де потвор-

ствуешь... Времена пошли теперь строгие: чуть что, вашего брата тотчас под караул.

— А ты не больно пугай, не то, пожалуй, и струшу,— шутливо молвил Патап Максимыч — Говори-ка лучше делом.

— Делом и говорю,— высокомерно ответил Сушило.— Слыхал, чай, что не вашему брату, лесному мужику, чета, московских первостатейных по дальним городам разослали: Гучкова, Стрелкова, Егора Кузьмина.

— Не нашего согласу,— нахмурясь, промолвил Патап Максимыч.— Они беспоповы.

— Все едино, одного помету слепые щенята,— язвительно сказал поп Сушило.

Взорвало Патапа Максимыча. «Как сметь попу щенком меня обзывать!..» Но сдержался. Чего доброго?.. Еще кляузу подымет, суд наведет. Слова не вымолвил в ответ, велел работнику ехать скорее.

Сушило крикнул:

— А ведь у тебя в задней-то моленна.

— Так что же?

— А в моленной скитницы службу справляют.

— Ну справляют. Так что же?

— Беглы попы наезжают.

— Не тебя ли позвать? — усмехнулся Патап Максимыч.— Не беспокойся, брат, не позову.

— К тому говорю, что ты теперича, значит, в моих руках,— крикнул поп.— Сейчас могу в консисторию донесть. Потянут к суду, напрыгаешься.

— Да ты с чего это взял? К чему речь-то свою клонишь? — в порыве гнева, едва сдерживаясь, чтоб бранного слова не молвить, вскричал Патап Максимыч.

— А к тому моя речь,— вполголоса молвил Сушило, подойдя к Патапу Максимычу, чтоб работник его не слыхал.— К тому моя речь, что ежели хочешь в покое остаться, пятью стами целковых снабди... Тебе это плевое дело, а мне большая подмога. Не то завтра же «репорт» на тебя отправлю.

Попроси Сушило у Патапа Максимыча честью, расскажи ему про свои нужды, он бы, пожалуй, и дал. но тут взбеленился, выругался и зычным голосом крикнул работнику:

— Уезжай от греха поскорей!.. Ну, живо!..

А поп остался середь дороги и, глядя на пыль, поднявшуюся из-под колес чапуринской тележки, злобно примолвил:

— Помни ты это, Патапка Чапурин, а я не забуду!..

И не забыл. Написал «репорт», что в деревне Осиповке у торгующего по свидетельству первого рода крестьянина Патапа Чапурина имеется «публичная» моленна, а по слухам якобы-де в оной находятся престол и полотняная церковь, а раскольничье-де служение совершают жительницы разных скитов и наезжающий по временам из Городца беглый поп. Консистория начала дело, и хоть оно ничем не кончилось, однако ж немало принесло Патапу Максимычу досад, хлопот и расходов. А пуще всего Аксинья Захаровна. Не сказал ей муж ни про донос, ни про следствие, от сторонних людей все проведала и с злорадной усмешкой стала приставать к Патапу Максимычу: «Ну что?.. Не моя ль правда вышла?.. Вот те и ближний!.. вот те и приятель!.. Попомнил неверный поп твои милости?.. А?..»

И с той поры, как ни случится, бывало, Патапу Максимычу встретиться с попом Сушилой, тотчас от него отворотится и даже зачнет оплевываться, а Сушило каждый раз вслед ему крикнет, бывало: «Праздник такой-то на дворе, гостей жди: с понятыми приеду, накрою на службе в моленной...» И про эти угрозы от людей стороной узнавала Аксинья Захаровна и каждый раз, как в моленную люди сойдутся, строго-на́строго наказывала старику Пантелею ставить на задах усадьбы караульных, чтоб неверный поп в самом деле службы врасплох не накрыл.

Прошел год, опять настала ярмарка, опять на дороге встретился с попом Патап Максимыч. Поп из города, Чапурин в город.

— На ярмарку, что ли? — крикнул Сушило.

— На ярмарку,— сухо ответил Чапурин.

— Купи моей матушке попадье гарнитуровый сарафан да парчовый холодник. Не купишь, так прижму, что вспокаешься,— сказал Сушило.

— Не жирно ли будет? Да и твоей ли чумазой попадье в шелках ходить? — усмехнулся Патап Максимыч и поехал своей дорогой.

— Помни это слово, а я его не забуду!..— кричал ему вслед Сушило.— Бархаты, соболи станешь дарить,

да уж я не приму. Станешь руки ломать, станешь ногти кусать, да будет уж поздно!..

Какие ни писал Сушило «репорты», ничего не поделал с Чапуриным. И оттого злоба стала разбирать его пуще. Слышать не мог он имени Патапа Максимыча. И замышлял донять его не мытьем, так ка́таньем!

* * *

Солнце с полден своротило, когда запылилась дорожка, ведущая к Свиблову. Тихо в погосте: Сушило после обеда отдыхал, дьячок Игнатий да пономарь Ипатий гоняли голубей; поповы, дьячковы и пономаревы дети по грибы ушли, один Груздок сидел возле мостика, ловя в мутном омуте гольцов на удочку. Заслышав шум подъезжавшей тележки, поднял он голову и, увидев молодого человека, одетого по-немецкому, диву дался.

«Кто бы такой? — думал сам про себя рыболов.— Приказный из городу, так ехал бы с ямщиком, да у него и борода была бы не бритая, господ по здешним местам не водится,— разве попович невесту смотреть к батюшке едет?.. Так где ему взять таких лошадей?»

— Эй ты, любезный! — крикнул Самоквасов, осаживая лошадей.

Пристально поглядел на него Груздок и сердито пробормотал что-то по́д нос. Был он суров и сумрачен нравом. Одичав на безлюдье, не любил вдаваться с посторонними в разговоры.

— Подь-ка поближе сюда! — крикнул ему Самоквасов.

— Сам облегчись, видишь, за делом сижу,— грубо ответил Груздок.

— Лошадей оставить нельзя, и к тебе подъехать нельзя. Ишь какой косогор! — сказал Самоквасов.

— Так мимо да прочь,— огрызнулся Груздок.

— Водку пьешь? — вскричал Самоквасов.

— Эва! — с улыбкой отозвался Груздок, и лицо его просияло.

— А ерофеич?

— Толкуй еще!

— А ром? — продолжал подзадоривать мрачного сторожа Самоквасов.

— А ты подноси, чего спрашивать-то?..— молвил Груздок и, бросив на песок лёсы и уды, скорым шагом подошел к тележке.

Самоквасов вынул из-под подушки оплетенную баклажку, отвинтил серебряный стаканчик, покрывавший пробку, и, налив его водкой, поднес ухмылявшемуся караульщику.

— Знатно! — крякнул Груздок.— Давно такой не пивал!.. С запахом!..

— Померанцевая, — подтвердил Самоквасов, подавая Груздку ватрушку на закуску.— Ты здешний, что ли?

— Никак нет, ваше благородие. Черниговского графа Дибича Забалканского пехотного полка отставной рядовой,— вытянувшись по-военному, отвечал караульщик.

— Что ж здесь поделываешь? — спросил Самоквасов.

— По бедности, значит, моей при здешней церкви в караульщиках,— отвечал Груздок.

— Что у вас батюшка-то, каков?

— Не могим знать, ваше благородие,— отрезал караульщик.

— Да ты благородием-то меня не чествуй... Я из купечества... Так как же батюшка-то?.. Каков?..— спрашивал Самоквасов, наливая другой стаканчик померанцевой.

— Со всячинкой, ваше степенство,— улыбаясь, ответил Груздок.— Известно дело, что поп, что кот, не поворча, и куска не съест.

— А деньги любит?

— Эх, милый человек! Как же попу деньги не любить, коли они его самого любят? Родись, крестись, женись, помирай — за все деньги попу подавай,— со смехом сказал Груздок, хлопнувши нá лоб другой стаканчик померанцевой.

— А по скольку за свадьбу берет? — спросил Самоквасов.

— Ихнее дело, не наше,— закусывая поданной ватрушкой, ответил Груздок.

— А ну-ка, служивый, испробуй ромку теперь,— сказал Самоквасов, доставая другую баклажку.— Так по скольку ж батька-то у вас за венчанье берет?

— С кого как,— отвечал караульщик.— С богатого побольше, с бедного поменьше... Опять же как венчать, против солнца — цена, пóсолонь — другая, вдвое дороже.

— Хорош ли? — спросил Самоквасов у Груздка, когда тот выпил стаканчик рому.

— Вáжнецкий! — с довольством ответил караульщик.— С самой Венгерской кампании такого пивать не доводилось. Благодарим покорно, господин купец, имени, отчества вашего не знаю.

— Это у тебя что за бутылка лежит? — спросил Самоквасов.

— Да вот рыбешки на похлебку к празднику-то хочу наловить, так в бутылке червяки положены,— сказал Груздок.

— Опоражнивай!.. На завтрашний праздник ромку отолью,— сказал Самоквасов.

С радости бегом за бутылкой пустился Груздок, думая, должно быть, купчик в здешнем приходе жениться затеял!

— А уходом батька венчает? — спросил Самоквасов, переливая в бутылку ром.

— Ни-ни! — замотал головою Груздок.— И не подумает. Опасается тоже. Ведь ихнего брата за это больно щуняют. На каких родителей навернется. За самокрутки-то иной раз попам и косы режут. Бывает...

— А покалякать с ним на этот счет можно? — спросил Самоквасов.

— Отчего же не покалякать?.. Это завсегда можно,— отвечал Груздок.

— Слушай,— сказал Самоквасов.— Вот тебе на праздник зеленуха [1]. А удастся мне дело сварганить, красна за мной... Говори, с какой стороны ловчее подъехать к попу?

Глазам не верил Груздок, получив трешницу [2]. Зáраз столько денег в руках у него давно не бывало. Да десять целковых еще впереди обещают!.. Уж он кланялся, кланялся, благодарил, благодарил, даже прослезился. И потом сказал:

---

[1] *Зеленуха* — трехрублевая бумажка.
[2] То же.

— Уж, право, не знаю, что присоветовать. Опаслив у нас батюшка-то! Вот разве что: дочь у него засиделась, двадцать пятый на Олену пошел. Лет пять женихи наезжают, дело-то все у них не клеится. В приданом не могут сойтись. Опричь там салопа, платьев, самовара, двести целковых деньгами просят, а поп больше сотни не может дать.

— Сто рублей, значит, надо ему? — сказал Самоквасов.

— Сразу не надо давать. С четвертухи[1] зачинайте,— сказал караульщик.— А как сладитесь, деньги ему наперед, без того не станет и венчать. Для верности зá руки бы надо кому отдать, чтоб не надул, да некому здесь. Ты вот как: бумажки-то пополам, одну половину ему наперед, другу когда повенчает. Так-то будет верней.

* * *

Отец Родион был, однако ж, не так сговорчив, как ожидал Самоквасов. Не соблазнила его и сотня целковых. Стал на своем: «Не могу», да и только. Самоквасов сказал, наконец, чтоб Сушило сам назначил, сколько надо ему. Тот же ответ. Боялся Сушило, не с подвохом ли парень подъехал. Случается, бывает.

— С кем же, позвольте полюбопытствовать, имеете вы намерение в брак вступить? — спросил он, наконец.

— Да не сам я, батюшка,— отвечал Самоквасов.— Я тут только так, с боку припека, в дружках, что ли, при этом деле.

— Кто ж таков жених-от? — любопытствовал Сушило.

— Московский один, заезжий...— отозвался Самоквасов.

— А какого, осмелюсь спросить, звания? — продолжал свои расспросы отец Харисаменов.

— А шут его знает,— сказал Самоквасов,— не то из купцов, не то мещанин... Так, плюгавенький, взглянуть нé на что... Василий Борисов.

— Так-с...— поглаживая бородку, молвил Сушило.— Ну, а уж если позволите спросить, невеста-то чьих будет?

---

[1] Двадцатипятирублевый кредитный билет.

— А тут неподалеку от вас Чапурин есть Патап Максимыч. Дочка его.

— Чапурин!..— с места вскочил поп Сушило.— Да что ж вы мне давно не сказали?.. Что́ ж мы с вами попусту столько времени толкуем?.. Позвольте покороче познакомиться! — прибавил он, пожимая руку Самоквасова.— Да ведь это такой подлец, я вам доложу, такой подлец, что другого свет не производил... Чайку не прикажете ли?.. Эй, матушка!.. Афимья Саввишна!.. Чайку поскорей сберите для гостя дорогого... Когда же венчать-то?

— Да через недельку, батюшка, либо дён этак через десять, я вас накануне повестил бы,— отвечал Самоквасов.

А сам надивиться не может, что́ за притча с несговорчивым попом случилась.

— Уж как же вы утешили меня своим посещением! Уж как утешили-то! — продолжал изливаться в восторге Сушило.— Вот уж для праздника-то гость дорогой!.. Обвенчаем, родной мой, обвенчаем, только привозите!.. Патапка-то, Патапка-то!.. Вот потеха-то будет!.. Дочь за мещанином, да еще плюгавый, говорите.

— Плюгавый, батюшка, даже очень плюгавый,— подтвердил Самоквасов.— Такой, я вам скажу, плюгавый, что я, признаться сказать, и не рад, что ввязался в это дело...

— А, нет не говорите!.. Не говорите этого!..— сказал отец Родион.— В добром деле не должно раскаиваться... Нет, уж вы их привозите... Уж сделайте такое ваше одолжение!.. Параскевой, кажись, невесту-то звать. Старшая-то Анастасия была, да померла у пса смердящего!..

— Так точно, батюшка... А как же у нас насчет уговора будет?.. Сто рублев? — спросил Самоквасов.

— Пятьдесят бы надо накинуть... Как хотите, а надо накинуть,— отвечал Сушило.— Если б не Патапке насолить, чести поверьте, ни за какие бы миллионы. Я так полагаю, что и двести целковых не грешно за такое браковенчание получить... Сами посудите, ответственность... А он хоть и мужик, да силен, прах его побери!.. С губернатором даже знается, со всякими властями!.. Это вы поймите!.. Поймите, на что иду!.. Не грех и триста целковеньких дать...

Самоквасов поспешил согласиться. «Не то, чего доброго,— подумал он,— разговорится поп да в тысячу въедет...»

Чаю напились, три сотенных пополам. и после многих обниманий и целований расстались.

Это было накануне Петрова дня.

Петр Степаныч был на все лады молодец. За что ни во́зьмется, дело у него горит, кипит, само делается. С пылом, с отвагой схватился он за блажную затею Фленушки повенчать московского посланника с сонной, вялой Парашей. Не то чтоб думал он на расставанье угодить покидавшей его Фленушке аль устроить судьбу Параши, окрутив ее с Васильем Борисычем, а так — разгуляться захотелось, удалью потешиться. Не опасался он гнева Патапа Максимыча, не боялся, что оскорбит Манефу и в ужас приведет всю обитель Бояркиных. То забавляло его, какую тревогу поднимут в Москве на Рогожском, по всем скитам, по всему старообрядству, когда узнают, что великий, учительный начетчик, ревностный поборник «древлего благочестия», строгим житием и постничеством прославленный, обвенчался в никонианской церкви, да и невесту-то из скита выкрал. Воображал Самоквасов, как всполохнется мать Пульхерия, как засуетится рогожский святитель-поп Иван Матвеевич, как известие о свадьбе Василья Борисыча ошеломит столпов старообрядства, адамантов благочестия... Нарочно решился на̀скоро ехать в Москву любоваться потехой. А середь молодежи что смеху-то будет, шумного, беззаветного веселья!.. Для того одного сто́ит десяток посланников обвенчать!.. Главное дело, хохоту что будет, хохоту!..

За два дня до Казанской Самоквасов поскакал во весь опор в Язвицы к ямщикам. День был воскресный, в праздничных красных рубахах ямщики играли в городки середь улицы. Подошел Петр Степаныч, поглядел на них и, заметив молодого парня. что казался всех удалей, заговорил с ним:

— Лошадок бы надо.

Ямщики побросали палки и мигом столпились вкруг Самоквасова.

— Сколько требуется?

— Куда везти?

— В тарантасе, что ль? — в несколько голосов закричали они.

— Со всеми, братцы, не сговоришь, а мешкать мне не доводится,— молвил им Самоквасов.— Дело со всеми, а толковать буду с одним. Как тебя звать? — спросил он, обращаясь к тому, что показался ему всех удалей.

— Зовут зовуткой, величают серой уткой, — с хохотом в несколько голосов закричали ямщики, не думая отходить от Самоквасова.

— Кабак есть? — спросил Петр Степаныч.

— Как не быть кабаку? Станция без кабака разве бывает? Эх ты, недогадливый!..— смеялись ямщики.

Вынул Самоквасов целковый и молвил, отдавая его ямщикам:

— Угощайтесь покуда. После дело до всех дойдет, а до того с ним потолкую.

— Благодарим покорно,— во всю мочь закричали ямщики.— Смекаем, что требуется! Нам не впервой... Уважим, почтенный, как следует все обработаем!

И пошли вдоль по улице.

— Как же звать-то тебя? — спросил Самоквасов, отойдя с удалым ямщиком в сторонку.

— Федор Афанасьев буду,— молвил тот, молодецки тряхнув светлорусыми кудрями.

— Лошадок в середу треба мне, Федор Афанасьич,— молвил ему Петр Степаныч.— Тройку в тарантасе, две не то три тройки в телегах.

— Можно,— сказал удалой ямщик.

— Да парней бы молодых, что поздоровей да поудалей, человек с десяток,— продолжал Петр Степаныч.

— И это можно,— молвил ямщик.— Крадено, значит, везти? — прибавил он, плутовски улыбаясь.

— Есть немножко около того,— тоже усмехаясь, молвил Петр Степаныч.

— Коли крадено живое — с великой радостью, а не живой товар, так милости просим от нас подальше,— сказал Федор Афанасьев.

— Живое, живое,— подхватил Самоквасов.— Мы не воры, не разбойники, красных девушек полюбовники.

— Девку, значит, надо выкрасть? — лукаво подмигнув, молвил Федор.

— Есть тот грех,— усмехнувшись, сказал Петр Степаныч.

— Никакого тут нет греха,— сказал ямщик.— Все едино, что из тюрьмы кого высвободить аль отбить от разбойников. Сам я после Макарья тоже хочу девку красть.

— Так как же? — спросил Петр Степаныч.

— Будь покоен, почтенный, все это в наших руках, завсегда это можем,— отвечал Федор.— Восьэтто [1] мы одним днем две самокрутки спроворили... Четыре тройки, говоришь?.. Можно... Парней десяток?.. И это можно... Велику ль погоню-то ждешь?.. Кольев не припасти ли, аль одним кулаком расправимся?

— Зачем колья,— сказал Самоквасов.— Коль и будет погоня, так не великая... Да и то разве бабы одни,— прибавил он, усмехаясь.

— Стало быть, из скитов крадешь?.. Старочку?.. Молодец, паря! — хлопнув по плечу Самоквасова, весело молвил ямщик.— Я бы их всех перекрал — что им по кельям-то без мужьев сидеть?.. Поди, каждой замуж-от охота.

— Вестимо,— сказал Самоквасов.— Так как же у нас насчет ря́ды-то будет?

— По три целковых на брата даешь?—спросил Федор.

— Дам,— ответил Петр Степаныч.

— Ладно. Угощенье какое?

— На ведро водки деньгами дам — угощайтесь сами, как знаете,— молвил Самоквасов.

— Ведра будет маловато, два поставь. Заслужим,— сказал ямщик.

— Ну, два так два. Идет,— согласился Петр Степаныч.

— А на закуску? — опять спросил Федор.

— Тоже деньгами выдам,— сказал Петр Степаныч.— Трех целковых будет?

— Положь пятишницу,— почесывая затылок, молвил ямщик.

— Идет... А за ко́ней что?

— Езда-то куда? — спросил Федор.

— Отсель к Ронжину выехать...— начал было Самоквасов.

— Из Комарова, стало быть, крадешь,— усмехнулся ямщик.

---

[1] *Восьэтто*, или восейка — недавно, на днях, намедни.

— Оттоль в Свиблово.

— К попу Сушиле. Знатный поп, самый на эвти дела подходящий. Наши ребята с самокрутками все к нему. Денег только не жалей,— а то хоть с родной сестрой окрутит.

— Из Свиблова в город,— продолжал Петр Степаныч.

— Десять да десять — двадцать, да еще двадцать одна — сорок одна верста всей-то езды. Подставы будут нужны. Сорок верст по такой жаре не ускачешь,— сказал Федор.

— Подставы так подставы,— молвил Петр Степаныч.— Сколько ж за все?

— Десять человек по три целковых — тридцать,— стал считать Федор,— два ведра — десять, на закуску пятишницу — значит, всего сорок пять, за ко́ней пятьдесят. Клади сотенну кругом, тем и делу шабаш.

— Пять-то целковых зачем присчитал? — молвил Петр Степаныч.

— На̀спех делается, почтенный, нельзя,— ответил ему Федор.— Пла̀тами не станешь поезжан оделять? Невестиных даров тоже не будет?.. Положь за дары-то пятишницу.

— Ну, ладно. Получай задаток,— молвил Петр Степаныч Федору и подал ему четвертную.

— Ты к тем не ходи,— сказал Федор.— Я уж сам тебе все обделаю. Будь спокоен... Когда выезжать-то?

— Коль не пришлю повестку в отмену, в середу после полден часа через три быть вам у Ронжина,— отвечал Самоквасов.

— Слушаем,— молвил ямщик.— Все в исправности будет. Нам не впервой.

Самоквасов дальше поехал, а в Язвицком кабаке далеко за по́лночь ямщики пили и пели, гуляли, кричали на все голоса.

* * *

В городе Петр Степаныч не так легко и скоро управился, как в Язвицах. Здесь надо было ему приискать квартиру, где б молодые после венца прожили несколько дней до того, как ехать им в Осиповку за родительским прощеньем. В том захолустном городке гостиниц сроду

не бывало, а постоялый двор всего-на-все один только был, наезд бывал туда только в базарные дни. На том дворе Петр Степаныч пристал, видит, молодых тут нельзя приютить — больно уж бойко и во всем несуразно: все одно что кабак... По домам пошел квартиры искать — нет ни единой.

Проходил Самоквасов по городку вплоть дó вечера и уж думал на другой день квартиры искать в деревнях подгородных, но ему и тут удалой ямщик пригодился. Только вышел он поутру на улицу, Федор Афанасьич тут как тут — усталых, взмыленных коней проваживает... Окликал его Петр Степаныч.

— А, почтенный!.. Ты уж и здесь,— весело отозвался ямщик.— А меня, чтоб его пополам да в черепья, пес его знает, барин какой-то сюда потревожил... Казенна подорожная, да еще «из курьерских»... Вишь, кóней-то загнал как, собака,— не отдышатся, сердечные... А мы только что разгулялись было, зачали про ваше здоровье пить, а его шайтан тут и принеси... Очередь-то моя — что станешь делать?.. Поехал.

— Слушай-ка, парень, вечор сказывал ты, что эти самокрутки дело вам за обычай,— молвил ему Самоквасов.

— Без нашего брата тут нельзя...—отвечал Федор.— Потому, ускакать надо. Мне вот у тебя на двадцатой свадьбе доведется быть... Завсегда удавалось, раз только не успели угнать. И колотили же нас тогда... ой-ой! Три недели валялся, насилу отдох. До сих пор знатко осталось,— промолвил он, показывая на широкий рубец на правой скуле...— Отбили, ареды!

— А не случалось тебе после венца молодых сюда в город возить? — спросил Самоквасов.

— Как не случаться — случалось!.. Сколько раз...— отвечал Федор.

— Видишь ли что, Федор Афанасьич,— сказал Самоквасов,— человек я заезжий, знакомцев у меня здесь нету... Вечóр бился, бился, искал, искал квартиры, где бы пожить молодым. Весь город исходил — собачьей конуры и той не нашел.

— У Феклиста Митрича нешто не был? — спросил у него ямщик.

— У какого Феклиста Дмитрича?

— Погребок у него, вином виноградным торгует,— сказал ямщик,— лавочка тоже есть, бела харчевня. К нему с девьем когда хошь, и в полно̀чь и за̀ полночь.

— Ну нет, Федор Афанасьич, это, друг любезный, не годится. Не шатущие приедут, не в кабаке им жить,— сказал Петр Степаныч.

— Зачем в кабаке? — возразил ямщик.— Только не жалей целкачей, так Феклист Митрич сам-от в подклет переберется, а верхни горницы тебе предоставит. А горницы у него важные!.. Во всех не бывал, хвастать не стану, а говорят, почище да приборней городнических будут.

— Где ж его отыскать? — спросил Самоквасов.

— А ты обожди здесь маленько, я только коням овсеца задам. Покаместь жуют, мы с тобой дело-то и обладим. Мне не впервой к нему молодых-то привозить,— сказал Федор Афанасьич.

— Постой, погоди,— молвил ему вслед Петр Степаныч,— какой он веры, Феклист-от Митрич? Какого, значит, согласу?

— А тебе что? — обернувшись, спросил ямщик.

— Да ведь если он по ихней, по скитской значит, так, пожалуй, не пустит,— молвил Петр Степаныч.

— Феклист-от Митрич не пустит?.. Эва!..— засмеялся ямщик.— Он, брат, у нас всякой веры... Когда котора выгоднее, такую на ту пору и держит. В одни святы денежки верует. Повесь на стенку сотенну бумажку — больше чем Николе намолится ей.

Убрав лошадей, ямщик повел Петра Степаныча к Феклисту Митричу. Тот сразу согласился уступить все верхнее жилье дома. Понравилось оно Петру Степанычу — как есть купецкий дом середней руки. Ни горок с серебром и ценным фарфором, ни триповых диванов, как у Патап Максимыча, не было, а все-таки не зазорно было Прасковье Патаповне вступить в такой дом после венчанья. Зато уж и содрал же Феклист Митрич щетинку с Самоквасова. Что ни разъезжал по городам, нигде таких цен за постой он не плачивал. Однако ж не торговался, хоть и почесал в затылке, подумавши, что свадебка-то ему, пожалуй, за тысячу въедет. Да что́ тысяча, коль охота мо̀лодцу покуражиться. «Главное дело, матушка Пульхерия да батюшка Иван Матвейч!.. Рожи-то какие корчить зачнут!..»

— Так вы уж, пожалуйста, Феклист Митрич, постарайтесь, чтобы все как следует было,— молвил Самоквасов ему на прощанье.

— Не извольте, почтеннейший господин, напрасно беспокоиться. Слава богу, эти дела нам не впервые,— дробной скороговоркой зачастил Феклист Митрич.—Летошний год Сущов, купец из нижнего Воскресенья,— рыжий такой, не изволите ли знать, да толстый,— тоже скитску девицу из Оленева крал, тоже у нас проживанье имели, всем остались довольны. Свечки будут стеариновые, по всем горницам зажжем; двуспальну постель кисейными пологами украсим, можно будет и коврики постлать. Чайна посуда и для обеда отменная; не понравится кушанье из нашей харчевни, можем из трактира повара взять; вина первый сорт — от Соболева. И все по самым сходным ценам будет предоставлено вашему почтению.

Сладились. Отдал Феклисту Петр Степаныч задаток, простился с удалым ямщиком и рысцой покатил к попу в Свиблово.

* * *

Сушило встретил Петра Степаныча не по-прежнему. Когда Самоквасов подъезжал к погосту, поп, влекущий племя свое от литовских бояр, в белой холстинной рубахе, босиком, но в широкополой шляпе, косил по своему кладбищу сено. Ловко размахивал он косою, гораздо ловчее, чем работавший в другом углу кладбища Груздок. Услыхав грохот тележки на мостике, Сушило перестал косить, приставил правую руку зонтиком над глазами и пристально стал вглядываться в проезжего. Узнав с нетерпением ожидаемого гостя, швырнул он косу и крикнул сторожу:

— Докашивай, Груздок, докашивай, да в оба гляди, от Игнатья аль от Ипатья ребятенки опять бы не стали корзинами наше сено таскать. Чуть что́, первого за вихор да ко мне на расправу.

И бегом побежал к дому отец Харисаменов, сверкая голыми пятками. Став в калитке, окликнул он лихо подкатившего Петра Степаныча.

— Милости просим, гость дорогой, милости просим! В горницу пожалуйте, а я сейчас оболокусь.

Поставив лошадок у поповских ворот, Самоквасов вошел в дом. Горница была пуста, но за перегородкой слышалась возня одевавшегося отца Родиона, припевавшего вполголоса: «Ангельские силы на гробе твоем и стрегущие омертвеша».

Через несколько минут вышел из-за перегородки Сушило в желто-зеленой нанковой рясе и даже с распущенными из пучка и расчесанными власами. Хоть архиерею напоказ.

Поклонился Самоквасов отцу Родиону, а тот, подавая ему руку запросто, с усмешкой промолвил:

— Благословения не приемлете?

— Нет, батюшка, и мы тоже старинки держимся,— улыбаясь, ответил Петр Степаныч.

— Ну, как знаете... А нехорошо, нехорошо,— вдруг приняв на себя строгий вид, заговорил отец Харисаменов.— Без церкви спастися невозможно. Потому сказано: «Аще все достояние свое нищим расточишь, аще весь живот свой в посте и молитве пребудешь, церкви не чуждадися будешь — никако душу свою пользуешь».

— Мы, батюшка, так уж сызмальства,— сказал Самоквасов.— Как родители жили, так и нас благословили.

— Ну, ваше дело, ваше дело,— мягким голосом проговорил Сушило.— Я ведь так только... К слову... Так подобает мне, потому пастырский долг, обязанность благовремение и безвременне поучать и увещевать всяка человека, святей божией церкви чуждающегося. Садиться милости просим, гость дорогой... А я еще третьего дня вас поджидал... Афимья Саввишна!.. Матушка!.. Аль не слышите?.. Чайку скорей сберите да на закусочку койчто сготовьте... Ну, как наши дела, почтеннейший Петр Степаныч?.. Когда венчать-то?.. Пора бы уж, пора — мои половинки по вашим соскучились,— со смехом прибавил отец Родион.

— Да послезавтра бы, в середу, если можно, батюшка,— ответил Самоквасов.

— Можно, все можно. Отчего ж нельзя? — ласково и нежно заговорил Сушило, поглаживая бородку.— Чем скорей, тем лучше: и для нас способнее и для вас приятнее. Отзвонил да с колокольни долой, как у нас говорится. Хе-хе-хе!

— Так к которому же часу привезти их, батюшка? — спросил Петр Самоквасов.

— Попозже-то лучше бы. Не столь видно,— сказал Сушило.— Хотя при нашем храме стороннего народа, опричь церковного клира, никого не живет, однако ж все-таки лучше, как попозднее-то приедете. В сумерки этак, в сумерки постарайтесь... Потому, ежели днем венчать, так, увидевши ваш поезд, из деревень налезут свадьбу глядеть. А в таком деле, как наше, чем меньше очевидцев, тем безопаснее и спокойнее. Погоню за собой чаете?

— Нет, батюшка, вряд ли будет погоня,— отвечал Петр Степаныч.

— А ежели Патапка проведает? — возразил Сушило.— Двадцать деревень может поднять, целу армию выставит. С ним связаться беда — медведь, как есть медведь.

— В город, батюшка, уехал, дела там какие-то у него, с неделю, слышь, в отлучке пробудет,— сказал Самоквасов.— И матери дома нет — в Вихорево, коли знаете, к Заплатиным гостить поехала.

— С дочерью, с нашей то есть невестой? — любопытствовал отец Родион.

— Невеста-то у тетки в Комарове,— молвил Петр Степаныч.

— У Манефы,— полушепотом подхватил Сушило.— Ехидная старица, злочинная!.. На одну бы осину с братцем-то... А разве вы полагаете, почтеннейший Петр Степаныч, что ежели паче чаяния злочинная Манефа узнает, так не нарядит она погони?.. Какую еще нарядит-то!.. Денег жалеть не станет, все окольны деревни собьет... Поопасьтесь на всякий случай.

— Будьте покойны, батюшка,— сказал Самоквасов.— Ни Манефы послезавтра в Комарове не будет, ни других начальных стариц — все в Шарпан уедут.

— Да, ведь послезавтра восьмое число: явление Казанския чудотворныя иконы... Праздник у них в Шарпане-то, кормы народу,— злобно говорил отец Родион.— Ох, куда сколь много вреда святей церкви теми кормами они чинят... И как это им дозволяется!.. Сколько этими кормами от церкви людей отлучили... Зловредные, изо всех скитниц самые зловредные эти шарпанские!.. И как это вы отлично хорошо устроили,— переменил свою речь Сушило.

— Что такое? — спросил Петр Степаныч.

— А как же? Отец в отлучке, мать в отлучке, тетка в отлучке, сама невеста не в своем дому, а призора нет за ней никакого,— говорил отец Родион.— Отменно хорошо дельце обо́рудовали, ей-богу, отменно... А на всякий случай ради отбоя погони, люди-то будут ли у вас?

— Как же, батюшка, без того нельзя,— отвечал Самоквасов.— Десять молодцов здоровенных — не больно к ним подступятся...

— Ну вот и прекрасно,— молвил Сушило.— Преотменно, я вам доложу, без отбойных людей в таких делах никак невозможно. Потому что тут погонщики бывают аки звери. Пьяны к тому ж завсегда. Такую иной раз свалку подымут, что того и гляди смертоубийства не было бы... А вы не беспокойтесь, только поспевайте скорее, доро́гой бы только вас не угнали, а здесь уж все в порядке будет. Дверь в церковь у нас дубовая, толстая, опричь нутряного ключа, железной полосой замыкается, окна высоко́, к тому ж с железными решетками да с болтами... Столь крепко запремся, что никакими силами нас не возьмут... Хе-хе-хе!.. Нарочно для таких случа̀ев и сделано, опять же для опасности от воровских людей. Жителей-от у нас, как видите, опричь меня да причетников, нет никого, а кругом народ вор, как раз могут церковь подломать... На̀ это взять их, мошенников!

— Батюшка, уж вы, пожалуйста, жениха-то с невестой по́солонь обведите,— вкрадчивым голосом сказал попу Петр Степаныч.

— По́солонь, по́солонь!..— пощипывая бородку, думчиво говорил отец Родион.— Не ладно будет, государь мой, не по чину.

— Уж сделайте такое ваше одолжение... Не откажите... Да уж и теплоту-то в стеклянном стакане подайте... Уж сделайте милость.

— Значит, по-вашему: стакан жениху в церкви о́ пол бить да ногой черепки топтать...— сказал Сушило.— Бесчинно и нелепо, государь мой!.. Вы этак, пожалуй, захотите, чтоб после венца невесте в церкви и косу расплетали и гребень в медово́й сыте мо̀чили, да тем гребнем волоса́ ей расчесывали.

— Вот ведь, батюшка, вы все знаете, как у нас по-старинному делается,— улыбнулся Самоквасов.

— Еще бы не знать! Сколько годов с вашим братом вожусь, со здешними, значит, раскольщиками. Все ваши обычаи до тонкости знаю,— молвил отец Родион.

— Так уж вы так и сделайте, батюшка, коли все знаете. Очень бы нас тем одолжили. А мы будем вам за то особенно благодарны.

— Да не все ль для вас едино: так ли, этак ли их повенчаю. Тут главная причина, в обыскную книгу было бы вписано,— сказал Сушило.

— Нет, уж вы сделайте такое ваше одолжение,— продолжал Петр Степаныч.— Я вам за̀ это сейчас же четвертную, не надрываючи,— уговаривал его Петр Степаныч.

— Ох, уж, право, какие вы! — с глубоким вздохом молвил отец Родион.— И не рад, что связался! Только уж как хотите, а одной четвертной будет маловато... А будет с невестой какая молодица, голову-то бы ей в церкви расчесать да повойник вздеть?

— Нет, батюшка, во всем поезде женскому полу, опричь невесты, не будет у нас,— сказал Самоквасов.

— Так как же это будет? — вскликнул Сушило.— Не мужчине ж волоса̀-то ей расчесывать. Впрочем, об этом не пекитесь. Тут неподалеку для таких делов есть у нас мастерица. Ее пригласим; это уж мое дело, насчет этого вам беспокоиться нечего.

— Очень будем вам благодарны, батюшка,— сказал Петр Степаныч.— Так какая же будет у нас ряда? — сказал он потом.

— Сами сочтите,— ответил отец Родион.— За по́солонь четвертная, за стакан другая, за расплетанье косы третья, молодице четвертая. Сотенная, значит.

— Как же это, батюшка, за косу-то вдвойне вы кладете? — спросил Самоквасов.— За расплетанье косы четвертная, да молодице другая?

— Одна, значит, мне за дозволение совершить во храме бесчинный обряд, церковными правилами не заповеданный, а другая молодице за труды,— спокойно и даже внушительно сказал поп Сушило.

Как ни бился Петр Степаныч, копейки не мог выторговать. Уперся́ поп Сушило на сотне рублей, и ничем его нельзя было сдвинуть. Заплатил Самоквасов, напился у попа чаю, закусил маленько и тихой рысцой покатил к Каменному Вражку.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Спрыснув золотые галуны удельного головы и знаменитого перепелятника, веселый и вполне довольный собой и другими, Патап Максимыч заехал в деревню Вихореву, оставил там у Груни Аксинью Захаровну, а сам денька на два отправился в губернский город. Приехал туда по́д вечер, пристал у «крестника», у Сергея Андреича.

Колышкин повел его в тенистый сад и там в тесовой беседке, поставленной на самом венце кручи [1], уселся с «крестным» за самовар. После обычных расспросов про домашних, после отданных от Аксиньи Захаровны поклонов, спросил Патап Максимыч Колышкина:

— А что мой Алексеюшка? У тебя, что ли, он?

Сергей Андреич только посвистал вместо ответа.

— Чего свищешь? По-человечьи говори, не по-птичьи,— с досадой молвил Патап Максимыч.

— Рукой не достанешь его... Куда нам такого внаймах держать!..— сказал Сергей Андреич.

— Как так? — удивился Чапурин.

— Маленько повыше меня, на Ильинке — Рыкаловский дом знаешь?

— Как не знать? — молвил Патап Максимыч.

— А вон на пристани, третий пароход от краю, бела труба с красным перехватом. Видишь?

— Ну?

— И дом Рыкаловский и пароход с белой трубой теперь Алексея Трифоныча Лохматова. И он теперь уж не Лохматый, а Лохматов прозывается. По первой гильдии... Вот как...— сказал Колышкин.

Не нашел Чапурин слов на ответ. Озадачили его слова Сергея Андреича.

— Да это на плохой конец сотня тысяч! — молвил он после короткого молчанья.

— Девяносто,— сказал Сергей Андреич, закуривая сигару.— Маленько не угадал.

— Откуда ж такие у него деньги? С неба свалились, с горы ли скатились? — вскликнул в изумленье Патап Максимыч.

---

[1] *Круча* — утес, обрыв, гора стеной.

— И с неба не валились и с горы не катились — жена принесла,— молвил Колышкин.

— Как жена?.. Какая жена?..— вскликнул, вскочив со скамьи, Патап Максимыч.

— Какие жены бывают... Вечор повенчались...— куря равнодушно сигару, ответил Колышкин.

— На ком, на ком? — горя нетерпеньем, спрашивал Патап Максимыч.

— Ну-ка, вот угадай!.. Из ваших мест, из-за̀ Волги невесту брал, да еще из скитов... Разумеешь? — молвил Колышкин.

— Знаю теперь, догадался! — вскликнул Патап Максимыч.— Дура баба, дура!.. На Петров день у сестры мы гостили, там узнали, что она тайком из скита с ним поехала... Неужели пошла за него?

— Пошла,— ответил Сергей Андреич.

— Дурища! — вполголоса промолвил Чапурин.

— Верно твое слово,—подтвердил Колышкин.—Надивиться не могу, как это решилась она... Баба не в молодя́х, а ему немного за двадцать перевалило; лет через десять — она старуха, а он в полной поре... Видала от первого мужа цветочки, от другого ягодок не увидать ли... И увидит, беспременно увидит... Еще женихом какое он дельце обработал — чуть не половину ее капитала за собой закрепил... И дом и пароход — все на его имя. Завладеет и деньгами, что в ларце у жены покаместь остались... Всем по скорости завладеет... Тогда и свищи себе в кулак Марья Гавриловна, гляди из мужниных рук... Воли-то нет над ней, поучить-то некому, дурь-то выбить из пустой головы.

— Как же это он таково скоро? — молвил Патап Максимыч, не глядя на Колышкина.

— Такие дела всегда на̀спех делаются,— сказал Сергей Андреич.— Баба молодая, кровь-то, видно, еще горяча, а он из себя молодец... Полюбился... А тут бес... И пришлось скорей грех венцом покрывать... Не она первая, не она последняя... А ловок вскормленник твой... метил недолго, попал хорошо.

— Да, ловок,— вздохнул Патап Максимыч, и яркая краска облила думное лицо его.

— Билет на свадьбу присылал, да я не поехал,— молвил Сергей Андреич.— Ну его к богу. Не люблю таких.

Не отвечал Патап Максимыч. Про Настю ему вспомнилось.

— Шельмец! — порывисто с места вскочив, вскликнул он и стал ходить по беседке взад и вперед.

— Раскусил-таки! — усмехнулся Колышкин. — Да, молодец!.. Из молодых, да ранний!.. Я, признаться, радехонек, что ты вовремя с ним распутался... Ненадежный парень — рано ли, поздно ли в шапку тебе наклал бы... И спит и видит скору наживу... Ради ее отца с матерью не помилует... Неладный человек!

— Не в примету мне было то,— обмахиваясь платком, промолвил Патап Максимыч. Пот градом струился по раскрасневшемуся лицу его.

— А я так приметил, даром что меньше твоего знаю пройдоху...— сказал на то Колышкин.— Намедни пожаловал... был у меня. Парой в коляске, в модной одеже, завит, раздушен, закорузлые руки в перчатках. Так и помер я со смеху... Важный, ровно вельможа! Руки в боки, глаза в потолòки — умора! И послушал бы ты, крестный, как теперь он разговаривает, как про родителей рассуждает... Мерзавец, одно слово — мерзавец!

— Что ж про родителей-то? — спросил Патап Максимыч.

— Спрашиваю его: будут ли на свадьбу, повестил ли их? «Некогда, говорит, мне за ними рассылать, очень-но, дескать, много и без них хлопот».

— Дела, дела! — глубокó вздохнул Патап Максимыч, садясь на стул перед Колышкиным.

— Да, крестный, дела, что сажа бела,— молвил Сергей Андреич.

— Повидаться мне с ней надо б, с Марьей-то Гавриловной,— подумав, сказал Патап Максимыч.— Дельце есть до нее... За тем больше и в Комаров к сестре ездил, чаял ее там увидать.

— Что за дельце такое? — спросил Колышкин.

— Торговое,— сухо ответил Чапурин.

— Что ж?.. Сходи поздравь с законным браком. Законный как есть — в духовской венчались, в единоверческой,— сказал Сергей Андреич.

— Да ведь они оба нашего согласу,— удивился Патап Максимыч.

— Духовско-то венчанье, слышь, покрепче вашего,— улыбнулся Колышкин.— Насчет наследства спокойнее,

а то неравно помрет, так после нее все брату достанется. Так и сказал. Боится, видишь, чтоб Залетовы не вступились в имение, не заявили бы после ее смерти, что не было венчанья, как следует.

— Не сделает этого Залетов,— молвил Патап Максимыч.— Знаю я Антипу Гаврилыча: до денег жаден, а на такое дело не пойдет.

— Сам я знаю Залетова, сам то же думаю, а вот Алексей Трифоныч Лохматов не таких, видно, мыслей держится,— ответил Колышкин.

— Не чаял от него таких делов, не чаял,— качая головой, говорил Патап Максимыч.

После того приятели спокойно толковали про торговые дела, про пароходство, клади и поставки. И длилась у них беседа до ужина.

— Где спать-то велишь? — спросил Патап Максимыч, выходя с хозяином после ужина из беседки.

— Все приготовлено. Успокою дорогого гостя!.. В кои-то веки пожаловал!..— говорил Сергей Андреич.

— Ты бы мне здесь в беседке велел постлать... На вольном воздухе легче, не душно,— сказал Патап Максимыч.

— Чтой-то ты, крестный? — возразил Сергей Андреич.— Возможно ль тебе у меня не в дому ночевать!.. На всех хватит места. Хочешь, спальню свою уступлю? Нам с женой другое место найдется.

— Нет, уж ты вели мне постеленку в беседке постлать... На воле-то крепче поспится,— настаивал Патап Максимыч.

— На заре-то холодно будет — озябнешь,— молвил Сергей Андреич.

— Наше дело мужицкое — авось не замерзнем,— усмехнулся Патап Максимыч и настоял, чтоб ночлег был сготовлен ему в беседке.

По́лночь небо крыла, слабо звезды мерцали в синей высоте небосклона. Тихо было в воздухе, еще не остывшем от зноя долгого жаркого дня, но свежей отрадной прохладой с речного простора тянуло... Всюду царил бесшумный, беззвучный покой. Но не было покоя на сердце Чапурина. Не спалось ему и в беседке... Душно... Совсем раздетый, до самого солнышка простоял он на круче, неустанно смотря в темную заречную даль родных заволжских лесов.

«Так вот он каков объявился!.. Корыстник!.. Падок на деньги, жаден к богатству!.. А я-то как о нем рассуждал,— так сам с собою раздумывал Патап Максимыч.— Стало быть, и покойницу-то из-за корысти губил он!.. Не познала тайных замыслов его, голубонька; мороком обвел злодей, отуманил ее. Не красы девичьей, а денег моих добивался! Теперь это солнца ясней... А я ль не любил его, я ли о нем не старался!.. От родного отца откинулся, как же бы тестя-то стал почитать?.. Э!.. Пропадай он совсем!.. И пропадет, как капустный червяк пропадет!.. Не праведна корысть впрок не пойдет... А выскользнул из рук!.. Сам стал богат: теперь ни угрозой, ни лаской, ни дарами, ни долгами рта ему не завяжешь... Обесславит ее во гробу, накроет позором мою голову!.. Ох, господи, господи!.. От него все станется... Чует мое сердце!»

Долго раздумывал Чапурин, как бы властной рукой наложить молчанье на уста разбогатевшего Алексея, но, как ни раскидывал умом, ничего придумать не мог. Стало его заботить и дело с Марьей Гавриловной. За год перед тем взял он у нее двадцать тысяч рублей по векселю, срок платежа наступал, а денег в сборе нет. Взявши зимой не по силам подряд, извел он залежные деньги, а за поставку уплату надо получать у Макарья... О долге прежде ему не гребтелось, не думал Чапурин о сроке, знал, что Марья Гавриловна не то что полтора месяца, целый год подождет. Бывши на Настиных похоронах, сама закинула такое слово Патапу Максимычу. Оттого и денег он не припас, оттого и хотелось потолковать с Марьей Гавриловной насчет отсрочки... А срок послезавтра.

«Она вся теперь в его власти,— ходя по венцу горы, думал Чапурин.— Вдруг он не захочет?.. Вдруг ко взысканью представит... Нет, не представит... Разве мало видел от меня милостей?.. Не камень же в самом деле!..»

Утром Патап Максимыч, не повидавшись с Сергеем Андреичем, в Рыкаловский дом пошел. Затуманилось в глазах, тоской заныло гордое сердце кичливого тысячника, когда вспало ему на ум, что будто на поклон он идет к своему токарю... Полугода не прошло с того, как, подав щедрую милостыню, вырвал он из нищеты его семью, а самого приблизил к себе ровно сродника. Позо-

ром честной семьи за добро заплатил, но и после того не оскудела рука Патапа Максимыча. И вот теперь, когда, по словам Колышкина, Алексей во всю ширь развернулся и во всей наготе выказал жадную, корыстную душу свою, высокомерному Чапурину доводится идти к нему, ровно на поклон, просить, может быть, кланяться... Сроду не случалось ему такого униженья, никогда не бывала так оскорблена его спесь, его надменность самим собой... Но все-таки надеялся он на Марью Гавриловну. Она добрая, отсрочит, сама же обещала отсрочку, сама говорила, чтоб он не хлопотал, не сбирал денег на расплату в срок.

Не надивится Патап Максимыч, глядя на богато разубранные комнаты Алексея Трифоныча. Бронза, зеркала, ковры, бархаты, цветы — ничем не хуже колышкинских. И все так ново́, так свежо́, так ярко, все так и бьет в глаза... И это дом поромовского токаря, дом погорельца, что прошлой зимой нанимался к нему в работники!.. Ночи темней сумрачные взоры Чапурина.

* * *

Самого Алексея не было дома, на пароход уехал, в тот день надо было ему отваливать. Марья Гавриловна, только что повестили ее про Патапа Максимыча, то́тчас вышла к нему из внутренних горниц.

В пышном нарядном платье, но бледная, задумчивая, с поникшей головой, неслышными стопами медленно вышла она по мягким пушистым коврам и стала перед Патапом Максимычем. Подняла голову, вспыхнула заревом, опустила глаза.

— С законным браком, сударыня Марья Гавриловна,— тихо и сдержанно, но сильно взволнованным голосом проговорил Патап Максимыч.

— Покорно вас благодарю,— чуть слышно отвечала она.— Садиться милости просим.

Сели. Речи нейдут на уста ни тому, ни другой. Помолчав, Чапурин сказал:

— А я вечор только приехал. Знать бы наперед, на свадьбу поспешил бы.

— Покорно вас благодарю,— сдерживая, сколько доставало силы, волненье, тихо ответила ему Марья Гавриловна.

— Скоренько поспешили,— после нового молчанья промолвил Патап Максимыч.

— Власть божия, Патап Максимыч, судьба! — сказала Марья Гавриловна.

— Вестимо,— молвил Патап Максимыч.— Что на роду человеку написано, от того никому не уйти. Сказано: сужена-ряжена ни пешу обойти, ни конному объехать!..

— Аксинья Захаровна как в своем здоровье, Параша? — догадалась, наконец, спросить Марья Гавриловна.

— Живут помаленьку,— отвечал Патап Максимыч.— Хозяйку в Вихореве у Груни покинул, Прасковья гостит в Комарове.

— Матушка Манефа здорова ль? — совсем склонив голову, едва переводя дух, чуть слышно спросила Марья Гавриловна.

— Пеншит помаленьку. Старого леса кочерга!.. Хворает, болеет, а сотню лет наверняк проскрипит,— слегка улыбнувшись, промолвил Чапурин.

Еще что-то хотела сказать Марья Гавриловна, но не вылетело из уст ее крылатого слова.

— На Петров день у Манефы гостили мы,— зачал опять Патап Максимыч.— Не обессудьте, Марья Гавриловна, в вашем домике приставали: я, да кум Иван Григорьевич, да удельный голова, да Марка Данилыч Смолокуров,— не изволите ли знать?

— Слыхала про Марка Данилыча,— молвила Марья Гавриловна.— Сказывают, человек хороший.

Опять настало молчанье. С духом сбирался Патап Максимыч.

— А я с просьбицей к вам, Марья Гавриловна,— зачал он, наконец, и замялся на первых словах.

— С какой, Патап Максимыч? — с ясным взором и доброй улыбкой спросила Марья Гавриловна.

— Да вот насчет того векселя... Послезавтра срок. Как были вы у нас на Настиных похоронах, сами тогда сказали, что согласны отсрочить... Мне бы всего месяца на полтора. Надеясь на ваше слово, денег я не сготовил. Безо всяких затруднений можно бы было и больше той суммы перехватить, да видите — теперь вдруг подошло... Тогда при моей скорби-печали, сами знаете; до того ли мне было, чтоб векселя переписывать... А теперь уж сделайте такую вашу милость, не откажите, пожалуйста. Все векселя, что́ даны мне за горянщину, писаны до спу-

ска флагов у Макарья, значит, по двадцать пятое августа. Уж сделайте такую милость, Марья Гавриловна, перепишите векселек-от на два месяца, по девятое, значит, сентября.

— С великим моим удовольствием,— ответила Марья Гавриловна.— Не извольте беспокоиться, Патап Максимыч... Так точно, сама я тогда говорила вам, чтоб вы не хлопотали об уплате на срок... Вот Алексей Трифоныч сейчас приедет; доложу ему, что надо завтра непременно тот вексель переписать.

— А сами-то вы? — спросил Патап Максимыч.

— Сами вы муж, сами семьи голова, Патап Максимыч,— улыбнувшись, промолвила Марья Гавриловна.— По себе посудите — стать ли замужней женщине в такие дела помимо мужа входить?.. У меня все ему сдано... Посидите маленько, не поскучайте со мной, он скоро воротится. Пароход сегодня в Верху отправляет—хлопоты.

Ко́лом повернуло сердце у Патапа Максимыча. Приходится поклониться Алексею. «Не во сне ль это?» — думает высокомерный, спесивый тысячник, и багровый румянец обливает лицо его, кулаки сами собой стиснулись, а черные глаза так и засверкали искрами. «И угораздило ж ее за такого талага̀я [1] замуж идти!.. Ему кланяться!.. Алешке Лохматому... Да пропадай он совсем!.. В разор разорюсь, а не поклонюсь ему!.. Ох, дура, дура!.. Погоди, матушка, погоди — облупит он тебя, как липочку, да, кажись, немного уж осталось и обдирать-то тебя!..»

Вдруг по всему дому звон раздался. Давно ль не умел Алексей сладить со звонком на крыльце у Колышкина, а теперь сам приделал звонки к подъезду «благоприобретенного» дома и каждый раз звонил так усердно, как разве только деревенски ребятишки звонят о Пасхе на сельских колокольнях.

— Приехал,— молвила Марья Гавриловна, и как-то неловко стало ей перед Патапом Максимычем. Слегка засуетилась она.

Бойко, ще́петко [2] вошел Алексей. Щеголем был разодет, словно на картинке писан. Поставив шляпу на стол

---

[1] *Талага́й* — болван, неуч, невежа.

[2] *Ще́петко* — щегольски, по-модному, но неловко. Щепетун — щеголь, щепет — щегольство. Слова эти употребляются в простом народе Нижегородской и других поволжских губерний.

и небрежно бросив перчатки, с неуклюжей развязностью подошел он к Патапу Максимычу. Как ни сумрачен, как ни взволнован был Чапурин, а еле-еле не захохотал, взглянув на своего токаря, что вырядился барином.

— Наше вам наиглубочайшее! — закатывая пóд лоб глаза, нескладно повертываясь и протягивая руку Патапу Максимычу, с ужимкой сказал Алексей.— Оченно ради, почтеннейший господин Чапурин, что удостоили нас своей визитой!

Не́хотя подал Патап Максимыч ему руку, еще раз с головы до ног оглядел Алексея, слегка покачал головой, но сдержался — слова не молвил. Одно вертелось на уме: «Наряд-от вздел боярский, да салтык-от остался крестьянский, надень свинье золотой ошейник, все-таки будет свинья».

— Садиться милости просим, почтеннейший господин Чапурин,— говорил Алексей, указывая на диван Патапу Максимычу.— А ты, Марья Гавриловна, угощенья поставь: чаю, кофею, «чиколату». Чтобы все живой рукой было! Закуску вели сготовить, разных водок поставь, ликеров, рому, коньяку, иностранных вин, которы получше. Почтенного гостя надо в акурат угостить, потому что сами его хлеб-соль едали.

— Спасибо на памяти про нашу хлеб-соль,— сухо промолвил Патап Максимыч.— Не беспокойте себя понапрасну, Марья Гавриловна. Ни чаю, ни кофею, ни закусывать мне теперь не охота... И за то благодарен, что хлеб-соль моя не забыта.

— Помилуйте, почтеннейший господин Чапурин, как же возможно вашу хлеб-соль нам позабыть? — молвил Алексей.— Хоша в те времена и в крестьянстве я числился, никакого авантажу за собой не имел, однако ж забыть того не могу... Справляй, справляй, а ты, Марья Гавриловна. . Не можно того, чтоб не угостить господина Чапурина. Сами у него угощались, и я и ты.

— Пожалуйте, Патап Максимыч, не побрезгуйте нашим угощением. Мы ото всей души,— сказала Марья Гавриловна и вышла.

И Патапу Максимычу и Алексею было как-то неловко, тягостно. Еще тягостней показалось им, когда они остались с глазу нá глаз. Молчали, поглядывая друг нá друга.

— Пароход сейчас отправил,— заговорил, наконец, Алексей.— Хлопот по горло. Известно дело — коммерция!.. Насилу отделался.

— К Верху побег?..— чтобы что-нибудь сказать, спросил Патап Максимыч.

— Как есть в акурат, угадали: в Рыбну,— ответил Алексей.

— С кладью?

— Неужто погоним пустой?.. Не расчет-с!.. На одних дровах обожжешься!..— с усмешкой промолвил Лохматов.— Две баржи при «Соболе» побежали: с хлебом одна, другая со спиртом. Фрахты ноне сходные.

— Чего? — спросил Патап Максимыч.

— Фрахты, говорю, ноне сходные. Двенадцать копеек с пуда... Оно, правда, на срок, с неустойкой.

— Фрахты! Вот оно что́! Цены значит, а я, признаться, сразу-то не понял,— слегка усмехнувшись, проговорил Патап Максимыч.

Не укрылась мимолетная усмешка от Алексеева взора. Ровно ужалила она его. И вскипело у него яростью сердце на того человека, на которого прежде взглянуть не смел, от кого погибели ждал...

— Пожалуйте, Патап Максимыч,— входя в гостиную, приветливо молвила Марья Гавриловна.— Захотелось мне в своих горницах вас угостить. Милости просим!..

Нахмурился Лохматов, кинул на жену недружелюбный взор, однако встал и пошел вслед за ней и за Патапом Максимычем.

— Ты бы, Марья Гавриловна, амбреем велела покурить,— сказал он, подняв нос и нюхая изо всей силы воздух.— Не то кожей, не то дегтем воняет... Отчего бы это?

Вздрогнул и побагровел весь Патап Максимыч. Отправляясь к молодым, надел он новые сапоги. На них-то теперь с язвительной усмешкой поглядывал Алексей, от них пахло. Не будь послезавтра срок векселю, сумел бы ответить Чапурин, но теперь делать нечего — скрепя сердце, молчал.

Усердно потчевала гостя Марья Гавриловна. Но и лянсин [1], какого не бывало на пирах у самого Патапа Максимыча, и заморские водки, и тонкие дорогие вина,

[1] Высший сорт чая.

и роскошные закуски не шли в горло до глубины души оскорбленного тысячника... И кто ж оскорбляет, кто принижает его?.. Алешка Лохматый, что недавно не смел глаз на него поднять. А тот, как ни в чем не бывало, распивает себе «чиколат», уплетает сухари да разны печенья.

— Самый интересный этот напиток «чиколат»,— бросил он небрежно слово Чапурину.— Как есть деликатес! Попробуйте, почтеннейший!.. Отменнейший скус, я вам доложу... Самый наилучший — а ла ваниль... У вас его, кажись, не варят?.. Попробуйте...

— Чем бог послал, тем и питаемся,— сдержанно, но злобно промолвил Чапурин.

— Да вы попробуйте. Грешного в эвтом «чиколате» нет ничего. Могу поручиться,— надменно говорил Алексей.— Марья Гавриловна, подлей-ка еще. Да сама-то что не пьешь?.. Не опоганишься... Чать, здесь не скиты. Скусный напиток, как есть а ла мод. В перву статью.

— Не хочется, Алексей Трифоныч,— краснея, ответила Марья Гавриловна.

— А ты, глупая бабенка, губ-то не вороти, протведай!..— резко сказал Алексей и затем громко крикнул: — Чилаек!

Вошел слуга. Одет был он точь-в-точь, как люди Колышкина.

— Шенпанского! — сказал Алексей и развалился на диване.— Надо вам, почтеннейший господин Чапурин, проздравить нас, молодых... Стаканы подай, а Марье Гавриловне махонький бокальчик! — во все горло кричал он вслед уходившему человеку.

В каждом слове, в каждом движенье Алексея и виделось и слышалось непомерное чванство своим скороспелым богатством. Заносчивость и тщательно скрываемый прежде задорный и свирепый нрав поромовского токаря теперь весь вышел наружу. Глазам и ушам не верил Чапурин, оскорбленная гордость клокотала в его сердце... Так бы вот и раскроил его!.. Но нельзя — вексель!.. И сдержал себя Патап Максимыч, слова противного не молвил он Алексею.

На прощанье обратился не к нему, а к Марье Гавриловне.

— Так как же, сударыня Марья Гавриловна, насчет того векселька мы с вами покончим?.. Срок послезавтра,

а вот перед богом, денег теперь у меня в сборе нет... Все это время крепко на ваше слово надеялся, что на два месяца отсрочку дадите.

— Я, Патап Максимыч, от своего слова не отретчица,— быстрый взор кидая на мужа, молвила Марья Гавриловна.— И рада б радехонька, да вот теперь уж как он решит... Теперь уж я из его воли выйти никак не могу. Сами знаете, Патап Максимыч, что́ такое муж означает — супротив воли Алексея Трифоныча сделать теперь ничего не могу.

— Да ведь сами же вы, Марья Гавриловна, тогда, у покойницы Насти на похоронах, о том разговор завели... Я не просил. Знай я вашу перемену, не стал бы просить да кланяться...

— Так точно, Патап Максимыч. Это как есть настоящая правда, что я тогда сама разговор завела,— низко склоняя голову, молвила Марья Гавриловна.— Так ведь тогда была я сама себе голова, а теперь воли моей не стало, теперь сама под мужниной волей...

— А может статься, Марья-то Гавриловна такое обещанье вам только для того дала, чтоб не очинно вас расстроивать, потому что в печали тогда находились, схоронивши Настасью Патаповну,— насмешливо улыбаясь, с наглостью сказал Алексей.

Вспыхнул Чапурин. Зло его взяло... «Смеет, разбойник, имя ее поминать!..» Пламенным взором окинул он Алексея, сжал кулаки и чуть слышным, задыхающимся голосом промолвил:

— Не мне б слушать таки речи, не тебе б их говорить...

Дерзко, надменно взглянул Алексей, но смутился, не стерпел, потупил глаза перед гневным взором Чапурина.

— Да вы не беспокойтесь, Патап Максимыч,— робко вступилась Марья Гавриловна.— Бог даст, все как следует уладится. Алексей Трифоныч все к вашему удовольствию сделает.

— Аль забыла, что к ярманке надо все долги нам собрать? — грубо и резко сказал Алексей, обращаясь к жене.— Про что́ вечор после ужины с тобой толковали?.. Эка память-то у тебя!.. Удивляться даже надобно!.. Теперь отсрочки не то что на два месяца, на два дня нельзя давать... Самим на обороты деньги нужны...

Ни саврасок не помнил, ни христосованья, ни того, что было меж ними на последнем прощанье в Осиповке.

Но Патап Максимыч ничего не забыл... Едва держась на ногах, молча поклонился он хозяйке и, не взглянув на хозяина, пошел вон из дому.

Воротясь к Колышкину, Чапурин прошел прямо в беседку. Не хотелось ему на людей глядеть. Но рядом с беседкой возился в цветниках Сергей Андреич.

— Что, крестный, не весел, голову повесил? — крикнул он, не покидая мотыги.

Не ответил Патап Максимыч. Разъярился уж очень, слова не мог сказать...

Разговорил-таки его Сергей Андреич. Мало-помалу рассказал Патап Максимыч и про вексель и про подарки, сделанные им Алексею, про все рассказал, кроме тайного позора Насти покойницы.

— Вешать мало таких!..— вспыхнув от гнева, вскликнул Колышкин.— А она-то, она-то! Эх, Марья Гавриловна, Марья Гавриловна!.. Бить-то тебя, голубушка, некому!.. Понятно, зачем деньги ему в наличности нужны,— году не пройдет, обдерет он ее до последней рубашки, а там и пустит богачку по́ миру... Помяни мое слово... А каков хитрец-от!.. И мне ведь спервоначалу складным человеком казался... Поди ты с ним!.. Правду говорят: не спеши волчонка хвалить, дай зубам у серого вырости... Плюнь на него, крестный. Забудь, что есть на свете такой человек.

— До смертного часу не забыть мне его!.. Посрамитель он мой!..

Колышкин думал, что Патап Максимыч насчет векселя говорит. Потому и сказал:

— Какой же он тебе посрамитель? Времени хоть немного, а, бог даст, управимся... А ему посрамление будет... И на пристани и на бирже всем, всем расскажу, каков он есть человек, можно ль к нему хоть на самую малость доверия иметь. Все расскажу: и про саврасок, и про то, как долги его отцу со счетов скинуты, и сколько любил ты его, сколько жаловал при бедности... На грош ему не будет веры... Всучу щетинку, кредита лишу!

— Не делай так, Сергей Андреич... Зачем?.. Не вороши!..— все про Настю думая и пуще всякого зла опа-

саясь бесстыдных речей Алексея, молвил Чапурин.— Ну его!.. Раз деньги на подряд мне понадобились... Денег надо было не мало... Пошел я в гостиный... поклонился купечеству — разом шапку накидали... Авось и теперь не забыли... Пойду!..

И пошел было.

— Стой, крестный, не спеши. Поспешишь — людей насмешишь,— молвил Сергей Андреич, удерживая его за́ руку.— Пожди до утра — сегодня ли, завтра ли деньги собрать, все едино: платеж-от послезавтра еще... Отдохни, спокойся, а я, пообедавши, кой-куда съезжу... Много ль при тебе денег теперь?

— Трех тысяч не будет... Если сейчас же в Городец да в Красну Рамень послать, столько ж еще б набралось,— молвил Патап Максимыч.

— У меня... кой-что в кассе найдется... Вот что, крестный: до завтра из дому ни шагу!.. Слышишь?.. И до себя никого не допускай — дома, мол, нет. А теперь обедать давай — здесь, на вольном воздухе, пожуем самдруг...

— Хлопотать надо мне, Сергей Андреич,— промолвил Чапурин.

— Я буду хлопотать, а ты сиди дома, точи веретёна,— перебил Колышкин.— И хозяйке моей не кажись — вишь какой ты расстроенный!.. Не надо таким в люди казаться... То дело, бог даст, обойдется и ввек не помянется, а увидят тебя этаким, толки зачнутся да пересуды, наплетут и невесть чего — и, что ни придумают, ввек того не забудут... Сиди же дома, крестный... Слышишь?..

— Ладно,— упалым голосом, жалобно промолвил Патап Максимыч и молча стал смотреть на реку.

После обеда Сергей Андреич куда-то надолго уехал.

Поздно вечером он воротился. Патап Максимыч сидел на приступках беседки, подпершись локтями и закрыв лицо ладонями.

— Ну что, крестный? — весело спросил его Сергей Андреич.

— Ничего, думал все...— уныло проговорил Патап Максимыч.

— Про что ж так невесело раздумывал? Неужто все про Алешку непутного? — спросил Колышкин.

— О слове писания размышлял я, Сергей Андреич,— садясь на скамейку, ответил: — «Овым подобает расти, овым же малитися...» Так оно и выходит... Каков я был до сего человек!.. Возносился паче меры, на всякого смотрел свысока́... И смирил меня господь за треклятую гордость... Не от сильного-могучего, не от знатного, от властного — от своего страдника-работника, от наймиста [1] принял я поношение, потерпел унижение!.. Слётыш, материно молоко на губах не обсохло, а клони перед ним седую голову... Ему расти, мне же ма́литися!.. Что ж? господня воля!.. Благо ми, яко смирил мя еси, господи!.. Да это что́? Трын-трава!.. Знал бы ты сердце мое, Сергей Андреич, ведал бы думы мои сокровенные!..— порывисто вскликнул Чапурин и чуть не выдал заветной тайны своей...

— Да что это, крестный, с тобою? Приди в себя, образумься!..— молвил изумленный Сергей Андреич.

А изумился оттого, что заметил слезу на седой бороде Патапа Максимыча. В другой только раз видел он слезы крестного. Впервые видел их на Настиных похоронах.

— Спокойся, крестный!.. Перестань!..— уговаривал его Колышкин.— На что это похоже?..

— Ты что?..— вскочив со скамьи и быстро подняв голову, вскликнул Патап Максимыч.— Думаешь, вот дескать, какой кряж свалился?.. От векселя думаешь?. Не помышляй того, Сергей Андреич... Эх, друг мой сердечный,— примолвил он грустно, опуская голову и опять садясь на скамейку.— Как Волги шапкой не вычерпаешь, так и слез моих уговорами не высушишь!.. Один бы уж, что ли, конец — смерть бы, что ли, господь послал!..

Долго с сердечной любовью разговаривал его Колышкин, уверяя, что деньги завтра будут готовы, но это не успокоило Патапа Максимыча... Настина тайна в руках страдника — вот что до самого дна мутило душу его, вот что горем его сокрушало... Не пригрозишь теперь богачу, как грозил дотоль нищему.

— Нет, уж ты, бога ради, освободи меня, Сергей Андреич,— сказал, наконец, Патап Максимыч.— Изнемог

[1] Наемный работник, также наемный охотник в солдаты.

я... Дай одному с печалью остаться, подь отсель, оставь меня одного... Дай надуматься... А какой я допреж сего столп был неколебимый... Помнишь?.. Никого не боялся, ничего не страшился!.. Шатнуло горе, свихнуло!.. Глядя на меня, поучайся, Сергей Андреич, познай, как человеку подобает малитися... Божий закон!.. Господне определенье!..

— Эх, крестный, крестный!.. Да стóит ли Алешка Лохматов такого горя-уныния? — с сердечным участьем молвил Сергей Андреич.— Зачем безнадежишь себя?.. Бог не без милости. Дело не пропащее... Уладим, бог даст... А тебе бы в самом деле хорошо одному побыть... Прощай... Утро вечера мудренее... Помнишь, как ребятишкам бабы сказки сказывают? И я скажу тебе, что в сказках говорится: «Что тебе от меня будет сделано, то будет не служба, а службишка, спи-почивай до утрá — утро вечера мудренее».

И неспешным шагом пошел из саду вон.

Не берет сон Патапа Максимыча. Сидит на скамье, у самого края кручи, что отвесной стеной стоит над нижним городом и рекою... Другая ночь безо сна!.. Не доводилось прежде испытывать такой бессонницы Патапу Максимычу... Далекó было зá полночь, заря занялась над горами, погасли огни пароходов, говор и гомон зачался на реках и на набережных, когда удрученный горем, сломленный в своей гордости, ушел Чапурин в беседку... Запер он дверь изнутри, опустил в окнах занавеси, вынул из чемодана образ Спаса нерукотворенного, поставил его на столике и затеплил восковую свечу... Солнце давно уже играло золотистыми лучами по синеватой переливчатой ряби, что подернула широкое лоно Волги, и по желтым струям Оки, давно раздавались голоса на судах, на пристани и на улицах людного города, а Патап Максимыч все стоял, на келейной молитве, все еще клал земные поклоны перед ликом Спаса милостивого.

Молитва успокоила взволнованную душу, поклоны утомили тело, он прилег... И пришел благодатный сон и держал его почти до полудня.

Только проснулся Патап Максимыч, с радостным видом Колышкин в беседку вошел.

— Здравствуй, крестный!.. Здоров ли, родной? — весело спросил он Чапурина.

— Заспался грехом, не обессудь,— промолвил Патап Максимыч, зевая.— Всю ночь напролет на волос не уснул. К ранним обедням звонили, как я задремал... Полдни никак?.. Эк я!.. Сроду того не бывало.

— А вот говорится пословица: «Долго спать — с долгом встать». К тебе она не подходит,— улыбаясь, молвил Колышкин.

— Как не подходит? Ко мне-то больше всего и подходит,— возразил Чапурин.

— Ан нет,— сказал на то Сергей Андреич.— Сряжайся скорей, ступай к разбойнику... Вот деньги. Ни в Красну Рамень, ни в Городец посылать не надо, и твои три тысячи пускай при тебе остаются... Получай двадцать тысяч.

И положил перед ним пачки бумажек.

— Спеши к Алешке-то, покаместь на биржу не отъехал,— торопил Сергей Андреич Чапурина.— Брякнет, пожалуй, там: завтра, мол, вексель на Чапурина подаю ко взысканью. Тогда хоть и расплатишься, а говор да слава пойдут... Скорее, крестный, скорей!..

— Деньги-то откуда? — хмурясь, спросил у Колышкина Патап Максимыч.

— Мои,— тот отвечал.— Тебе какое дело — откуда?..

— Твои? Сам вечор говорил, что ты не при деньгах,— молвил Чапурин.

— Торговое дело! Седни при гроше, завтра в барыше,— улыбаясь, ответил Сергей Андреич.

— Да я, право, не знаю...— колебался Чапурин.

— Ты что это вздумал?..— горячо заговорил Сергей Андреич.— Сочти-ка, много ль раз ты из петли меня вынимал, сколько от тебя я видел добра? Без тебя давно бы нищим я был. Алешка, что ль, я, чтоб не помнить добра?.. Неси скорей — долг платежом красён.

И как ни упирался Патап Максимыч, заставил его взять деньги и спешить к Марье Гавриловне.

Алексей Трифоныч на пристань сбирался, когда пришел Патап Максимыч. Вышла к нему Марья Гавриловна, бледная, смущенная, с покрасневшими глазами — не то плакала, не то ночь не спала.

— С добрым утром, сударыня, Марья Гавриловна,— сдержанно молвил Чапурин.

— Благодарю покорно, Патап Максимыч,— какимто упалым, грустным голосом проговорила она.— Садиться милости просим.

— Сидеть некогда мне, сударыня... Не гостины гостить, по делу пришел. Принесите-ка мой векселек, а я денежки вам сполна отсчитаю.

— Что это вы так много беспокоитесь, Патап Максимыч? Напрасно это...— перебирая в руках носовой платок, молвила Марья Гавриловна и с чего-то вся покраснела.

— Как же, матушка, не беспокоиться? Завтра ведь десятое число — срок. Не заплачу сегодня, завтра толки пойдут. А вы сами знаете, каково это торговому человеку,— говорил Патап Максимыч.— Нет, уж сделайте такое ваше одолжение, не задерживайте — на пристань идти пора.

— Обождите маленько, Патап Максимыч,— подавляя тяжелый вздох, молвила Марья Гавриловна.— Вексель у мужа — сейчас принесу.

И потупя глаза, медленной походкой вышла она из комнаты. Оставшись один, в думы Чапурин вдался. «Вексель у мужа!.. И все у него — все капиталы,— думал он.— Эх, Марья Гавриловна!.. Недели не прошло со свадьбы, а глаза-то уж наплаканы!.. Слава те, господи, что не досталась ему Настя голубушка!.. В какую было пропасть задумал я кинуть ее!.. Но господь знает, что делает... Раннюю кончину сердечной послал, избавил от тяжкой доли, от мужа лиходея... Несть ни конца, ни предела премудрости твоей, господи!.. Жалко голубушку, жаль мою ла́стовку, а раздумаешь — воздашь хвалу создателю... Людскую нашу дурость кроет его святая премудрость... Не зачал бы только злодей плести на покойницу... Голову сверну!.. Хлещи меня палач на площади!.. На каторгу пойду, а только заикнись он у меня, только рот разинь — простись с вольным светом!.. А насчет долгов — заклятье даю... не под силу подрядов не бирывать, ни у кого больших денег не займовать!.. Ни у кого: ни у Сергея Андреича, ни у кума Ивана Григорьича, зятя бог даст — у того не возьму... Проучили!.. А что-то зятек мой надуманный не едет... С келейницами хороводится!.. О, чтоб их!.. А покончив дело, все-таки

надо к губернатору побывать — насчет скитов поразведать».

Влетел Алексей Трифоныч, разряженный в пух и прах. За ним робкой поступью выступала скорбная Марья Гавриловна. Вексель был в руках Алексея.

— Наше вам наиглубочайшее, почтеннейший господин Чапурин! Честь имею вам кланяться,— сказал он свысока Патапу Максимычу.

Научился Лохматый модным словам от маклера Олисова да в купеческом клубе, где в трынку стал шибко поигрывать. Много новых речей заучил; за Волгой таких и не слыхивал.

— Денежки привезли? Милости просим садиться — денежкам завсегда мы ради,— кобенясь и потирая руки, проговорил Алексей Трифоныч.

Не взглянув на него, Патап Максимыч положил деньги на стол и сказал безмолвной Марье Гавриловне:

— Сочтите!..

Считать стал Алексей. Каждую бумажку на свет разглядывал.

— Может, от отца Михаила которы получали,— язвительно улыбнувшись, промолвил он.— Ихнее дело кончается,— прибавил он как бы мимоходом,— всех ваших приятелей в каторгу.

Вскочил с кресел Патап Максимыч... Но сдержался, одумался, слова не вымолвил... И после того не раз дивился, как достало ему силы сдержать себя.

— Верно-с,— кончив перечет, сказал Алексей. И, надорвав вексель, подал Патапу Максимычу.

Молча поклонился Чапурин Марье Гавриловне и, не взглянув на Лохматого, пошел вон.

Алексей за ним.

— По чести надо рассчитаться, почтеннейший Патап Максимыч,— сказал он ему.— Процентов на вексель мы не причли-с... Двенадцать годовых, сами знаете, меньше не водится. А что́ от вас я лишков получил, лошаденок в тот же счет ставлю — по мо́ему счету ровно столько же сто́ит. Значит, мы с вами в полном расчете.

И протянул было руку Патапу Максимычу.

Но тот задыхающимся голосом шепотом сказал ему:

— Бог с тобой!.. Только помни уговор... Скажешь неподобное слово про покойницу — живу́ не быть тебе!..

И быстрыми шагами пошел вон из дому.

— Будьте покойны, почтеннейший господин Чапурин... Насчет женщин, тем паче девиц, худые речи говорить неблагородно. Это мы сами чувствуем-с,— говорил Алексей Трифоныч вслед уходившему Патапу Максимычу.

Пошел назад, и бывалый внутренний голос опять прозвучал: «От сего человека погибель твоя!..»

«Грозен сон, да милостив бог»,— подумал Алексей и, завидя проходившую Таню, шаловливо охватил гибкий, стройный стан ее.

— Да отстаньте же! — с лукавой усмешкой молвила Таня, ловко увертываясь от Алексея.— Марье Гавриловне скажу!..

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

На Казанскую в Манефиной обители матери и белицы часы отстояли и пошли в келарню за трапезу. Петр Степаныч тоже в келарню зашел и, подав Виринее сколько-то денег, попросил ее, чтоб всех обительских медом сыченым или ренским вином «учредили» и чтоб приняли то за здравие раба божия Прокофья.

— Это мне двоюродный братец,— сказал Самоквасов.— Сегодня он именинник.

— Так точно, сударь Петр Степаныч,— добродушно сказала на то Виринея.— Сегодня совершаем память праведного Прокопия, Христа ради юродивого, устюжского чудотворца... Так впрямь братца-то вашего двоюродного Прокофьем зовут? А, кажись, у Тимофея Гордеича, у твоего дяденьки, сына Прокофья не было?..

— Он мне по матушке покойнице двоюродным доводится,— сказал Петр Степаныч и ни капельки не покраснел, даром что никакого брата Прокофья сроду у него не бывало.

— Благодарим покорно, сударь Петр Степаныч. Благодарите, матери: Петр Степаныч на сегодняшнюю нашу трапезу особое учреждение поставляет. Помяните за здравие братца его двоюродного Прокопия,— проговорила Виринея, обращаясь к сидевшим за столами.

— Благодарим вас покорно, Петр Степаныч,— встав со скамей и низко кланяясь Самоквасову, в один голос проговорили старицы и белицы.

— А теперь, матушка,— тихонько сказал Самоквасов Виринее,— так как вы остались в обители старшею, благословите уж и трудничков-то на работном дворе угостить.

— Бог благословит,— с довольством улыбаясь, ответила мать Виринея.— Экой ты добрый какой,— прибавила она, гладя рукой по плечу Петра Степаныча.

Угостились трудники Манефины, угостились и трудники Бояркины, чествуя небывалого именинника. Пили чашу мертвую, непробудную, к вину приходили на двух, уходили на всех четырех. До утра́ ровно неживые лежали и нау́тре как слепые щенята бродили.

Успокоив трудников, за дело принялся Петр Степаныч. Уложив в тележку свои пожитки и Парашины чемоданы, поехал он из обители. Прощаясь с Таисеей, сказал, что едет в губернский город на неделю, а может, и больше. Заехал за перелесок, поворотил он в сторону и поставил лошадей в кустах. Вскоре подошел к нему Семен Петрович с Васильем Борисычем.

На Василье Борисыче лица не было. Безгласен, чуть не бездыханен, медленными шагами подвигался он к Самоквасову, идя о́б руку с саратовским приятелем. Поблекшие и посиневшие губы его трепетно шептали: «Исчезоша яко дым дние моя... от гласа воздыхания моего прильпе кость моя плоти моей, уподобихся неясыти пустынному, бых яко вран нощный на нырищи...» Бежать бы, но сильна, крепка рука саратовца — не уве́рнешься, да и бежать-то уж некогда.

— Ну, жених, садись скорее,— торопливо сказал ему Петр Степаныч.— Скорей, скорей!

— Ох, искушение!..— жалобно вздохнул Василий Борисыч.— Хоть повременили бы маленько, с духом бы, что ли, дали собраться.

— Нечего тут растабарывать. Сажай его, Семен Петрович,— крикнул Самоквасов.— Да не привязать ли кушаком руки к задку-то? Неравно выскочит...

— У меня не выскочит,— молвил саратовец, усаживая Василья Борисыча в самоквасовскую тележку, а сам садясь с ним рядком.

И кони во весь опор помчали легкую тележку вдоль по гладкой дорожке.

Немного прошло времени, вдали показались язвицкие тройки. Впереди ехал в тарантасе удалой Федор. На

телегах сидело десять молодцов, все в одинаких красных рубахах. Подъехав к Самоквасову, они было загорланили.

— Тише! Услышать могут,— остановил их Петр Степаныч.— Давай шапку да рубаху,— молвил он Федору.

Вынул Федор из-под сиденья красну кумачову рубаху, такую же точно, какие были на ямщиках. Скинув верхнее платье, Самоквасов надел.

— Шапки! — сказал он.

Вытащили из телег зимние мерлушчатые шапки, нахлобучили их себе на́ головы. Такая же шапка и Самоквасову на долю досталась. Лица завязали платками и пошли в перелесок... У лошадей осталось двое.

Через четверть часа вдали визг и женские крики послышались. Громче всех слышался хриплый голос матери Никаноры:

— Матушки, украли!.. Владычица, украли!..

Затрещали кусты можжевеловые под ногами десятка удалых молодцов. Бегом бегут к лошадям, на руках у них с ног до головы большими платками укрытая Прасковья Патаповна. Не кричала она, только охала.

Посадили ее в тарантас, Самоквасов на облучок вскочил. «Айда́»,— зычным голосом крикнул он ямщикам. Тарантас полетел по дороге к Свиблову, за ним телеги с поезжанами в красных рубахах и в зимних шапках.

Кто на дороге ни встретится, всяк остановится, с любопытством посмотрит на поезд и проводит его глазами, поколь из виду не скроется.

— Девку выкрали! — спокойно промолвит прохожий и пойдет своим путем, не думая больше о встрече. Дело обычное. Кто в лесах за Волгой свадеб уходом не видывал?..

* * *

Собираясь гулять на Каменный Вражек, чтоб потешить дорогую гостью обительскую, Фленушка созвала много белиц. Были свои, от Жжениных были, от Бояркиных. Мать Никанора с ними пошла да еще мать Лариса.

Ягоды собирали, цветы на поляне рвали, и когда на траве засырело, большие платки разостлали и расселись на них. Фленушка так и рассыпалась шутками да прибаутками, кажется, никогда еще такой веселой она не быва-

ла. Повеселели белицы, хохотали до упаду от затейных рассказов Флены Васильевны, улыбались даже строгие, степенные матери. Одна Марьюшка сидела нахмурившись, да Параша не то дремала, не то задумалась. Увивалась за ней Никанора, ласкалась Лариса, но богатая дочка тысячника только улыбалась им, но не сказала ни слова.

За веселым хохотом ни матери, ни белицы не слыхали, что возле лужайки, где сидели они, вдруг захрустели в перелеске сухие сучья валежника, зашуршали раздвигаемые кусты можжевельника и молодой осиновой поросли.

Выскочили из леса десять парней в красных рубахах и нахлобученных на самые глаза шапках, с лицами, завязанными платками. Взвизгнули девицы, градом брызнули во все стороны, заголосили матери, пуще всех кричала и суетилась Флена Васильевна.

Петр Степанович стрелой подбежал к Параше и охватил ее поперек. Удальцы схватили брошенные на лужайке платки, мигом окутали в них невесту, схватили ее на руки и помчали в перелесок. Оглянуться не успели матери с белицами, как сгибла, пропала Параша, отецкая дочь...

Чуть не полпути проскакал свадебный поезд, пока белицы да матери, после долгих криков, задорной перебранки, отчаянных оханий и причитаний, добрались, наконец, до обители. Как завидела рябая звонариха Катерина часовню, благим матом к ней кинулась и, взбежав на паперть, изо всей мочи принялась колотить в «било» и «великое древо», в «малое древо» и в железное «клепало», и колотила в них без толку, как попало. Так в скитах тревогу бьют. Весь Комаров переполошился, думали — горит у Манефиных, сбежались белицы и старицы изо всех обителей, иные на всякий случай с ведрами прибежали, но с ужасом узнали, что иная беда приключилась: матери от Игнатьевых и других несогласных с Манефой обителей сначала с злорадством приняли весть, но тотчас одумались и крепко прикручинились. Знали, какова сила у Патапа Максимыча, знали, что им одним скиты держатся, знали и то, что не на одну сестрину, а на все обители теперь он разлютуется. А при грозных обстоятельствах, скопившихся над скитами, это было хуже всего на свете. И принялись чужие матери немило-

сердно ругать матерей Манефиных, Никанору с Ларисой особенно, что не могли ухоронить Прасковьи Патаповны. Те даже не оправдывались: присели на ступеньках келарни и горько плакали, причитая:

— Пропали теперича наши головушки!.. Погинули наши победные!.. Уж и как-то нам вину сказать?.. Уж и как-то нам ответ держать?

Фленушка с Марьюшкой ушли в свои горницы, а другие белицы, что ходили гулять с Прасковьей Патаповной, на дворе стояли и тоже плакали. Пуще всех ревела, всех голосистей причитала Варвара, головщица Бояркиных, ключница матери Таисеи. Она одна из Бояркиных ходила гулять к перелеску, и когда мать Таисея узнала, что случилось, не разобрав дела, кинулась на свою любимицу и так отхлестала ее по щекам, что у той все лицо раздуло.

Догадалась, наконец, мать Виринея.

— Пого́ню, матери! — закричала она.— Погоню скорей разослать по всем сторонам. Изловить их, разбойников!..

Бросились к работной избе — трудники все до единого без задних ног лежат; бросились к Бояркиным, там ни от кого из мужчин ни гласу, ни послушания; побежали к Игнатьевым, к Глафириным, там все пьяным-пьянехонько. Чрез Таисеина конюха ухитрился Петр Степанович во всем Комарове мужчин споить.

Рябая звонариха поголосит-поголосит да опять за свою работу — в набат колотить. Заслышав тревогу, прибежали мужики, бабы из Ронжина, из Елфимова и других недальних деревень.

Чуть не в ноги кланяются им матери, Христом богом молят, денег сулят, вином потчуют, скачите только, родимые, во все стороны, отбейте у неведомых воров Прасковью Патаповну.

— Поздненько хватились, матери,— говорят мужики.

Ни от вина, ни от денег они бы не прочь, да время больно опоздано, ни на каких скакунах теперь воров не догнать.

— Еще солнышко-то не село, говорите вы, матушка? — спрашивал Никанору ронжинский парень ростом в косую сажень, с красным лицом и со страшными кулачищами. Очень подмывало его в погоню скакать. Хоть

отбить не отобьют, по крайности можно будет подраться, потешиться.

— Нет еще, родной, не село в ту́ пору, выше дерева стояло,— хныкая, ответила ему Никанора.

— Не догонишь,— досадливо молвил ронжинский силач.— Теперь больше десяти верст, поди, ускакали.

— Да что нам?.. Какое дело?..— ввернул свое слово хило́й мужичонко елфимовский.— Не нашу девку выкрали. Охота в чужом пиру похмелье примать!

— А ты молчи, коли бог убил,— огрызнулся на него ронжинский парень.— Известно, не тебе в погоню гнать — тебя люба девка щелчком пришибет.

Мужики захохотали. Елфимовец озлился, и пошла у них перебранка, чуть до драки не дошло.

Без ма̀ла до самой полночи толковало сходбище на обширном дворе Манефиной обители. Судили-рядили, кто бы такой мог выкрасть Прасковью Патаповну. На того думали, на другого, о московском после в голову никому не могло прийти. Вспомнили, однако, про него. Мать Виринея первая хватилась благоприятеля.

— А чтой-то не видать Василья Борисыча? — молвила она.— У тебя, что ли, он, матушка Таисея?.. Что не придет?.. Совет бы полезный нам дал.

Всхлипывая и придерживая рукой левую щеку, сказала на то побитая своей игуменьей Варварушка:

— Да они давеча то́тчас после тра́пезы в город уехали, все трое: он, Петр Степанович и Семен Петрович. Сказывали: завтра-де к вечеру воротимся.

— Петр Степаныч один со двора съехал, он в город на неделю отъехал...— сурово молвила ей мать Таисея.— Василий Борисыч с Семеном Петровичем пешком пошли, говорили, что маленько пройтись им охота, до ронжинского поля хотели идти, а там к Петру Степановичу в тележку сесть да всем вместе ехать.

— Видел я певуна-то вашего. Встречу попали за нашим полем, туда к Клопихе,— сказал один из ронжинских мужиков.— С ним не то один, не то двое сидело, не упомню что-то, сколь их было тут...

— Ну, они и есть,— молвила мать Таисея.— А ведь не сказался... Эко, право, какой.

Всю ночь не спалось матерям и белицам в Манефиной обители. Как-то будут ответ держать перед матушкой, как-то ведаться с Патапом Максимычем? Под утро

с Никанорой бред даже сделался, в горячке слегла... А мать Лариса стала было перед святыми иконами на келейное правило, но ум мятется, тревожные помыслы обуревают старицу... Вздумала успокоиться, вынула из шкапчика бутылочку, да так нагрузилась сердечная, что, думая да передумывая, как достанется ей от Манефы, а пуще того от Патапа Максимыча, решила удавиться. Хорошо, что за перегородкой евангельская дщерь ее, рябая звонариха Катерина, была. Услышав необычную возню, заглянула она за̀ дверь и увидела, что мать евангельская петлю себе на шею накинула... Вытащила ее звонариха и повалила на постель, как чурбан какой. Мать Лариса заснула, и долго вокруг кельи ее раздавался такой богатырский храп, каким один только Патап Максимыч умел храпеть.

Фленушка тоже всю ночь не спала. Запершись на̀ крюк, всю ночь просидела она на постели и горько, горько проплакала, держа в руках золотое колечко. То было подаренье Петра Степаныча.

* * *

Совсем уж смерклось, когда свадебный поезд примчался в Свиблово. Взмыленные от быстрой езды лошади въехали прямо к попу во двор. Сушило в новой суконной рясе, с вышитым шерстями поясом, радостно и весело встретил приехавших. Близится час, когда его никуда не годные половинки претворятся в давно желанный капитал, и он по хозяйству во всем исправится, дочку замуж выдаст, семинаристам своим хорошие квартиры в городу наймет. Дай только бог благополучно покончить все, помехи бы грехом не случилось.

— Вот и жених наш, Василий Борисыч, московский купец,— сказал Самоквасов Сушиле, подводя к нему до полузабвенья смущенного Василья Борисыча.

Отец Родион поднял было руку на благословение, но спросил жениха:

— Приемлете?

Ровно от раскрытой пасти ядовитой змеи отпрянул от попа Василий Борисыч.

— Нет, батюшка, нет! не надо не надо!.. Не приемлем,— вскричал он.

— Как вам угодно,— холодно, но с язвительной усмешкой молвил Сушило.— Садиться милости просим.

Сел Василий Борисыч. Рядом с ним Семен Петрович... У него в последние дни в привычку вошло крепко держать жениха за руку — грехом не убежал бы.

Пока Самоквасов из красной рубахи переодевался в свое платье, пока невеста, с помощью попадьи, ее большой дочери и нанятой Сушилой молодицы, одевалась в шелковое платье, отец Родион позвал дьячка Игнатья да пономаря Ипатья и стал писать обыск о повенчании московского купца Василия Борисыча с дочерью государственного крестьянина девицей Параскевой Патаповной, дочерью Чапуриной.

Сильно дрожала рука у бедного жениха, когда подписывался он под обыском. Подписавши, тяжело вздохнул Василий Борисыч и громко промолвил заветное свое:

— Ох, искушение!

Вышла радостью сиявшая, в пух и прах разряженная невеста. Нимало не смущаясь, подписалась она в книге. После нее подписались Самоквасов с Семеном Петровичем, как свидетели, затем поп Сушило, дьячок Игнатий да пономарь Ипатий.

— Кажись бы, этим можно было и покончить,— тихонько промолвил Василий Борисыч.— Записано — стало быть крепко...

— Нет, брат, шалишь!..— прошептал ему Самоквасов.— Пил до усов, пей до ушей... Не любовницу берешь, жену венчанную...

— Ох, искушение! — промолвил Василий Борисыч и сидел, ровно к смерти приговоренный, а Прасковья Патаповна весело ему улыбалась.

Но ему было не до веселых взоров невесты. «Вздерет он меня, тестюшка-то!.. Беспременно вздерет!..» — думал он сам про себя.

— Что ж? Не пора ль и во храм божий? — сказал, наконец, отец Родион.

— Пойдемте, батюшка,— ответил Петр Степаныч.

Вперед пошел Сушило, за ним Семен Петрович тащил жениха, потом Самоквасов невесту вел. Сзади шла матушка попадья Афимья Саввишна с большой дочерью да с молодицей, державшей повойник в руке, сзади всех вереница поповых, дьячковых и пономаревых детей и лихие ямщики язвицкие. Когда вошли в церковь, Груздок

закладывал гвозди в болты окон, продетые сквозь косяки, а дьячок Игнатий с пономарем Ипатьем свечи зажигали. Когда все вошли, Груздок, разодетый по-праздничному, в старом мундире с тремя медалями, запер изнутри церковную дверь и заложил ее железной полосой.

Началось венчанье. Все было исполнено по условию: ходили по́солонь и притом только «святии мученицы» пели, жених с невестой пили из стеклянного стакана, Василий Борисыч звонко разбил его о́ пол и растоптал, после венчанья молодица в притворе расплела Прасковье Патаповне косу, расчесала ее смоченным в медовой сыте гребнем и, убрав по-бабьему, шелковый повойник надела на молодую. Про повойник Самоквасов с Сушилой забыли, попадья мужа надоумила и сшила его из какого-то остаточка шелковой материи, чуть ли не Патапа Максимыча подаренья. И за то от Самоквасова не осталась без должной благодарности.

Чай у попа пили, это уж он от себя сверх уговора, пожертвовал. Петр Степаныч вытащил из тележки две либо три бутылки шампанского, пить за здоровье новобрачных. При этом сначала расплетавшая косу молодица, потом матушка попадья, а за ними и сам отец Родион с причтом «горько!..» покрикивали, заставляя Василья Борисыча с молодой женой целоваться. Груздку дали шампанского, но он выплюнул и попросил «расейского». Дали ему «расейского», дали и язвицким молодцам по стакану, но, как ни просили они больше, Петр Степаныч им наотрез отказал, потому что еще до города надо было ехать. Попадья с большой дочерью блюдо студени с хреном на стол поставили, поросенка жареного, сладкий пирог с малиной. Все это, как говорили они, от своего усердия. Петр Степаныч отдал попу оторванные половинки, роздал всем щедрые подарки, и при громких кликах подгулявшего Груздка: «Счастливого пути!..» поезд на отдохнувших лошадях, с лихими песнями ямщиков, помчался во весь опор в город.

* * *

Было уже за̀ полночь, когда молодые подъехали к освещенному дому Феклиста Митрича. Перед домом стояла небольшая толпа разного люда. Увидав необычное освещенье дома и зная, что у Феклиста Митрича нет ни

именин, ни крестин, ни сговора, тотчас смекнули, что богатая «самокрутка» где-то сыгралась. И долго стояли они у ворот, хоть глазком бы взглянуть на молодую княгиню, какова из себя, и на князя молодого, кто он таков.

Какими-то судьбами Феклист Митрич проведал, что за человек дом у него нанимал. То главное проведал он, что ему чуть не миллион наследства достался и что этакой-то богач где-то у них в захолустье уходом невесту берет. «Что за притча такая,— думал Феклист.— Такому человеку да воровски жениться! Какой отец дочери своей за него не отдаст? Я бы с радостью любую тотчас!» Как человек ловкий, бывалый, догадливый, смекнул он: «Из скитов, стало быть, жену себе выхватил».

И крайне удивился, узнав, что казанский богач при той свадьбе только за дружку был.

Все было сделано Феклистом Митричем, чтоб достойно принять гостей. Зная бедность городка, Самоквасов и не думал, чтобы так хорошо устроил он молодых на первых порах... Какой ужин подал Феклист Митрич! Иностранных вин ярославской выделки наставил сколько на стол! Петр Степаныч, чтоб за свадебным столом было полюднее, и Феклиста с женой ужинать посадил. За столом сидели все веселы, только Василий Борисыч подчас хмурился, а когда в ответ на громкие крики о горьком вине принуждаем был целоваться, чуть касался губ Прасковьи Патаповны и каждый раз, тяжко вздыхая, шептал:

— Ох, искушение!

А в раскрытые от духоты окна неслись громкие песни язвицких поезжан, угощавшихся в огороде Феклиста Митрича. Величали они новобрачного:

Посидим-ка мы,
Покутим-ка мы —
У Василия попьем,
У Борисыча кутнем!
Право, есть у кого,
Право, есть у чего!
А ты, чарочка-каток,
Лейся прямо в роток,
В один тоненький глоток,
Чарочка моя, да серебряная!..

А как встали из-за стола и справили уставные поклоны перед иконами, Самоквасов тотчас схватил припасен-

ную на всякий случай Феклистом гитару, ударил в струны и запел удалую. К нему пристали саратовец и Феклист с хозяйкой:

Как по погребу бочоночек катается.
А Василий-от князь над женой надругается:
— Ты, Прасковьюшка, разуй, ты, Потаповна, разуй!
— Я и рада бы разуть, да не знаю, как тя звать.—
Поломалася княгиня, покобенилася.
Одну ножку разула — Васильюшкой назвала,
А другую-то разула — Борисычем.

Ай, стелется, вьется
По лугам мурава,
Василий жену целует,
Борисыч жену милует:
— Душа ль моя Парашенька,
Сердце мое Патаповна,
Роди мне сыночка,
Сыночка да дочку.
Роди сына во меня,
А доченьку во себя.
Учи сына грамоте,
Дочку прясть, да ткать,
Да шелками вышивать
Шемаханскими!..

Ой ты, княгиня, княгинюшка,
Молодая ты наша молодушка!..
Хороша тебе находка —
Куньи шубы,
Собольи пухи,
С поволоками глаза,
Со киваньем голова,

Золоты кокошники,
Серебряны серьги,
Дочери отецки,
Жены молодецки!

Бросив гитару саратовцу, сильной рукой ухватил Самоквасов Василья Борисыча и пошел с ним плясать, заливаясь ухарскою песней:

Ой вы, ветры-ветерочки,
Вы не дуйте на лесочки,
На желтые на песочки,
На крутые бережочки!..

Хочешь не хочешь — пляши, Василий Борисыч!.. Посмотреть бы теперь Рогожскому собору на учительного совопросника, поглядеть бы столпам древлего благочестия на посланника по духовным делам.

* * *

На другой день поутру Петр Степаныч с нареченным приказчиком позавтракал у молодых и, распростившись, отправился восвояси. В Комаров не заехали.

Проводя приятелей, Василий Борисыч духом упал, напала на него тоска со всего света вольного, не глядел бы он ни на что. Ласки оживившейся Параши были несносны ему.

— Полно,— тихо говорил он, отстраняя подсевшую было к нему на колени жену.— Тут главная причина — хорошенько надо обдумать, на что решиться теперь. В Осиповку-то как покажем глаза? А тебе только бы целоваться... Мало, что ли, еще?

— О чем думать-то? — отвечала недовольная холодностью мужа Параша.— Наймем лошадей, да и поедем. Тятеньке надо сегодня домой приехать.

— Хорошо сказала, ровно размазала,— молвил Василий Борисыч.— Ехать не хитро, приехать мудрено. Встреча-то какова нам будет? О том и посудила бы!

— Известно какая — бранить зачнут, началить. Нельзя ж без того, а потом и простят,— равнодушно говорила Прасковья Патаповна.

— До́ смерти заколотит! — отчаянно вскликнул Василий Борисыч.— Вот положение-то!..

— Ну уж и до́ смерти!.. Чать, не чужие,— возразила Параша.

— Много ты знаешь! — проворчал Василий Борисыч.— Кулачище-то каков у родителя?.. А?.. Пробовала?..

— Нет, не пробовала.

— Ну, так попробуешь.

И в душевном смятенье стал ходить он по горницам; то на одном кресле посидит, то на другом, то к окну подойдет и глядит на безлюдную улицу, то перед печкой остановится и зачнет медные душники разглядывать... А сам то и дело всем телом вздрагивает...

— Седни, что ли, поедем? — после долгого молчанья спросила Прасковья Патаповна.

— Успеешь, матушка. Не на радость едем, успеешь отцовскими-то побоями налакомиться,— молвил с доса-

дой Василий Борисыч и велел жене идти в свою комнату, тем отзываясь, что надо ему с Феклистом Митричем поговорить.

«Ах ты, господи, господи! — думал московский посол, стоя у окна и глядя на безлюдную улицу пустынного городка.— Вот до чего довели!.. Им хорошо!.. Заварили кашу, да и в сторону... Хоть бы эту шальную Фленушку взять, либо Самоквасова с Семеном Петровичем... Им бы только потешиться... А тут вот и вывертывайся, как знаешь... С хозяином посоветуюсь; человек он, кажется, не глупый, опять же ум хорошо, а два лучше того...»

И вдруг видит: из-за угла выходят на улицу две женщины, обе в черных сарафанах, обе крыты большими черными платками в роспуск... «Батюшка светы! Мать Манефа с Аркадией».

Так и отбросило Василья Борисыча от окошка.

— Как же вы, сударь Василий Борисыч, насчет обеда распорядиться желаете? — весело спросил его вошедший в ту минуту Феклист Митрич. Радостным довольством сиял он после щедрой расплаты Самоквасова.

— Мать Манефу комаровскую знаете? — быстро спросил его Василий Борисыч.

— Как не знать матушку Манефу? Первая по всем скитам старица. Тетенька теперича вам никак будет,— ответил Феклист Митрич.

— Она? — показывая в окно, растерянным голосом спросил Василий Борисыч.

— Она самая, а с ней Аркадия, ихняя уставщи́ца. Давеча с утра в город они приехали — из Шарпана, должно быть, с праздника,— говорил Феклист Митрич.

— Не сюда ли? — тревожным голосом промолвил Василий Борисыч.

— Пойдет она к нам! — усмехнулся виноторговец.— На ее глаза хуже нашего брата на всем свете нет никого... Вином-де торгует, всякие-де у него сходбища!.. Да что ж вы так беспокоитесь?

— Нет, я так — ничего,— бодрясь, сколько мог, отвечал Василий Борисыч.— Чудно́ только мне, зачем это они в город-от заехали — там ведь где-то прямой путь из Шарпана есть.

— С раннего утра по судам хлопочут,— отвечал Феклист Митрич.— Дома тетенька-то ваша покупает — чуть не целу улицу, туда на вскрай города, к соляным анбарам, коли знаете. Купчие совершает.

— А! Точно, слыхал и я от матушки Манефы, что хочет здесь дома покупать,— примолвил Василий Борисыч.

— Да-с. Вот хоша тетенька ваша и осуждает нас за нашу торговлю, а ихняя-то коммерция, видно, посходней нашей будет,— с усмешкой сказал Феклист Митрич.— По чести вам доложить, четвертый год сбираюсь крышу на доме перекрыть, да не могу с деньгами сколотиться, а они целыми улицами дома покупают. Ой, куда много денег по скитам-то лежит, а у вашей тетеньки больше всех!

— Не знаете ли, покончила она с этими делами?.. Сегодня поедет аль еще здесь останется? — перебивая словоохотливого хозяина, спросил нетерпеливо Василий Борисыч.

— Где сегодня уехать! Как возможно! — ответил Феклист Митрич.— Хоша у нее по судам все подмазано, а секретарь Алексей Сергеич по ее желанью сделает все, чего она ни захочет, только в один день совершить купчую все-таки нельзя же... Завтра, не то и послезавтра здесь пробудут. Повидаться, что ли, желательно?.. Так она у Полуехта Семеныча пристает — вон наискосок-от домик стоит...

— Нет, я не про то, Феклист Митрич,— прервал его Василий Борисыч.— А вот что: как бы это тарантасик да лошадок сготовить — в Осиповку. На рассвете бы выехать нам, к полудням на место поспеть бы...

— Можно,— сказал Феклист Митрич.— Значит, тятеньке с маменькой в ножки.

— Так уж вы, пожалуйста, устройте.

— Будьте спокойны. Все будет, как следует... А насчет обеда какое же будет ваше рассуждение?

Целый день не то что из дому, к окну близко не подходил Василий Борисыч и жене не велел подходить... Очень боялся, чтоб грехом не увидала их Манефа... Оттого и в Осиповку ехать заторопился... «Один конец! — подумал он,— рано ли, поздно ли, надо же будет ответ держать... Была не была! Поедем!» И на другой день, на рассвете, поехали.

* * *

Вечером, в то самое время, как Василий Борисыч с Парашей хоронились у Феклиста Митрича от Манефы, в Осиповку приехала Аксинья Захаровна с Груней да с кумом Иваном Григорьичем. Они ее провожали. Аксинья Захаровна утомилась от поездок и просила Груню съездить на другой день в Комаров за Парашей. Вздумала Груня ехать за богоданной сестрицей в маленькой тележке Ивана Григорьича, оттого с вечера Аксинья Захаровна и послала на телеге в Манефину обитель старика Пантелея привезти оттоль пожитки Парашины.

Ужинать садиться хотели, как сам Патап Максимыч подъехал. Очень удивился он, что застал жену дома, да еще с дорогими гостями, а то было он, исправив в Осиповке кой-какие дела, думал поутру ехать в Комаров, а оттуда с дочерью в Вихорево за Аксиньей Захаровной.

— А я у молодых гостил,— начал Патап Максимыч, садясь за стол.

— У каких это, батюшка, молодых? — с любопытством спросила Аксинья Захаровна.

— У Марьи Гавриловны,— усмехнувшись, промолвил Патап Максимыч.

— Как? — в один голос вскричали все, и Аксинья Захаровна, и кум Иван Григорьич. Груня, пораженная изумлением, выпрямилась и пытливо смотрела в очи Патапу Максимычу.

— Замуж на̀ этой неделе вышла,— опять усмехнулся Патап Максимыч.— Свадьба-то только, кажись, не больно вышла веселая, на третий день после венчанья виделся я с Марьей Гавриловной — глаза-то уж наплаканы...

— Ай, срам-от, срам-от какой!.. Из святой обители, да вдруг замуж!.. За кого ж это понесло ее, сердечную?..— жалобно говорила Аксинья Захаровна.

— За нашего... Все его знаете, только вряд ли догадаетесь,— продолжал усмехаться Патап Максимыч.

— Да за кого, за кого? — приставали к нему.

— За Алешку Лохматого... ой, бишь, за купца первой гильдии Алексея Трифоныча Лохматова...— сказал Патап Максимыч.

Ушам никто не верил. Не скоро слов найти могли на ответ Патапу Максимычу.

— Как же это? — совсем растерявшись, спрашивала Аксинья Захаровна.— Как же это сталось у них?

— Как водится,— отвечал Патап Максимыч.— Как гостили мы у Манефы, так слышали, что она чуть не тайком из Комарова с ним уехала; думал я тогда, что Алешка, как надо быть приказчику, за хозяйкой приезжал... А вышло на иную стать — просто выкрал он Марью Гавриловну у нашей чернохвостницы, самокрутку, значит, сработал.. То-то возрадуется наша богомолица!.. Таких молитв начитает им, что ни в каком «часовнике», ни в каком «псалтыре» не найдешь... Вот взбеленится-то!.. Ха-ха-ха!

И по горницам Патапа Максимыча раздался веселый, звонкий хохот хозяина.

— Ах она. бесстыдная!.. Ах она, безумная! Глякось, какое дело сделала!.. Убила ведь она матушку Манефу!.. Без ножа зарезала! При ее-то хилом здоровьице, да вдруг такое горе!..— горько восклицала Аксинья Захаровна, и слезы показались в глазах ее.

— Да, точно что горе, немалое горе,— насмешливо говорил Патап Максимыч.— Думала вдовьими деньжонками попользоваться. Умрет, мол, у меня в обители, все капиталы ее достанутся!.. Не выгорело!.. Ха-ха-ха!..

— Полно-ка, батька, смеяться-то! — попрекнула мужа Аксинья Захаровна,— до́ смеху ли тут!.. Эка напасть-то какая, эка напасть! Ах, Марья Гавриловна, Марья Гавриловна!.. Можно ль было чаять того?.. Накажет ее господь, не пошлет счастья...

— Что правда, то правда,— молвил Патап Максимыч.— Счастья бог ей не пошлет... И теперь муженек-от чуть не половину именья на себя переписал, остальным распоряжается, не спросясь ее... Горька̀ была доля Марьи Гавриловны за первым мужем, от нового, пожалуй, хуже достанется. Тот по крайности богатство ей дал, а этот, году не пройдет, оберет ее до ниточки... И ништо!.. Вздоров не делай!.. Сама виновата!.. Сама себя раба бьет, коль не чисто жнет. А из него вышел самый негодящий человек.

И подробно рассказал про свои похожденья у бывшего токаря. а теперь первогильдейца Лохматова.

— Поди вот, влезь человеку в душу-то! — сказал он, кончив рассказ.— Думал я, другого такого парня и на свете-то нет: кроткий, тихий, умный, богобоязный!.. Ан

вон каков оказался!.. Истинно говорят: надо с человеком куль соли съесть, тогда разве узнаешь, каков он есть!.. Я ль его не любил, я ли не награждал его!.. И заплатил же он мне!.. Заплатил!..

— Заплатил!..— едва проговорила Аксинья Захаровна, вспомнив про Настину долю, и залилась неудержимыми, горькими слезами.

Подивились тем слезам и Груня и кум Иван Григорьевич — не ведали они настоящей причины Настиной смерти. Знали про то отец с матерью только.

* * *

Рано поутру, только что солнышко встало, во весь опор прискакал старик Пантелей. Кибитка была пуста.

Войдя в подклет, увидал Патапа Максимыча, разбирал он по сортам горянщину.

— Здравствуй, Пантелеюшка! Скоренько же, родной, воротился... А вот и я до домов приехал, да в добрый час и за работу.

Мялся Пантелей на месте, не знает, что говорить, не знает и делать что.

— Да что с тобой, Пантелеюшка? — спрашивал его Патап Максимыч,— на тебе лица совсем нет... Али неможется?..

— Я-то здоров, батюшка Патап Максимыч,— на каждом слове запинаясь и всем телом вздрагивая, начал Пантелей.— Только у нас-то не больно здорово, батюшка.

— Что такое? — бросив посуду и обращаясь к Пантелею, вскликнул Патап Максимыч. Пламенем загорелись под нахмуренными бровями глаза его.

— Ох, уж не знаю, как и доложить твоей милости...— слово за̀ словом тянул оробевший старик Пантелей.

— Не мямлить! — повелительно, зычным голосом крикнул Патап Максимыч, схватив за рукав Пантелея...

— Я тут, кормилец, ни в чем не причинен... Только что узнал сейчас,— чуть слышно проговорил Пантелей.

— Не мямлить же! — пуще прежнего крикнул Патап Максимыч и так дернул за рукав Пантелея, что тот едва на ногах устоял.

— Прасковья-то Патаповна...— начал было старик, но слова не сошли с языка его.

— Говори...— благим матом закричал Патап Максимыч.— Померла, что ли?..— почти прошептал он, закрывая лицо руками.

— Украли, батюшка!.. Третьего дня из обители выкрали!..— проговорил Пантелей.

— Кто такой?.. Что за человек?.. Откудова?..— сам себя не помня, кричал Патап Максимыч и, схватив лежавший на лавке весовой коромысел, взмахнул им...— Всех перебью!.. Всех до единого!.. Сказывай, кто такие?..

— Неведомо какие люди, батюшка,— говорил Пантелей.— Десять... человек... в красных рубахах... рожито, слышь, у всех позавешаны.

— Лошадей!.. В погоню!.. Я им задам!..— вне себя от бешенства кричал Патап Максимыч и с коромыслом в руке взбежал в верхние горницы.

По всему дому суматоха поднялась страшная. Аксинья Захаровна, как только услыхала страшную весть, так и покатилась без чувств на̀ землю. Уложили ее и долго оттирали Груня с работницей Матренушкой.

— Лошадей!.. Пого́ню!..— перебегая из горницы в горницу и взмахивая железным коромыслом. неистово кричал Патап Максимыч.— Лошадей седлать!.. Всех работников на̀ конь!.. Во все деревни послать!.. Сбить весь народ!..

Напрасно уговаривал его кум Иван Григорьич, напрасно уверял его, что теперь уже поздно, что никакие погони теперь не догонят, что лучше успокоиться и потом хорошенько обдумать, как и где искать следов выкраденной Параши...

Долго воевал Патап Максимыч, наконец утомленный, убитый горем, пластом упал на кровать и зарыдал страшными рыданьями.

Больше часа прошло до тех пор, как маленько он успокоился. Встал с кровати и, шатаясь, как после болезни, добрел до окна, растворил его и жадно стал глотать свежий воздух. Кум Иван Григорьич рядом с ним сел и молчал.

Тяжело вздыхал ослабевший Патап Максимыч, глядя распаленными глазами в конец деревни... Вдруг оживился, вскочил и до половины высунулся из окошка...

— Она! — крикнул он не своим голосом.

Иван Григорьич к другому окну бросился — видит, шажком въезжает в деревню тарантас, и в нем Параша сидит. Рядом с ней кто-то, но так он съежился в глубине тарантаса, что лица совсем не было видно.

— Тащить ко мне... Я им задам!..— задыхающимся голосом на весь дом закричал Патап Максимыч. Глаза кровью налились; засучив рукава рубахи, схватил он коромысел и, дрожа всем телом, пошел навстречу приехавшим.

Проходя к дверям, еще раз взглянул в окно... Глазам не верится — Василий Борисыч!..

— Э!.. шут гороховый! — вскрикнул Чапурин добрым мягким голосом.— Упредил; леший ты этакий!..

И ясная улыбка разлилась по лицу его.

Бросил коромысел, но подошел к шкапу и достал оттуда шелковую плетку, которой, бывало, учил дочерей, как маленькие росли они.

Робкими шагами вступили в горницу новобрачные и, не говоря ни слова, повалились к ногам Патапа Максимыча.

— Прости нас, тятенька, Христа ради!.. Как бог, так и ты,— заголосила, наконец, Параша, обнимая у отца ноги.

Василий Борисыч только всхлипывал. Он уже не помнил себя и только шептал стих на умягчение злых сердец: «Помяни, господи, царя Давыда и всю кротость его!»

— Прочь! — оттолкнув ногой Парашу, громко закричал Патап Максимыч.— Прочь!.. Убирайтесь!.. С глаз моих долой!.. Знать вас не хочу!.. Духу чтоб вашего не было!..

Грозны и громки были крики его, но злобой не звучали. Обряд справлял Патап Максимыч.

— Тятенька!.. Прости, Христа ради! — со слезами молила Параша.

— Я те дам Христа ради!..— кричал Патап Максимыч.— Уходом вздумали!.. Самокруткой!.. Вот тебе, вот тебе!..— и усердно зачал плеткой хлестать то дочь, то зятя любезного.

Аксинья Захаровна прибрела, Груня за ней. Как увидела Аксинья Захаровна Парашу с Васильем Борисычем, так и всплеснула руками.

— Головоньку с плеч снесли! Без ножа вы, злодеи... меня зарезали!.. Погубители вы мои!.. Срам такой на дом честной навели!.. На то ль я ростила тебя, паскудная, на то ль я кормила-поила тебя!.. Взростила я, бедная, змею подколодную, вспоила, вскормила свою погубительницу!

— Мамынька!.. Прости меня, окаянную, благослови свое детище!.. — голосила Прасковья Патаповна у ног матери, но и та ее отталкивала, а Патап Максимыч попрежнему плеткой работал.

— Я те прощу!. Я те благословлю! — кричал он. Наконец, устал кричать, устал и плеткой хлестать.

— Простить, что ли, уж их, старуха? — с ясной улыбкой обратился он к Аксинье Захаровне.

— Как знаешь, кормилец,— жалобно промолвила Аксинья Захаровна.— Ты в дому голова — как ты, так и я...

— Ну, так и быть... Прощать так прощать, миловать так миловать!.. Вставайте!.. Бог вас простит,— стегнув в последний раз зятя с дочерью, сказал Патап Максимыч и бросил в сторону плетку.

Груня подбежала к божнице, взяла две иконы, одну подала Патапу Максимычу, другую Аксинье Захаровне.

Чин чином благословили новобрачных родители, потом расцеловались с ними. Перецеловались молодые и с Груней и с кумом Иваном Григорьичем. Скоро набралось людей полна горница. Радостно все поздравляли молодых с законным браком, хозяев поздравляли с зятем любезным.

— Подводу!..— во все горло крикнул Патап Максимыч.— Наспех гони, Пантелей, за Никитишной!.. Свадебный стол!.. По дороге припасов на кормы мужикам закупи.

И пошло пированье в дому у Патапа Максимыча, и пошли у него столы почетные. Соезжалося на свадьбу гостей множество. Пировали те гости неделю целую, мало показалось Патапу Максимычу, другой прихватил половину. И сколь ни бывало пиров и столов по заволжским лесам, про такие, что были на свадьбе Василья Борисыча, слыхом никто не слыхал, никто даже во снях не видал. Во всю ширь разгулялся старый тысячник и на старости лет согрешил — плясать пошел на радостях.

ПРИМЕЧАНИЯ

В ЛЕСАХ

Впервые напечатан в журнале «Русский вестник» за 1871—1874 гг. (1871 г. тт. 91 — январь, 92 — март, 93 — май, 94 — август; 1872 г. тт. 97 — январь, 98 — март, 99 — июнь, 100 — август; 1873 г. тт. 103 — февраль, 105 — май, 106 — август, 107 — сентябрь, 108 — декабрь; 1874 г. тт. 110 — апрель, 111 — май, 112 — август, 114 — декабрь).

Начало работы над этим романом относится еще к пятидесятым годам. К 1858 году замысел этого произведения был обдуман, по-видимому, достаточно обстоятельно. Об этом говорит тот факт, что не позднее конца 1858 года Мельников начал переговоры с редакцией журнала «Русский вестник» о печатании на его страницах нового своего произведения — романа «Свадьба уходом». Это и было первоначальное название романа «В лесах». Конфликт с издателем «Русского вестника», вызванный спекулятивной проделкой книгопродавца Свешникова, заставил Мельникова отказаться от этого предварительного соглашения. В 1859 году он вел переговоры о помещении будущего романа в «Современнике». Однако ни в этом году, ни в последующее время «Свадьба уходом» на страницах «Современника» не появлялась.

В 1859 году в редактируемой Мельниковым газете «Русский дневник» (№№ 119, 125, 131, 133, 137) появилось несколько глав нового его произведения под названием «Заузольцы». В своем объяснении по поводу контрафакции Свешникова, помещенном в № 59 «Русского дневника», Мельников сообщил, что «Свадьба уходом» частью будет напечатана в этой газете. Публикация «Заузольцев» и была выполнением этого обязательства. «Заузольцы» представляют собою сжатый первоначальный набросок первых глав романа «В лесах». Открываются «Заузольцы» очерком о кустарных промыслах Заволжья, а в последующих главах рассказывается о семье Пахома Трифоныча Олонкина («В лесах» — Трифон Михайлович Лохматый). Жену Олонкина так же, как и жену Трифона Лохматого, зовут Феклой. Олонкиных постигли те же несчастья, что и Лохматых. Виновник всех этих злоключений семьи Олонкиных — писарь Карп Емельянов («В лесах» — Карп Морковкин). Старший сын Олонкиных, Василий, так же, как и Алексей Лохматый, вынужден наняться в работники к тысячнику Лукьяну Никитичу («В лесах» — Патап Максимыч). Издание «Русского дневника» прекратилось в том же 1859 году, и публикация «Заузольцев» больше не продолжалась ни в газетах, ни в журналах тех лет. Вероятнее всего, роман в том его виде, как он наметился в «Заузольцах», не во всем удовлетворял Мельникова. Этим, видимо, и следует объяснить тот факт, что работа над ним была прервана и не возобновлялась почти десять лет. Только в 1868 году в журнале «Русский вестник» (тт. 75 — июнь, 76 — июль, 77 — октябрь, 78 — декабрь) появились главы нового произведения Мельникова — «За Волгой». В эти главы вошли почти дословно, только с изменением имен, все главы «Заузольцев». «За Волгой» представляет собою первые главы романа «В лесах».

В 1875 году роман «В лесах» вышел отдельным изданием, в котором с незначительными изменениями был воспроизведен текст журнальной публикации.

Книга первая

Стр. 10. *...хотя ни в шестых, ни в других книгах они и не писаны.*— Намек на дворянские родословные книги. Шестая книга предназначалась для родословных древних дворянских родов.

Расшива — плоскодонное речное парусное судно.

...с иконостасом в три тя́бла.— Это означает, что иконы были поставлены друг над другом в три ряда.

Стр. 13. *...бисерны лестовки вязать...*— Лестовка — небольшой кусок кожи или ткани, иногда украшенный рисунками или вышивкой. У старообрядцев символизировала усердие в молитве.

Стр. 21. *Австрийские-то, что ли? Обливанцы слышь...*—Австрийскими назывались старообрядческие попы и епископы, посвященные в свой сан старообрядческим митрополитом, который жил в Белой Кринице в Буковине, входившей тогда в состав Австро-Венгерской империи. Белокриницких ставленников, многие из которых были выходцами из южнославянских стран, подозревали в том, что их при крещении не погружали в купель, а только обливали им голову, что, по убеждению старообрядцев, было одним из самых тяжких нарушений «древлего благочестия».

Стр. 41. *...с Рогожского пишут...* — Рогожское кладбище в Москве и старообрядческая моленная при нем — один из самых влиятельных в XIX веке центров старообрядчества, во главе которого стояли богатейшие купцы. В «Очерках поповщины» Мельников сообщает характерные сведения о причинах усиления влияния Рогожской общины: «Несколько громадных капиталов в среде людей, стоящих теперь под рогожским знаменем, возникло тотчас после разгрома Москвы в 1812 году. Некоторые крестьяне села Вохны и Гуслицкой волости, бывшие до 1812 года бедными крестьянами, через четыре-пять лет ворочали миллионами, а впоследствии сделались первостатейными купцами и стали во главе Рогожского общества... Гуслицы и Вохна исстари носят заслуженную ими репутацию по части делания фальшивой монеты. Еще в царствование Алексея Михайловича вохонским мужикам заливали горло оловом за делание «воровских денег»... Распущенное французами небольшое, впрочем, количество русских фальшивых ассигнаций подало повод некоторым гуслякам и вохонцам с успехом заняться наследственной работой. Благо, было на кого свалить... Вот источник богатства некоторых рогожских богачей. Кроме того, быстро разбогатели и сделались владельцами миллионов некоторые старообрядцы, бывшие до 1812 года бедными московскими мещанами. По изгнании неприятеля из Москвы, когда не было ни таможен, ни тарифа, контрабандисты ввозили в Россию столько запрещенного товара, сколько могли; ввозили его свободно, без малейшего опасения. Некоторые московские мещане-старообрядцы, познакомившись с контрабандистами, получали от них в 1813 году товары и развозили их по домам собиравшихся в Москву на свои пепелища помещиков и купцов. Быстрая распродажа прекрасно отделанных и сравнительно дешевых товаров приобрела этим мещанам доверие заграничных контрабандистов до такой

степени, что одному из них они вверили целый обоз товаров. Благочестивый прихожанин Рогожского кладбища рассудил, что совершенно излишне давать богоубийцам-жидам и всякой немецкой нехристи средства наживать деньги, и воспользовался всем басурманским обозом...

В начале сороковых годов другое обстоятельство послужило источником богатства для некоторых членов Рогожского общества. Разумеем голодные годы. Закупив вовремя муку по 80 к. асс., они в дорогую пору продали ее по 3 руб. 80 к. и нажили громадные деньги. Конечно, своим единоверцам продавали они по цене уменьшенной и тем приобрели в их среде большое значение. Часть закупленного хлеба, но часть весьма небольшую, пустили они и на вольную продажу по уменьшенным ценам, за что и удостоились почетных отличий» («Очерки поповщины», см. 7-й том наст. издания).

Стр. 53. *...на Иргиз на каждого попа сот по пяти платили.*— На реке Большой Иргиз, левом притоке Волги, впадающем в нее выше Саратова, в конце XVIII и в начале XIX в. был центр старообрядчества, где «перемазывали», то есть принимали в старообрядческие согласия, попов «никонианского» помазания.

Стр. 54. *...приказала синелью да шерстями пелену вышить...*— Здесь пелена — украшение для икон.

Омофор — часть архиерейского облачения.

Стр. 112. *Бурмицкие зерна* — разновидность жемчуга.

Стр. 122. *...ровно, божедом в скудельнице...*— то есть как кладбищенский сторож в сторожке.

Стр. 240. *Чегень... да дрючки...* — длинные бревна и слеги.

Стр. 269. *...иноческого стомаха...* — желудка, брюха.

Стр. 348. *...картины, изображавшие... Паскевича с Дибичем на конях.*— И. Ф. Паскевич (1782—1856) — генерал-фельдмаршал, участник Отечественной войны 1812 года, один из приближенных Николая I. Старообрядцы считали его своим покровителем. И. И. Дибич (1785—1831) — генерал-фельдмаршал. При Николае I был начальником Главного штаба.

Книга вторая

Стр. 210 (т. 3). *...на Ветку жалобны грамоты о том писали...*— Ветка — в XVIII веке влиятельная старообрядческая община в Белоруссии, недалеко от Гомеля.

Стр. 62 (т. 4). *...«спорные письма» протопопа Аввакума...*— Аввакум Петрович (1620 или 1621—1682) — один из зачинателей «раскола». В молодости — близкий друг Никона. После никоновских преобразований — ярый его противник. За противодействие церковной политике царя Алексея Михайловича был сослан в Сибирь. Затем по распоряжению царя был возвращен из ссылки, но после безуспешных попыток заставить его отказаться от обличений «никонианской ереси» был сослан в Пустозерск, где написал ряд посланий и писем преимущественно богословского содержания. Центральным его произведением является «Житие» — один из величайших памятников русской литературы XVII века. В 1682 году протопоп Аввакум был сожжен по приказу царя.

М. Еремин

СОДЕРЖАНИЕ

В ЛЕСАХ

КНИГА ВТОРАЯ

П. И. МЕЛЬНИКОВ
(Андрей ПЕЧЕРСКИЙ)

Собрание сочинений
в восьми томах.

Том IV.

Оформление художника
Б. В. Столярова.

Технический редактор
А. И. Шагарина.

Сдано в набор 2/XII 1975 г. Подписано к печати 3/V 1976 г. Бумага типогр. № 1. Формат 84×108¹/₃₂. Объем 19,95 усл. печ. л. 21,53 уч.-изд. л. Тираж 375 000 экз. Изд. № 1015. Заказ № 1482.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.

Индекс 70683

